


ВИКТОР НЕКРАСОВ • ПУТЕШЕСТВИЯ В РАЗНЫХ ИЗМЕРЕНИЯХ

ВИКТОР НЕКРАСОВ

# ПУТЕШЕСТВИЯ В РАЗНЫХ ИЗМЕРЕНИЯХ

Советский писатель
Москва 1967

Р 2
Н 48

Это — своеобразная книга путешествий.

Виктор Некрасов широко известен нашим читателям как автор книг «В окопах Сталинграда», «В родном городе», «Кира Георгиевна», «Вася Конаков», «Первое знакомство».

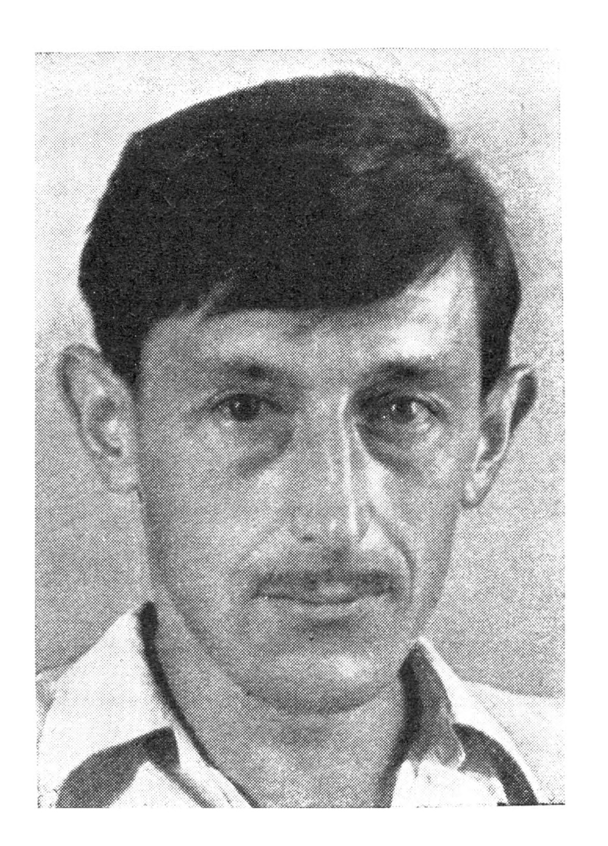
Путевые заметки В. Некрасова очень разнообразны — и тематически и географически. Читатель найдет здесь и путешествие по нашей стране — на далекую Камчатку, и поездки за границы нашей родины — во Францию, Италию, Америку.

Рассказывая о своих впечатлениях, В. Некрасов воссоздает в книге встречи и разговоры с самыми различными людьми, размышляет о современном искусстве, об укладе жизни стран, которые ему довелось повидать.

Художник Медведев

7-3-2

56 — 67



## ОТ АВТОРА

Есть люди, которые с детства любят ковыряться в будильниках, разбирать замки, возиться с разными колесиками, винтиками, не расстаются с отвертками, стамесками, гаечными ключами. Мне все это было чуждо. Я любил путешествия. И до сих пор мне кажется это самым интересным.

В юности это было совсем просто — рюкзак за плечи и с товарищем через Бечойский перевал в Сванетию или на Эльбрус, в Домбайскую долину, через Клухор в Грузию. В белых резиновых тапочках, с двухнедельным запасом хлеба в мешках, фотоаппаратами и хрупкими тяжеленными пластинками (которые перезаряжать надо было только ночью) мы протопали все Военно-Сухумские и Военно-Осетинские дороги, Ингурскую тропу, Черноморское побережье, Южный берег Крыма...

В войну я несколько охладел к пешему хождению, но к путешествиям — нет. Будь у меня возможность, время и деньги, я б подобно Меркурию, богу не только торговли, но и путешествий, объездил весь земной шар, всю планету, как теперь принято говорить... Что может быть интереснее?

Но есть и другой вид путешествий — не менее интересный — путешествие во времени. Нет, не в поисках морлоков, не к рыцарям короля Артура (что, впрочем, не менее интересно), а в поисках чего-то, что тебе дорого, необходимо, а рядом, увы, нет. А может быть, это поиски самого себя, путешествие по собственной жизни? Сейчас мне трудно это объяснить — надеюсь, что, прочитав все до конца, читатель поймет, о чем идет речь.

Итак, в путь, в необычное путешествие во времени и пространстве.



# ПО ОБЕ СТОРОНЫ ОКЕАНА

## 1. В Италии

— Опять, значит, побывали в Италии?

— Опять.

— Ну и как?

— Устал дьявольски. Две недели все-таки такой сжатый срок.

— Сжатый, понятно. И все же?

— Ну, как вам сказать. Интересно, конечно...

— Почему — конечно?

— Да все потому же. За две недели, точнее даже за тринадцать дней, столько намотаешься, столько наговоришься, столько увидишь, что потом за полгода не разберешь.

— М-да...

Собеседник умолкает, в его взгляде я вижу что-то нехорошее.

Такой же взгляд был, очевидно, и у меня, когда лет десять тому назад один очень крупный наш писатель, ездящий по всевозможным конгрессам, отойдя от телефона, выругался:

— Тьфу, пропасть! Опять в Париж ехать надо...— И в ответ на мой удивленный взгляд: — Если б вы только знали, до чего надоели все эти парижи, стокгольмы, женевы... Мотаешься как белка в колесе. Ни поработать, ни отдохнуть.

Я был поражен, возмущен и даже обижен.

И вот сейчас я чувствую на себе подобные же взгляды: «Устал, видите ли, бедняжка. Двух недель ему не хватает. Впечатлений, мол, слишком много, переварить не может...»

Я чувствую эти взгляды, и мне становится неловко.

Пять лет тому назад я впервые поехал в Италию. Пробыл там около месяца. О впечатлениях своих попытался рассказать в очерке «Первое знакомство». Пока писал, думал: «Ну, это так, первые впечатления. Авось поеду еще раз, тогда постараюсь знакомство это углубить, расширить, развить». И вот этот «еще раз» произошел. В марте 1962 года. Так ли он произошел, как мне думалось, хотелось? Нет, не так. И все же...

Вопрос: как, попав в ту или иную страну, да еще на короткий срок, побольше узнать о ней?

Ответов много. Самый разумный, очевидно, следующий:

«Собираешься ехать в Италию? Тогда будь любезен сходи в библиотеку, поройся в специальной литературе, почитай о том, что тебя больше всего интересует, и в Италии тебе не придется задавать вопросов, на которые ты можешь найти ответы и дома. Это первое. Это фундамент. Второе. Составь приблизительный хотя бы план того, что и кого ты хочешь повидать, и старайся по мере

сил придерживаться этого плана. Третье — не распыляйся, не хватайся за все, сосредоточься на том, что тебе действительно интересно и нужно. Четвертое — не расставайся с записной книжкой, на память не рассчитывай. Пятое — не ложись поздно, вставай рано: прекраснее утра ничего нет и дома и за границей. Шестое — лучше в одном месте подольше, чем «галопом по Европам». И, наконец, седьмое: а выучил ли ты язык? Если нет — грош тебе цена.

Вот эти семь заповедей. Выполнишь — будет польза. Не выполнишь — пеняй на себя».

Бог ты мой, как я себя убеждал в необходимости придерживаться этих заповедей! Убеждал, убеждал, и ничего не вышло. Кроме шестой и частично первой, не выполнил ни одной. И, как ни странно, не жалею. Стыжусь только за седьмую — языка так и не выучил.

Нет, не в плане дело, не в регламенте, не в записной книжке. Интереснее всего бывает как раз противоположное — неожиданность, случайная встреча, новое знакомство, вдруг возникший спор, непредвиденный вопрос — одним словом, не расписание, а как раз нарушение расписания, и не только моего, но и «местных жителей». Об этих нарушениях будет еще разговор впереди (они связаны не столько с Италией, сколько с поездкой в Америку и вообще с организацией нашего туристского дела). Сейчас же несколько слов о записной книжке, точнее — писательской записной книжке.

Еще в прошлый приезд в Италию в Ватикане я впервые увидел сонмы туристов (в основном западногерманских), испещрявших страницы за страницами свои записные книжки, хотя все, что им рассказывали гиды, изложено было в зажатых у них под мышками путеводи-

телях. Тогда нелюбовь к записной книжке зародилась. В Америке она окрепла, когда я заметил, что кое-кто из наших туристов занимается тем же — пишут, пишут, не успев даже взглянуть на картины, перед которыми стоят. В Антверпене я еще больше возненавидел записную книжку. Проходя мимо одного из старинных зданий, наш гид указал на него и мимоходом сказал:

— Вот в этом дворце всегда останавливается король Бодуэн, когда приезжает в Антверпен.

— В каком, в каком? — Одна из самых бойких и деятельных наших туристок дернула меня за рукав.

— Вот в этом,— ответил я и, не выдержав, через плечо заглянул ей в блокнот.

«Вот в этом дворце всегда останавливается король Бодуэн, когда приезжает в Антверпен» — дословно записала она и, боясь прозевать очередной дворец, рысцой стала догонять гида.

На это не без основания могут возразить, что не обязательно записывать всякого рода ненужности, все зависит от самого записывающего. Возможно, это и так, но, на мой взгляд, записная книжка нужна писателю главным образом для занесения в нее телефонов и адресов, в остальном же она только мешает. Магия записи, ее избирательность, если можно так сказать, впоследствии уничтожает непосредственность воспоминания. В какой-то степени получается то же самое, что при частом рассказывании одной и той же истории: «забалтываешься», рассказ превращается в сработанный, отрепетированный номер с проверенными «на публике» деталями, которые «стоят насмерть» и не дают хода другим.

Не знаю, как другие, но я против записной книжки.

Окончательно возненавидел я ее года полтора тому назад в своем родном Киеве, когда туда приехал Данило Дольчи. Крупный итальянский общественный деятель, лауреат Ленинской премии, в прошлом триестинский архитектор, сейчас он навсегда переселился в Сицилию, чтоб жить среди крестьян и рыбаков, которым посвятил всю свою жизнь. Это очень добрый, честный, самоотверженный человек. Жизнь его достойна удивления и подражания. Он бессребреник, почти нищий. Все, что имеет, отдает крестьянам и рыбакам. Он пытается организовать для них сносное существование. Познакомились мы с ним еще в Италии, в 1957 году. Он усиленно приглашал тогда к себе на Сицилию, но, как обычно, помешали регламент и расписание, и поездка не состоялась. Сейчас он приехал в Советский Союз, чтоб ознакомиться с системой нашего планирования — авось удастся применить что-нибудь и у себя на родине.

В Киеве он был занят с утра до вечера — разрывался между министерствами, госпланами и совнархозами; я забежал к нему на часок в гостиницу, чтоб пожать ему руку и вместе пообедать. Не успели мы сесть за столик, как он вытащил блокнот. Ни одного моего слова он не пропустил, все записал. Возможно, то, что он записал, было ему очень нужно, но мне было как-то грустно — вместо беседы получилось интервью.

Нет, я определенно против записной книжки и против планирования «осмотров и встреч», против расписания. Самое интересное возникает вдруг, нежданно-негаданно, хотя в этой нежданно-негаданности есть свои рифы и пороги.

Для затравки я расскажу об одном случае, происшедшем, правда, не в Италии, а у нас, в Советском Союзе,

но с итальянцем. Я до сих пор холодею при одном воспоминании об этом случае.

Итальянец этот — Джулио Эйнауди — крупный туринский издатель, сын бывшего президента, друг Советского Союза, много сделавший для популяризации советской литературы в Италии. Приехал он не один, а с женой и с другом — венецианским писателем Карантото-Гамбини.

В Киеве они пробыли дня два или три. Ездили по городу, знакомились с достопримечательностями — все честь честью, как положено. И вдруг ни с того ни с сего захотелось Эйнауди на базар. Иностранцы, нужно сказать, вообще любят знакомиться с базарами. Но нашему Эйнауди кто-то сказал к тому же, что только на базаре можно приобрести настоящие произведения народного искусства. Как потом выяснилось, речь шла ни больше ни меньше, как о намалеванных на клеенке лебедях и полосатых лупоглазых кошках из папье-маше. Ну что ж, базар так базар. Сели в интуристскую машину и покатили на Подол, на Житний базар. Кроме гостей была переводчица и еще один мой друг. Без всяких помех доехали куда надо. Вылезая из машины, Эйнауди спросил:

— А фотографировать у вас можно?

— А как же, — сказал я. — Все, кроме военных и стратегических объектов.

Через минуту вокруг бедного Эйнауди собралась толпа, и толпа далеко не безмолвная. Его обвиняли в том, что он фотографировал какую-то старуху, торговавшую муравьями (от ревматизма, что ли?). Кое-кто шел дальше, утверждая, что съемки производились со специальной целью. Так или иначе, но все мы четверо — главный виновник и трое нас, советских граждан, — оказались в

отделении милиции. Что и говорить, это было не самое образцовое отделение. Продержали нас там минут сорок — куда-то звонили, выясняли, требовали фотопленку,— и только после активных наших убеждений («Сын президента! Директор крупнейшего издательства!») и дополнительных звонков нас отпустили и даже извинились. Нужно сказать, что все эти сорок минут, проведенные по соседству с какими-то спавшими в углу базарными пьяницами, наш директор крупнейшего издательства держал себя с большим достоинством и даже пытался утешить меня, повторяя по-русски:

— Бивает... бивает...

Потом, в Москве, говорят, он очень весело рассказывал об этом инциденте, добавляя, что в Италии подобная история длилась бы по крайней мере несколько часов. Вообще же он остался очень доволен и огорчился лишь тем, что нам так и не удалось купить «произведения народного искусства» — торговки наотрез отказались продавать. Одна из них прямо сказала мне:

— Если б знала, что для него, сделала бы по-художественному, а это ж так...

— Скажите, пожалуйста, что самое интересное было у вас в Италии (или в Америке)?

На первых порах я затруднялся на это прямо ответить. Сейчас могу. Самое интересное — это споры. Не скажу, что это самое легкое, но это самое увлекательное и, может быть, самое нужное. Но об этом позже. Сейчас же о том, что самое приятное.

Я часто задаю себе вопрос, что доставляет большее

удовольствие: когда окружающие тебя люди знают, кто ты такой, или когда не знают?

Не буду лукавить — очень лестно сидеть за одним «круглым столом» (хоть он на деле и продолговатый) вместе с Альберто Моравиа, Карло Леви, Пьером Паоло Пазолини, Гвидо Пьовене, рядом с советскими писателями, представляющими здесь, в Риме, во дворце Мариньоли, нашу литературу. И выступление по римскому телевидению тоже приятно. Подумать только, Чухрай и ты — первые советские люди, которые попали в это громадное, усиленно охраняемое здание, хозяева которого далеко не симпатизируют нашему строю, нашим взглядам. Чухрай почему-то абсолютно спокоен (привык, черт!), а я волнуюсь. Волнуюсь, может быть, чуть меньше, чем милая молоденькая переводчица, дальнейшая работа, а значит, и судьба которой зависит от того, как она справится сегодня с переводом выступлений этих двух «совьетико». И муж ее рядом, тоже волнуется. (Могу успокоить — все сошло хорошо, и на следующий день юные муж и жена прислали нам с Чухраем трогательные сувениры и кулечки засахаренного миндаля — традиционный подарок молодоженов.)

Одним словом, что скрывать — популярность всегда доставляет удовольствие.

И все-таки не это самое приятное.

Не знаю, как другие, но я часто, смотря какой-нибудь хороший фильм (ну хотя бы «Машиниста» Пьетро Джерми или «Улицу Прери» с Жаном Габеном), невольно устраиваюсь за одним из столиков того самого парижского бистро, где Габен спорит со своими друзьями о велосипедных гонщиках, или подсаживаюсь со своим стаканом кьянти к захмелевшему Джерми-машинисту,

когда у него так тяжело на душе. Джерми-машинист... Как мы его полюбили, большого, седого, жестокого и мягкого, любителя выпить. Как полюбили его жену — за всех ей надо думать, за всех решать, все нести на своих плечах. Полюбили детей, и старших и младшего, обаятельного черноглазого пострела. Полюбили и кабачок, в который всегда после дежурства забегает машинист — даже перед Новым годом и то забежал! — полюбили и самого кабатчика.

И вот ты в этой стране. В стране Джерми-машиниста, в его городе.

В один день мы пролетели чуть ли не всю Европу. Полчаса в Варшаве, три часа в Париже. Потом через выглядывающую из туч вершину Монблана — в Рим. Сверкающий огнями и стеклами новый аэропорт Фиумичино (не знаю, что лучше — новый Орли в Париже или Фиумичино). Автобусом мимо Колизея к Стационе Термини — римскому вокзалу. Десять часов вечера. Впереди еще четыре часа поездом до Флоренции — конечного пункта нашего путешествия.

Забрались в вагоны, забили сетки своими чемоданами. Тронулись. Я открыл окно и высунулся... Высунулся и оказался в фильме «Машинист»! Черт возьми, тот же вокзал, тот же поезд, так же все быстрее и быстрее стучат колеса электропоезда по стыкам и стрелкам, те же проносятся будки, мачты, дома... Кто ведет поезд? Когда мы приехали во Флоренцию — она встретила нас дождем, сыростью, холодом,— я не удержался и заглянул в переднее окно электровоза. Можете смеяться надо мной, но там сидел Пьетро Джерми. Честное слово!

Я, конечно, не мог найти, да и не искал того кабачка, где машинист пел песни и играл на гитаре со своими

друзьями, но я был в другом, в который он мог зайти. И Кабирия могла. И любой герой из «Рима в 11 часов». Там играли в какую-то игру. Я выпил пива и тоже включился в эту игру. Это была электрическая игра. Над большим ящиком ходит небольшой портальный кран. В ящике лежат всякие завлекательные вещи — брошки, портсигары, мундштуки. Ты опускаешь в щель автомата пятьдесят лир и нажимаешь кнопку. Кран начинает двигаться. Когда он доходит до соблазнившего тебя предмета, ты нажимаешь другую кнопку, кран останавливается и опускается ковшик, который захватывает или не захватывает то, что тебе хотелось. Я ничего не захватил. Истратил лир триста да еще веснушчатому рыжему пацану дал сто, но оба мы остались с носом. Впрочем, остальные тоже, за исключением шоферского типа парня в комбинезоне, вытащившего перочинный ножик. А в общем было весело. Все ржали, особенно при чьей-нибудь неудаче. И пили пиво. И рылись в карманах, опять опускали монетку. Потом жены стали уволакивать своих мужей. Те сопротивлялись. Опять пили пиво. Было весело. Особенно мне. Я чувствовал себя своим в этом окраинном рабочем кабачке. На меня никто не обращал внимания. Вернее, столько же, сколько на других. Вот это, пожалуй, самое приятное.

И еще. Мы бродили по ночной Флоренции. Я и двое моих друзей. Было очень поздно. На улицах пусто. Шли без всякой цели, куда глаза глядят. По улочкам, переулочкам, вдоль набережной Арно. Вышли к Понто-Веккио. Это стариннейший мост, ему четыреста лет. Живописнее его нет в мире мостов. Он мост и в то же время улица. На нем лавки и магазины, в основном ювелирные. Существует, вероятно, миллион фотографий и открыток этого моста. Он чудом уцелел в эту войну, хотя одно время

линия фронта проходила через Флоренцию по реке Арно.

И вот мы вышли на этот мост. Облокотились о перила. Смотрели на стремительную Арно под нашими ногами, на огни ночного города, отражающиеся в ней. И тут подошли к нам два ночных сторожа. Попросили закурить. Один из нас знал итальянский. Заговорили. И знаете, о чем они через несколько минут уже спорили? О Чили! О том, кто выйдет победителем на всемирном футбольном чемпионате.

На Понто-Веккио о футболе? Кощунство? А по-моему, нет. За те пять или шесть дней, которые мы пробыли во Флоренции, Понто-Веккио из знакомого постепенно превратился в друга, а мы чуть-чуть меньше стали туристами.

Когда я впервые, пять лет тому назад, попал на площадь Синьории, я чуть ли не на цыпочках вошел в Палаццо Веккио, постоял в знаменитом дворике, поднялся по лестнице, с трепетом ходил по громадным залам, украшенным картинами Вазари и скульптурами Микеланджело. Святилище.

В этот приезд Палаццо Веккио был для меня уже не только замечательным памятником архитектуры и эпохи, но и местом, где мы сидели с наушниками на голове, слушая выступления делегатов конгресса Европейского сообщества писателей. Заседания происходили в Зале Пятисот (том самом, где Вазари и Микеланджело), во время официальных приемов у входа и на лестницах стояла стража в средневековых одеждах, с алебардами и факелами. Что говорить, к концу конгресса все немного устали. Стоит ли удивляться, что кое-кто из нас не всегда досиживал до конца заседания и «смывался» в город

побродить по тихим улочкам. Я думаю, Палаццо Веккио за это на нас не в обиде — он тоже стал другом, а в дружбе этикет только мешает. Правда, за него обиделся мой киевский друг, архитектор, когда, рассказывая ему о чем-то, я неловко обмолвился, что в какой-то там вечер не захотелось идти в Палаццо Веккио — все-таки каждый день утром и вечером...

— Дожили,— сказал мой друг, и в голосе его не было и тени сочувствия.— А Флоренция тебе не надоела? И утром и вечером, и днем и ночью...

Я почувствовал снова неловкость.

Да, самое приятное — это когда перестаешь чувствовать себя туристом. Когда чуть-чуть обживаешься. Когда идешь пешком от Вилла Боргезе к себе домой, в гостиницу «Имперо» возле Стационе Термини, и никого не спрашиваешь, как пройти, и не разеваешь уже рот на вокзал, а думаешь о нем как о месте, где можно сейчас купить последний номер «Пари-матч» с продолжением воспоминаний о Хемингуэе его младшего брата. Когда можешь сказать своему товарищу, футбольному болельщику: «Между прочим, завтра на стадионе Фламинио любопытный матч: Рим — Милан. Интересуешься? Это недалеко. Сядешь у вокзала на шестьдесят девятый автобус и до площади Фламинио. А там два шага. Можно и тридцать третьим, но он с пересадкой». (Сам я облазил вчера весь этот стадион, ведь его построил Пьер Луиджи Нерви, знаменитейший итальянский архитектор, а теперь говорю о нем, будто это стадион «Динамо».)

Есть еще одно, что доставляет неизъяснимое наслаждение,— вторичные встречи. Встречи, открывающие тебе в уже знакомом что-то новое, неожиданное.

Я не злоупотреблял музеями. Лучше меньше, да луч-

ше. В Уффици, во Флоренции, я обошел залов десять, не больше. И открыл для себя заново Бронзино, Филиппино Липпи, Паола Учелло. Особенно последнего. Скажу прямо, хотя это немного и стыдно: я о нем ничего не знал, увидел впервые.

Зайдя в один из первых залов Кватроченто, я остановился перед картиной, которая меня неожиданно вдруг поразила. Как мог я ее не заметить, когда был здесь в прошлый раз? Вот что значит туристская беготня! Картина была необычайна. Называлась она «Битва». По изысканности и ритмичной законченности композиции, по тонкости рисунка, по колориту, по удивительной смелости сочетания цветов и, наконец, по какому-то совершенно исключительному умению разъединить и в то же время объединить между собой первый и задний планы я, пожалуй, не знаю ничего равного. Первое, что тебе бросается в глаза, когда ты входишь в зал, это брыкающаяся обеими задними ногами лошадь в правой части картины. И еще две лошади — поверженные, голубого цвета. Почему они голубые? Не знаю. Но они должны быть голубыми. От картины невозможно оторваться. Первый план — сражающиеся рыцари. В центре на белом коне — падающий от удара копьем воин. Копье, невероятной длины, мощно пересекает картину по горизонтали. Слева и справа лес других копий, создающих редкой красоты, почти музыкальный ритм. И все это на фоне пересеченных какими-то низкими посадками полей, по которым там и сям прыгают крохотные гончие. И еще какие-то войска идут из-за пригорка...

Описал картину? Да разве опишешь? Я затрудняюсь толком объяснить, что в ней поражает. В первую очередь какое-то магическое — я не нахожу другого слова —

сочетание условности и реальности. Плоскостность картины нигде не нарушена, иллюзорности никакой, и в то же время глубина, причем глубина, созданная не элементарными законами перспективы (которой, кстати, Учелло был великим мастером), а чем-то другим, гораздо более близким искусству. Плоскость картины не разрушена, не прорвана, а сохранена в своей неприкосновенности. Для этого же и не дано небо, которое сразу же создало бы иллюзию глубины. Нет, иллюзии никакой! Глубина создана только планами, размерами фигур переднего и заднего. Не изображать, а выражать — вот в чем весь Учелло... И теперь мне понятно, почему поверженные лошади голубые. Они мертвы. Это выражение смерти. А я-то сначала думал, что эти два серо-голубых пятна на переднем плане нужны художнику для цветового равновесия, как белые гончие и зайцы на втором плане...

Кем же он был, этот кудесник раннего Возрождения, Паоло ди Доно, прозванный «Учелло» — «Птица» (говорят, он очень любил животных, особенно птиц)? Флорентиец, сын цирюльника, золотых дел мастер, мозаичист, автор рисунков для витражей знаменитого Флорентийского собора, работал у Гиберти, дружил с Донателло. Прожил большую жизнь, умер в 1475 году. Большинство работ его не сохранилось. Наиболее значительная — «Битва», на мой взгляд, недооцененная современниками, да и нами тоже.

Вот что пишет о нем Джорджо Вазари в своих знаменитых «Жизнеописаниях наиболее известных живописцев, ваятелей и зодчих»: «Паоло Учелло был бы изящнейшим и изобретательнейшим гением, какой со времени Джотто был в искусстве живописи, если б к люд-

ским фигурам и к животным он проявлял столько же усердия, сколько усердствовал он и тратил времени в делах перспективы... Паоло Учелло от природы был одарен умом гибким и тонким, но не знал другого удовлетворения, кроме как искать решения для каких-нибудь трудных и невозможных задач перспективы... Паоло, не давая себе отдыха, находился в вечной погоне за самыми трудными вещами в искусстве... В итоге он до такой степени стал искушен в этих трудностях, что нашел способы, приемы и правила, как вводить в свои перспективы стоящие на ногах фигуры так, чтобы они постепенно, от одной к другой, укорачивались, соответственно уменьшались и совсем исчезали из виду; между тем до него это делалось, как приведет случай... Все эти изобретательства пристрастили его к одиночеству, почти к нелюдимости, так что он сидел дома, не перекидываясь ни с кем ни словом в течение недель и месяцев и не показываясь на люди... Потратив время на эти головоломки, он в течение всей жизни находился скорее на положении бедняка, нежели знаменитого человека... Так прожил он до глубокой старости, испытывая мало радостей от своих преклонных лет, и умер на восемьдесят третьем году жизни... После себя он оставил дочь и жену, которая рассказывала, что Паоло все ночи напролет проводил в мастерской за поисками законов перспективы, а когда она звала его спать, отвечал ей: «О, какая приятная вещь эта перспектива!»

Мне кажется, Вазари несправедлив к Учелло. Достаточно взглянуть на «Битву» в Уффици (среднюю часть триптиха, левое крыло которого хранится в Лондоне, а правое — в Лувре), чтобы понять, что не одной только перспективой заслужил себе славу Паоло ди Доно, по

прозвищу Учелло. Впрочем, что можно сказать об эпохе, в которой рядом или один после другого работали Чимабуэ, Джотто, Учелло, Гиберти, Мазаччо, Брунеллески, Донателло, Пьеро делла Франческа и десятки других, об эпохе, которая дала миру Микеланджело.

Встречи с Микеланджело особенно радостны. Я опять пошел на поклон к «Моисею», к «Пиета» в соборе святого Петра. Но в соборе было слишком много народу и ставили какие-то загородки, готовясь к празднику, а в Сан-Пьетро ин Винколи возле «Моисея» появились ящики с наушниками: опустишь монету — и пленка тебе все расскажет на итальянском, французском, английском и немецком языках. Группа американских морячков толпилась у английского ящика. Я опустил монету во французский, послушал, и захотелось на улицу.

Зато в Сан-Лоренцо в капелле Медичи не было никого.

Капелла Медичи...

Мне всегда казалось преувеличением, когда говорили, например: «Можно часами стоять перед «Сикстинской мадонной». Теперь не кажется. В капелле Медичи я пробыл, вероятно, не менее часа. Для меня сейчас бесспорно — это величайшее произведение искусства. Человечество не знает другого примера столь совершенного синтеза скульптуры и архитектуры. Сила эмоционального воздействия громадна. В чем секрет? И тут загадка.

Когда смотришь на надгробие Лоренцо и Джулиано Медичи, все кажется совершенным. И глубина мысли, и способ ее выражения, и пластичность самих фигур... Нет, это все не те слова. Перед вами прекрасное. Вот и все. Нечего убавить, нечего прибавить. Предельная законченность.

Законченность? Но почему же тогда лица у фигур, олицетворяющих «День» и «Вечер»[1], не завершены? Трудно предположить, чтоб Микеланджело просто не успел их закончить, хотя в целом работы после Микеланджело завершал Вазари. Вряд ли гениальный мастер столько времени уделил бы второ- и третьестепенным деталям (капители колонн, например, с крохотными масками каких-то смеющихся существ с бараньими рогами), не завершив основного. Нет, внешняя незаконченность эта, очевидно, входила в намерения скульптора.

В замечательной своей книге «Образы Италии» П. Муратов пишет: «Освобождение духа, образующего форму из инертного и бесформенного вещества, всегда было главной задачей скульптуры. Преобладающим искусством античного мира скульптура сделалась потому, что античное миросозерцание держалось на признании одухотворенности всех вещей... Но родным домом духа, каким он был для греческих ваятелей, или новой прекрасной страной его, какой он был для живописцев раннего Возрождения, мир перестал быть для Микеланджело. В своих сонетах он говорит о бессмертных формах, обреченных на заключение в земной тюрьме. Его резец освобождает дух не для гармоничного и по-античному примиренного существования вместе с материей, но для разлуки с ней. О невозможности этой разлуки, о крепости земного плена как бы свидетельствуют неотработанные куски камня, вторгающиеся в совершенство его одухотворенных форм».

[1] Очевидно, у нас прижился неправильный перевод. По-итальянски не «Вечер», а «Сумерки» (il Crepuscolo) и не «Утро», а «Рассвет» (l' Aurora) — это точнее.

Прав ли Муратов? Об этом ли думал Микеланджело, создавая свои полузагадочные фигуры? Или объяснения эти можно скорее отнести к только-только начавшим вырываться из-под ига мрамора «пленникам», находящимся в Академии художеств? Я не берусь судить. Для меня это загадка, которую я не могу разгадать.

Все эти вопросы возникли у меня именно во второе посещение Сан-Лоренцо. В капелле пусто. Тишина. Только откуда-то доносится колокольный звон, не наш, не русский. Но и он что-то дополняет, как орган в готическом соборе. Сижу в большом кожаном кресле. Я как бы растворился в окружающем, но мозг, проклятый, не выключился. Задает вопросы. Почему? Почему? Что значит незаконченная рука «Ночи», опирающаяся на маску, олицетворяющую сон? Случайность? А маленькая маска усатого человека на спине у Джулиано Медичи — маска, которую смогли увидеть, только сняв фигуру с постамента для каких-то реставрационных работ? Все это загадка.

Такая же загадка и мадонна с младенцем. Почему не закончена, к тому же и анатомически явно не верна левая рука младенца Христа? Наконец, почему вся скульптура, стоящая на фоне гладкой белой стены, явно и безусловно сознательно оторвана от архитектуры капеллы, которая является венцом синтеза архитектуры и скульптуры?

Нет, не проникли мы еще, даже в наш век расщепленного атома и космических кораблей, — не проникли мы в тайное тайных искусства. Венера Милосская прекрасна без рук. Их где-то, говорят, ищут на дне Эгейского моря. Стоит ли?

Позади уже двадцать четыре страницы. Придирчивый читатель вправе возмутиться: сумбур какой-то. И о том и о сем. Напрасно все-таки автор нарушил вторую заповедь — с планом оно все-таки лучше, плавнее, понятнее...

Что ж, ничем не могу порадовать такого читателя — дальше будет так же. Можно было, конечно, как в энциклопедическом словаре:

Италия.

1. Географическое положение.
2. Народонаселение.
3. Государственное устройство.
4. История.
5. Промышленность.
6. Сельское хозяйство.
7. Искусство и т. д.,

но что-то не хочется, скучно. И по порядку рассказывать тоже скучно. Помню, как один мой приятель, вернувшись из путешествия, стал рассказывать о нем. Вынул блокнот (опять злосчастный блокнот!) и по порядку начал: «Итак, в первый день мы были там-то и там-то, во второй там-то и там-то, в третий...» Здесь его кто-то перебил и спросил о чем-то. «А это было на шестой день, мы еще дойдем до него». Но мы так и не дошли: разговор шел за вечерним и отнюдь не пустым столом.

Одним словом, никакого порядка наперед не обещаю. И все же, чтоб не обидеть педантичного и любящего ясность читателя, сделаю небольшое информационное сообщение.

Одиннадцатого марта 1962 года на конгресс Европейского сообщества писателей в г. Флоренцию (Италия) вылетела советская делегация в составе: А. Сурков

(председатель), М. Бажан, В. Панова, А. Твардовский, Г. Чухрай, Г. Брейтбурд (секретарь). В качестве гостей на конгресс приглашены были: И. Андроников, С. Антонов, Е. Винокуров, А. Вознесенский, Д. Гранин, Э. Казакевич, В. Некрасов, И. Огородникова, Н. Томашевский, В. Шкловский. Члены делегации и гости приняли участие в заседаниях ассамблеи и конгресса сообщества (11—15 марта, Флоренция), конференции «круглого стола» (16 марта, Рим), встречались с членами общества «Италия — СССР», с писателями, художниками и кинорежиссерами, студентами Римского университета, выступали по телевидению. Кроме Рима и Флоренции группа посетила гг. Прато, Равенну, Сиену, Сан-Джиминиано. 24 марта советские писатели самолетом отбыли на родину.

В дополнение к вышеизложенному скажу: кроме заседаний и «круглых столов» были еще приемы, обеды и ужины, избежать которые никак нельзя, хотя это и не самый идеальный способ ознакомления со страной. В Сан-Джиминиано, например, — одном из красивейших городов Италии — мы пробыли часа три, не больше, из них два провели за столом (в удивительно, правда, колоритном ресторане), утоляя голод и произнося тосты. Для полноты картины скажу, что утром того же дня у нас было два небольших «приемчика» — у мэра и в муниципалитете г. Сиены, а вечером — выступления во Флоренции в обществе «Италия — СССР» на тему о советской кинематографии.

Из Флоренции нам не хотелось уезжать. Она невелика, и мы как-то сразу привыкли и сроднились с нею. Мы гуляли по ее паркам и улицам, ходили в музеи, нашли

дом, где Достоевский написал «Идиота» (хотели найти квартиру, но так и не нашли; спускавшийся по лестнице — очень «достоевской» лестнице — молодой человек сказал нам, что «синьор Достоевский теперь здесь не живет, он давно умер»), встречались с интересными и симпатичными людьми, пили кьянти и не только кьянти, покупали сувениры и открытки, дарили марки и спички, а на прощанье получили от мэра, или синдика, как здесь он называется, города Флоренции Ла-Пира памятные медали конгресса с изящной флорентийской лилией.

Не хотелось уезжать. Казалось, что ничего красивее Флоренции с ее Дуомо, Синьорией, Давидом, мутно-желтой Арно, пересеченной мостами, с ее улочками и серо-бурой черепицей крыш, с печальным звоном колоколов Санта-Кроче, будившим нас по утрам, — казалось, что ничего красивее мы и не увидим уже. Уезжали с грустью.

И вот Сиена.

Сиена знаменита не многим меньше, чем Флоренция. Когда-то они враждовали, эти два города, соперничали — и в политике и в искусстве. И оба подарили миру великих художников. Сиену, слава которой родилась еще в XII веке, называют городом итальянской готики, Сиенский собор — один из редчайших примеров ее. Сиена — родина «сиенской школы», изысканнейшей школы живописи Раннего Возрождения, не порвавшей с традициями средневековья. Сиена — сердце Тосканы, центр виноделия, мать кьянти. На весь мир знаменит сиенский мрамор, травертин. А ко всему этому она, взгромоздившаяся на свои холмы, удивительно красива.

Когда мы на машине подъезжали к городу, я вначале

слегка испугался — какие-то новые кварталы, кубические дома. Но попали в центр — и страх прошел. Даже Флоренция как-то померкла. Средневековье, карабкающиеся в гору улочки, лестницы, аркады, внезапно открывающиеся маленькие площади, дворики с фонтанами. И все это XIV, XIII, XII века. И все это какого-то особого, своего, коричневато-рыжеватого, «сиенского» цвета, такого же, как и пейзаж Тосканы.

Тосканский пейзаж... Я ездил по многим красивым дорогам — Военно-Грузинской, на озеро Рица, по крымским серпантинам, дорогам Саксонии, Шварцвальда, Южной Чехии, Словакии, но, пожалуй, ни одна из них не сравнится с дорогой из Сиены в Сан-Джиминиано. День был солнечный, весенний и какой-то удивительной прозрачности. Дорога вьется по холмам, через небольшие леса, серебристые оливковые рощи, потом вырывается в долину — и перед тобой открывается такой красоты и, я бы сказал, изысканности линия горизонта, что невольно умолкаешь. Я никогда и нигде не видел такого горизонта. Он поразительно четок, он холмист и извилист, и на нем точно тоненькой кистью нарисованные деревья, замки на вершинах холмов, монастыри, колокольни... Красновато-бурая земля, матовое серебро олив и пронзительной голубизны небо с крохотными белыми облачками. До чего ж красиво! И почему-то знакомо. Ну да, видел же. В Уффици, в Палаццо Питти в самой Сиене — «сиенская школа»...

И вдруг на горизонте башни. Много-много башен. То скрываются, то появляются — дорога вьется среди виноградников. Сан-Джиминиано — «город тринадцати башен»...

Что может удивить после Флоренции и Сиены?

Ничто... И вот, оказывается, есть такой город. Это уж совсем старина. Это Данте, это Боккаччо, это удары шпаг, развевающиеся плащи, шелковые лестницы с балконов, замирающий звук лютни, гулкие шаги ночной стражи по булыжной мостовой, трепетное пламя задуваемых ветром фонарей.

Подъезжаешь к городу и не веришь глазам своим. Неужели в середине XX века могло сохраниться такое? А может, это декорации? Кто же художник? Художник — XIV век. Такие же башни — квадратные, суровые — были когда-то и во Флоренции и в Сиене[1]. Строили их знатные фамилии. Маленький Сан-Джиминиано, находящийся между Флоренцией и Сиеной, ощущал на себе их соперничество. Но только в нем чудом уцелели эти башни, до сих пор хранящие имена своих былых хозяев: есть башня Сальвучи, башня Ардинчелли — двух враждовавших фамилий. Чудо чудом, но, кроме того, Сан-Джиминиано обязан своим нынешним видом отцам города, которые еще в XVII веке приказали гражданам под их личную ответственность сохранять неприкосновенность башен, а тем, кто допустит разрушение, немедленно восстановить в первоначальном виде. «Per la grandezza della terra» — для величия Земли...

Был уже вечер. Я стоял у небольшого стрельчатого окна Палаццо Коммунале и смотрел на город. Солнце садилось, и башни, ставшие вдруг красными, отбрасывали одна на другую причудливые тени. Небо было попрежнему ярко-голубым с белыми облачками. В разрыве между двумя башнями был виден тосканский

---

[1] Глядя на башни Сан-Джиминиано, я невольно вспомнил башни Сванетии. Эта маленькая горная страна лежала когда-то на пути крестоносцев — отсюда, очевидно, и общность форм.

горизонт и бурые, как тосканская земля, черепичные крыши. Я стоял у окна и мысленно благодарил тех неизвестных мне синдиков XVII века, которые сохранили для меня, для всех нас эту сказочную неправдоподобную красоту.

Per la grandezza della terra — для величия Земли... Покидая Сан-Джиминиано, прощаясь с его башнями, которые вряд ли я когда увижу, я невольно думал о своем родном Киеве. Когда подъезжаешь сейчас к нему по железнодорожному мосту и любуешься его силуэтом, невольно радуешься сиянию куполов реставрированной Лавры и Выдубецкого монастыря. Софийский собор тоже помолодел — дотошные реставраторы много над ним поработали. Но если станешь к собору спиной, на противоположной стороне площади увидишь невыразительные заборы и крыши. Там когда-то высился Михайловский Златоверхий монастырь. Сейчас его нет. В 1937 году его снесли. Снесли, чтобы на его месте построить административное здание, которое так и не построили. А монастыря XI века нет — заборы и крыши.

Я бы не вспоминал об этом прискорбном факте двадцатипятилетней давности, если б и сейчас кое-кому из тех, от кого зависит судьба того или иного памятника архитектуры, не казалось, что всякая церковь или икона — в первую очередь «опиум для народа», а потом уже произведение искусства. Несколько лет тому назад в одной достаточно влиятельной киевской газете появилась статья, в которой писалось, что там-то и там-то необходимо снести такие-то и такие-то церкви и синагоги XI—XII веков. Они, видите ли, портят пейзаж... Убедительно, не правда ли?

Позднее мне пришлось присутствовать на одном за-

седании в Киеве, где пересматривался список архитектурных памятников, подлежащих охране государства. Возможно, не все памятники являются действительно памятниками и не все из них государство должно охранять, но когда такое заседание собирается для того, чтобы «пересмотреть список и сократить его на пятьдесят процентов», это вызывает не только удивление, но и тревогу.

Мы любим свою историю, свое прошлое, и то, что от этого прошлого сохранилось, нужно не уничтожать, а бережно сохранять.

Увы, поздно уже об этом говорить (а в свое время и говорилось и писалось), но то, что происходит сейчас на Мамаевом кургане в Сталинграде, ничего, кроме горечи, вызвать не может. Там возводится сейчас безвкусный, громоздкий ансамбль, с обилием гранитных лестниц, барельефов, скульптур и бюстов — одним словом, от Мамаева кургана, каким он был в сорок втором году, когда весь мир следил за событиями, развернувшимися на его пологих склонах,— от этого Мамаева кургана ничего не останется.

Когда восстанавливали «дом Павлова», кто-то додумался замазать на нем все надписи, которыми он был испещрен в дни обороны. На моих глазах лихой маляр толстой кистью замазывал розовой краской историческую (я не боюсь преувеличения) надпись: «Этот дом защищали сержант Яков Павлов и бойцы...» Дальше уже прочесть нельзя было. Удержать маляра оказалось невозможным. Я успел только сфотографировать последние секунды жизни этой надписи. Сейчас «дом Павлова» стоит гладкий, розовый и скучный, будто и не воевал никогда...

В свое время в полку, в Сталинграде, мы частенько подтрунивали над нашим ПНШ-1 (он был историком по профессии) за то, что он все собирал: какие-то схемы, формуляры, отчетные карточки, донесения. «Всему этому когда-нибудь цены не будет»,— говорил он, а мы смеялись, считали это занятие недостойным солдата. Сейчас, потеряв как-то кисточку для бритья, я полдня сокрушался, пока не нашел ее,— ведь это единственное, что у меня сохранилось от Сталинграда.

Тут я невольно предвижу замечания некоторых моих будущих критиков. Вот вы поехали в Италию, скажут они, увидели красивый город Сан-Джиминиано, в котором благодаря каким-то там синдикам XVII века сохранились древние башни, и в силу каких-то там ассоциаций заговорили вдруг о Сталинграде. Но, заговорив о нем, вспомнили почему-то одни только упущения, чьи-то недосмотры, не упомянув ни словом о тех воистину грандиозных восстановительных работах, которые охватили весь город. Ведь город-то восстановили фактически заново.

Да, заново. Об этом уже писали, и много писали. И тем обиднее, что есть вещи, которые уже восстановить нельзя, хотя в свое время можно было.

А о Сталинграде я заговорил не только в силу каких-то ассоциаций, связанных с вопросами сохранения и восстановления прошлого, а еще и потому, что именно в Сан-Джиминиано я особенно остро ощутил, что значит Сталинград не только для нас, советских людей, но и для всех, кому ненавистен фашизм.

В том самом старинном ресторане с толстыми деревянными балками и неоштукатуренными кирпичными стенами, который отнял у нас два часа из трех, проведенных в Сан-Джиминиано, к нам обратился с речью

немолодой человек, сидевший за соседним столом, член христианско-демократической партии. Он так и сказал:

— Я католик. Убежденный католик. Я верю в бога. Но мне хочется сказать вам, людям, приехавшим из страны атеистов, что мы благодарны вам. Вы отстояли Сталинград. Вы воевали и гибли там не только за себя, но и за нас, людей других убеждений, другой страны — страны, которая воевала тогда против вас. Вы в Сталинграде сломали хребет фашизму. Мы благодарим вас за это.

Я не ручаюсь за точность слов, но смысл их передаю точно. И сказаны они были от чистого сердца. И они дошли до моего сердца, до сердца каждого из нас.

В Сиене я встретился с писателем Карло Монтеллой. Он живет в Пизе, но, узнав, что мы будем в Сиене, приехал туда на своей машине. Я познакомился с ним еще в 1959 году в Ялте. Прилетел он туда на несколько дней из Москвы, со съезда писателей, вместе с известным гаитянским писателем и общественным деятелем Жаком Стефеном Алексисом, замученным сейчас у себя на родине. Рядом с Алексисом, веселым, оживленным, общительным, Монтелла показался мне угрюмым и замкнутым. Вокруг Алексиса всегда были люди, всегда все кипело, Монтелла же предпочитал в одиночестве бродить по дорожкам парка. Потом, когда я прочитал его рассказы (несколько из них напечатано было у нас в журналах), я понял, что он отнюдь не угрюмый, а, наоборот, полный юмора и иронии человек. К тому же очень честный, искренний и правдивый.

Из Сиены в Сан-Джиминиано я ехал в его машине. По пути мы не очень много разговаривали. Причин это-

му было три: мое слабое знание французского языка, изумительной красоты дорога и киноаппарат, которым я мучительно пытался запечатлеть эти красоты. И вот недавно один мой друг получил от него письмо. В нем были такие строки: «Я прошу извиниться перед Некрасовым за то, что был так молчалив по дороге из Сиены в Сан-Джиминиано. За рулем я вообще никогда не разговариваю, но, наверное, не говорил бы с ним, даже если бы не вел машину. У меня нет потребности разговаривать с ним, потому что, я чувствую, у него нет потребности разговаривать со мной — в этом он похож на меня, и в этом мы друг друга понимаем. Тем не менее я хотел бы видеть его своим гостем и предоставил бы ему полную свободу. Скажи ему об этом».

Первые строки меня огорчили, последние несколько успокоили. Потребность разговаривать? Это сложная штука. Пожалуй, высшая форма дружбы — это когда совместное молчание не тяготит. Молчание с Монтеллой меня не тяготило (хотя я и не имею еще права приписывать это дружбе), так же как и не безразличен, а, наоборот, интересен был разговор с ним. Интересен еще и потому, что Монтелла для меня один из серьезнейших и требовательнейших критиков моего творчества.

«Кира Георгиевна» ему не понравилась. «Первое знакомство» тоже не очень. Он мне это прямо сказал. Должен тут же заметить, что очень трудно что-либо слушать, даже если речь идет о твоем произведении, когда идешь по улицам Сиены. Тут как-то не до разговоров. Возможно, именно поэтому я не очень активно защищался. Но многое из того, что высказал Монтелла, верно.

— Вы знаете,— сказал он,— я что-то не очень верю достоверности двух ваших вставных новелл в «Первом

знакомстве». О влюбчивом берсальере и старом гондольере с отмороженными ушами. Уж не сочинили ли вы их, а?

Я молча улыбнулся.

Вообще в Италии достаточно критически отнеслись к «Первому знакомству». Доброжелательно, дружелюбно, но критически. Вышла книга там под названием «Sovietico in Italia» («Советский человек в Италии»), что, конечно, недостаточно точно передает интонацию русского названия. Прессу имела она немалую — около пятидесяти статей. Основной их тон был таков: «Все очень интересно, и написано легко, и многое точно подмечено, но хотелось бы расширить и разнообразить круг проблем».

Хотелось бы! Ох как хотелось бы. И хочется. Ведь Италия — страна очень активной, бурной политической жизни. Страна контрастов и противоречий — страна высокой культуры и большого еще процента неграмотных, страна сильнейшей в буржуазном мире компартии и крохотного, но могущественного Ватикана, страна забастовок и американских ракетных баз, страна «Сладкой жизни» и «Рокко и его братьев».

Но для того, чтобы во всем этом разобраться, вникнуть поглубже, надо быть не клиентом туристской компании «Гранди-Виаджи» («За пятнадцать дней — красивейшие, знаменитейшие места Италии!») и не членом делегации — надо настолько сдружиться с Уффици и Ватиканским музеем, чтобы они не обижались, когда ты к ним уже не заходишь, и жить надо не в отеле «Виктория» на виа Венето и даже не во второразрядном «Импеpo», а в простой рабочей семье — ну, хотя бы у того же Джерми-машиниста, как ни сложна там семейная обста-

новка,— и не неделю, и не две... а чуть подольше, и по вечерам сидеть за столом и беседовать. Впрочем, для этого нужно знать язык. И тут я умолкаю.

Я написал: «беседовать», но, если говорить начистоту, применительно к большинству итальянцев слово «беседа» мало подходит. Почти всегда она если не начинается, то кончается спором. Иногда очень даже горячим, с повышением голоса и взаимными обвинениями.

Вот я и подошел к тому, что в самом начале назвал наиболее интересным, — к спорам, к дискуссиям, к тому, что итальянцы особенно любят и в чем они безусловно мастера.

Мне пришлось столкнуться с тремя видами таких дискуссий: а) с недоброжелателями, стремящимися задать каверзный вопрос, поставить тебя в тупик; б) с людьми не нашего лагеря, но ищущими общего языка, и в) с друзьями, в основном коммунистами. С последними спорить, пожалуй, труднее всего.

В последний день нашего пребывания в Риме мне и поэту Вознесенскому пришлось выступать на вечере, организованном обществом «Италия — СССР». Народу было много, зал маленький, накурено, жарко. Выступать было трудно, особенно к концу очень напряженного, заполненного всякими делами дня. После доклада и наших выступлений начались вопросы. И тут вдруг стало легко и весело. Вероятнее всего, потому, что наиболее активными были корреспондент журнала «Темпо» и студент-американец, в свое время работавший гидом у нас на американской выставке в Москве. У обоих у них была одна цель — поставить нас в тупик. На следующий день, уже в самолете, мы не без удовольствия прочитали отчет

об этом вечере в правительственной «Мессаджеро»: «Советские писатели поразили всех артистизмом, юмором и меткостью своих ответов, подобных ударам рапиры». До сих пор не могу понять, почему отнюдь не симпатизирующая нам газета решила нам польстить — никакого особого артистизма не требовалось, чтоб отвечать на вопросы, подобные: «Правда ли, что Евтушенко после какого-то выступления Хрущева исключили из комсомола?» Или: «Почему в Советский Союз не допускается ни одна иностранная книга?» Впрочем, возможно, под артистизмом подразумевалась быстрота ответов и не обязательная глубокомысленная многозначительность их. Юмор — лучшее оружие против недоброжелателей; мы с Вознесенским пытались об этом не забывать.

Сложнее было, пожалуй, за «круглым столом» в Палаццо Мариньоли. Это была встреча советских и итальянских писателей, вылившаяся в основном в обсуждение проблемы «завербованности» современных писателей. У нас слово «завербованность» звучит несколько иначе и более грубо, чем французское «engagé», но смысл ясен: примыкает ли тот или иной писатель к тому или иному лагерю, какую идею он воплощает, какими путями и в какой именно форме. Интерес дискуссия вызвала громадный, зал был набит до отказа, все проходы были забиты, люди не сидели, а стояли в задних рядах даже на стульях.

На улице, у входа в зал, какие-то молодые люди разбрасывали профашистские листовки: «Моравиа, Леви, Пазолини — не встречайтесь с русскими!» Но встреча произошла.

По итальянскому обычаю, никакой специальной под-

готовки не было. Председательствующий Алатри (генеральный секретарь общества «Италия — СССР») давал слово по своему выбору, и каждый говорил что хотел.

На мой взгляд, дискуссия — по началу своему — носила излишне академический, теоретический и, я бы сказал, даже абстрактный характер. Мне кажется, она была бы интереснее и плодотворнее, если бы опиралась на какие-то конкретные примеры — книги, фильмы, статьи, если бы выступающие поменьше оперировали общими понятиями. В своем небольшом выступлении я об этом говорил, сказав, между прочим, что мне гораздо легче было бы выступать, если б я посмотрел, допустим, нашумевший сейчас в Италии, да и во всей Европе фильм Пазолини «Аккатоне». Дело не в том, что я мог бы потом высказать свои претензии автору или, наоборот, поблагодарить его (с великим наслаждением посмотрев позднее этот фильм, я смог осуществить второе), а в том, что мы почти не знаем итальянской критики, так же как итальянцы нашей (в меньшей, правда, степени). Не знаем, что друг о друге пишем. Вот и поговорили бы, поспорили. Мне кажется, что «Аккатоне» как раз и есть тот фильм, на котором можно скрестить оружие в спорах о путях и направлениях современной кинематографии, да и искусства вообще. Если б к тому же мы смогли привезти с собой новый советский фильм А. Тарковского «Иваново детство» (появись мы на десять дней позже, мы могли бы взять его с собой, он был бы совсем уже готов), дискуссия затянулась бы дня на два, а то и на три.

Принимать участие в дискуссии, в которой между тобой, твоими оппонентами и зрителем находится пусть

даже самый превосходный, как было у нас, например, переводчик, очень трудно. Об этом, кстати, говорил Пазолини, посетовавший на то, что латынь — язык гуманизма, как он сказал, — дважды сыграла с ним в этой дискуссии злую шутку. Но о Пазолини позже. До него (а он говорил дважды) выступали Пьовене, Моравиа, Леви, Сурков, Панова, Твардовский (кстати, тоже дважды выступавший и именно в связи со вторым выступлением Пазолини).

Итак, речь за «круглым столом» шла о «завербованности», о долге писателя. Итальянцы больше говорили о долге и «долгах» нашей литературы, нежели своей. Твардовский вежливо обратил внимание на некоторую, что ли, неделикатность такого подхода («Мы очень признательны нашим итальянским коллегам за то, что они так хорошо ориентируются во всем, что касается нашего развития, но я не решился бы поступить так же в отношении итальянского искусства и литературы»).

— Нас с собой не равняйте, на вас все смотрят, с вас и спрос,— слышали мы не раз.

Вот так вокруг нас все и вертелось.

Наиболее интересным было, на мой взгляд, выступление Пазолини. Оно было конкретнее других и, я бы сказал, пожалуй, резче.

Пьер Паоло Пазолини занимает сейчас в итальянской литературе одно из первых мест. Мы его стихов и романов, к сожалению, почти не знаем, он очень труден в переводе. Герои его говорят даже не на диалекте, а на полублатном жаргоне римских окраин, который и не всякий-то коренной римлянин поймет. Фильм «Аккатоне» — первая работа писателя в кинематографе, в этой картине

он не только сценарист, но и режиссер. Фильм превосходный, но о нем отдельно.

О чем же говорил Пазолини?

Небольшого роста, черноглазый и черноволосый, с простым серьезным лицом то ли рабочего, то ли крестьянина, в недавнем прошлом профессиональный футболист, сейчас знаменитый писатель, он встал и негромким голосом начал говорить. Говорил он о своих претензиях к советской литературе. На его взгляд, она излишне наивна и сентиментальна (итальянцы, сами по себе народ сентиментальный, в искусстве не переносят сентиментальности ни в каком виде). Он ссылался на «Звездный билет» Аксенова, на стихи Евтушенко, на «Балладу о солдате».

— Деятели советской культуры,— сказал он,— в сложный для них период стремятся перескочить — и они поступают правильно — через то, что для нас является опытом декаданса. Но, перескакивая через этот опыт декаданса, они находят, в некотором смысле, то, что ему предшествовало: романтизм, понимаемый как невинность, чистота. Этот романтический, сладостный, добродушный, пропитанный юмором и в лучшем случае классический наивный и чистый воздух теперь не может полностью удовлетворить нас. Положение, сложившееся в Советском Союзе и отразившееся на положении у нас, потому что мы тесно связаны друг с другом, требует чего-то совсем иного. Технический прогресс в России вместе с пробудившимся чувством удивительного оптимизма ставит столь же серьезные проблемы перед всем человечеством: ракета, посланная на Луну, помимо того, что она является источником огромной гордости для Советского Союза, в то же время заставляет по-новому,

я бы сказал, со всех сторон взглянуть на страдания, невежество, нищету земного шара. Так что положение действительно нелегкое. Мы ждем от советских писателей создания поистине трагического произведения, горького, даже жестокого, если необходимо, произведения, в котором было бы высказано все это.

Я привел столь пространную цитату из выступления Пазолини, поскольку именно оно разбило академичность дискуссии, именно вокруг него начались споры. Мы не соглашались, что наша литература наивна, что она избегает трагического (в связи с этим упоминали «Разгром» Фадеева, «Звезду» Казакевича, «Тихий Дон»). Пазолини в своем ответе стремился внести ясность, ссылаясь на ту самую латынь, которая сыграла с ним злую шутку: он, мол, употребил слово «наивный» в том смысле, в каком им пользуются филологи — «ingenuo» — «естественный», а отнюдь не в смысле «невинный, ребячливый», и, говоря, что искусство Чухрая — наивное искусство, он хотел сделать Чухраю только комплимент.

Некоторая путаница произошла и вокруг итальянского слова «tragico», которое одновременно означает и «трагическое» и «трагедийное», а это понятия отнюдь не одинаковые.

Чего же хочет от нашей литературы Пазолини? Трагедии как жанра?

На первый взгляд можно подумать, что именно этого. Талант Пазолини беспощаден, философия его произведений — философия безысходности. Но, оказывается, нет, не этого он от нас ждет (хотя и этого, очевидно, тоже) — в своем втором выступлении он прямо об этом

сказал, вспомнив о второй злой шутке, разыгранной с ним латынью.

— Говоря «трагедия», «трагическое», я не имел в виду трагедию как литературный жанр: самые большие трагедии те, что смешат. Я говорил о трагедии, которая ни в какой мере не обманывала бы нашу жажду знать все.

На это пожелание или требование Пазолини ответил Твардовский, сказавший, что он всегда испытывает «чувство неловкости и страха, когда присутствующие на той или иной дискуссии пытаются разрешить проблемы, которые очень трудно разрешить даже в самом дружеском интимном разговоре, даже одному, за рабочим столом, когда напрягаешь разум в процессе творчества».

Это верно — есть еще о чем подумать наедине с самим собой...

Мне очень жаль, дорогой Пазолини, что в тот вечер, вернее, ночь, когда после просмотра вашего фильма вы повели нас ужинать в небольшой ресторан, мы с вами так и не поговорили о самом главном и для меня и для вас. Возможно, для этого серьезного разговора было слишком много людей, а может быть, мы просто устали и не хотели уже спорить, но, я знаю, разговор этот — нелегкий разговор — произойдет, не может не произойти. Хотелось бы только, чтоб до того, как он состоится, вы и друзья ваши (надеюсь, что они и наши) знали: все, что вы называете и считаете трагическим, мы помним очень и очень хорошо. Но говорить, тем более писать об этом, уверяю вас, не так-то просто. Миновать трагические события нашей жизни советская литература, при всем ее стремлении к жизнеутверждающему (а может быть, именно в силу этого), просто не может. Не мо-

жет, потому что, как сказал Твардовский в заключение своей речи, «в искусстве, в литературе, как и в любви, можно лгать лишь до поры — раньше или позже настанет время сказать всю правду». Мне очень хотелось бы, дорогой Пазолини, чтобы вы это поняли до нашей встречи, а после нее, если она состоится, чтобы вы не говорили, как сказали за «круглым столом»: с русскими можно говорить, но нельзя спорить. Кстати, может быть, именно из-за этой вашей позиции, сидя ночью в ресторане после просмотра «Аккатоне», мы говорили о чем угодно, только не о главном.

В первый же вечер в Риме, сразу же после «круглого стола», меня увлекла за собой группа молодых журналистов. «Для начала пойдем в тратторию,— было сказано,— а потом увидим». В траттории сдвинули столы, и тут же появились графины с красным и белым римским вином, без которого в Италии не обходится ни одна встреча (впрочем, итальянцы утверждают, что в России ни одна встреча не обходится без водки, что, на их взгляд, гораздо труднее).

В компании нашей я знал только двоих, остальных я видел впервые. Среди них был некто Серджо, молодой коммунист лет тридцати с чем-то, журналист, непримиримый, злой, с которым, начиная с этого вечера и до дня моего отъезда, у меня происходили наиболее ожесточенные схватки.

Знакомство наше началось с его заявления, что ему не понравилось мое выступление за «круглым столом». Почему? Недостаточно смелое. Это был первый удар. Затем он сказал, что «Кира Георгиевна» ему тоже не

нравится. Второй удар. Дальше удары стали сыпаться один за другим. Острый, неуступчивый, может быть излишне желчный, с горящими черными глазами, то веселыми, то злыми (чаще злыми), Серджо мне очень понравился. Спорили мы с ним по поводу всего — литературы, искусства, журналистики, образа жизни, социальных систем, методов построения коммунизма, избирательных систем, различных течений в кинематографии — одним словом, по поводу всего, к чему бы мы ни прикасались. Споры эти доходили иногда до такого накала, что однажды в милой компании довели одну из присутствовавших девушек до слез. «Ну что вы все ссоритесь, ссоритесь, ссоритесь? — всхлипывала она.— Разве нельзя поговорить о чем-нибудь спокойном?» Мы с Серджо выпили примирительную, попытались заговорить о спокойном, но минут через двадцать опять сцепились. Одним словом, беседы с ним проходили, как говорится, в духе прямоты и откровенности. И, должен сказать, мне это нравилось. Мы сдружились с Серджо.

Итальянские коммунисты — во всяком случае те, с которыми я встречался (и в Италии, и у нас, в Советском Союзе),— не догматики и отнюдь не ревизионисты. Решения XX и XXII съездов для них не менее важны и существенны, чем для нас.

Они говорят так, например:

— Решение двух этих съездов абсолютно правильные. Культ личности должен был быть разоблачен, и вы сделали это со всей вам присущей смелостью. Но надо понять и нас. Мы живем в других условиях. Мы в капиталистическом мире, у него свои законы. Вы — ваше поколение во всяком случае — знаете эти законы только

по книгам, а мы сталкиваемся с ними на каждом шагу, каждую минуту. Рядовой итальянец находится постоянно под воздействием двух взаимнопротивоположных идеологий. И вот итальянец — рабочий, служащий, крестьянин — должен выбирать. А для того, чтоб выбрать, должен знать, что лучше. Он читает газеты — купить он может любую: ватиканская «Осерваторе романо» стоит столько же, сколько «Унита». Одна говорит одно, другая — другое. В одной он читает, что в Советском Союзе все плохо, в другой — что все хорошо. Так, во всяком случае, мы писали до определенного времени — именно, что все хорошо. Потом выяснилось, что не все, далеко не все... Мы писали, что Сталин велик, мудр и непогрешим. И нам верили, очень многие верили. Теперь мы уже не пишем о его непогрешимости, и нам задают много вопросов. Поймите, миллионы людей тянутся к вам. Для них вы первая в мире страна, в которой у власти стал рабочий класс. Поэтому они хотят знать о вас все, всю правду. Что хорошо и что плохо, что мешает. И вот тут-то вы не всегда нас понимаете. Мы все радуемся победам Гагарина и Титова, но рядовой итальянец, особенно побывавший у вас в Союзе (а таких сейчас все больше и больше), обязательно задает вопрос: «А почему они, запустив спутник вокруг Луны, не могут до сих пор отделаться от очередей?» — и еще десятки других вопросов. И это не праздные вопросы, это очень существенные. И мы обязаны на них ответить. Но в первую очередь вы. А вы часто с ответом тянете, отвлекаетесь в сторону. Тем временем ответ — в основном тенденциозный — дает враг, и к нему часто прислушиваются. И вы не учитываете этого.

Вот так говорят многие коммунисты. И тут же сами

начинают задавать вопросы. Почему, почему, почему? Сто тысяч почему, от которых у меня иногда голова шла кругом.

Как-то у меня зашел разговор с одним молодым кинематографистом, побывавшим на Московском фестивале в шестьдесят первом году. Заговорив о фильме «Голый остров», получившем первую премию, он упомянул фамилии двух японских режиссеров — Мизогуши и Куросава, о которых я ничего не знал. Он несколько удивился, но когда затем узнал, что я не видел ни одной картины Бергмана и Микеланджело Антониони, он не поверил своим ушам.

— Вы не видели картин Антониони?

— Не видел.

— Но почему?

Я пожал плечами.

— Просто мы не закупили их.

— Не закупили Антониони? Но ведь это самый знаменитый сейчас режиссер. О нем спорят сейчас во всем мире. Не видеть его картин — это то же самое, что не видеть, ну... ну, хотя бы «Сладкую жизнь» Феллини.

— Но я и «Сладкую жизнь» не видел.

Он развел руками.

— Не видели?

— Не видел.

— Нет, просто вы не любите кино, не интересуетесь им. Я не могу поверить, чтоб у вас не купили «Сладкую жизнь», ведь это очень серьезный, умный, страшный, к тому же разоблачительный фильм... Не верю...

Другой итальянец спросил меня, какого я мнения о

последних картинах Чарли Чаплина «Огни рампы» и «Король в Нью-Йорке». Я опять-таки вынужден был сказать, что не видел их, что их нет у нас в прокате.

— Но почему? Чаплин — величайший артист современности. Каждая его картина — событие...

Я не знал, что ответить. Я сам не понимаю, почему у нас не идет Чаплин. В версию, что его картины слишком дороги, поверить трудно.

В третий раз меня поставили в довольно затруднительное положение, спросив, почему мы не издаем тех или иных писателей. (Тут я вспомнил, как неловко мы себя чувствовали, группа советских писателей, в том числе Панова и Гранин, когда в 1956 году Альберто Моравиа, будучи в Ленинграде, спросил нас что-то о Кафке. Мы молча переглянулись и ничего не смогли ответить: тогда мы о нем даже не слыхали.)

— Я понимаю,— сказал мой собеседник, кстати тоже коммунист,— я понимаю, что у вас есть свои взгляды на задачи литературы, есть свои издательские планы, охотно понимаю, что кто-то из писателей вам ближе, кто-то дальше, кто-то совсем чужд. Если б вы вдруг вздумали издать «Лолиту» Набокова, считающуюся сейчас в Америке бестселлером, это было бы просто нелепо. Но почему вы так медлительны с Кафкой? Почему так старательно избегаете Альбера Камю? В конце концов, вы вовсе не обязаны издавать их стотысячными тиражами. Но ведь каждый из них в своем роде значителен, даже Саган, которую многие считают несерьезной. Ведь они, эти писатели, крайне типичны для своего времени, эпохи, настроения умов. Их можно не любить, критиковать, наконец отрицать, но их нельзя не знать...

У нас издается сейчас много переводов иностранной

литературы. Чуть ли не со всех языков мира. И большими тиражами. И все же многие события зарубежной литературной жизни проходят мимо нас или в лучшем случае доходят до нас с большим запозданием.

К слову сказать, с переводами советской литературы в Италии сейчас во много раз благополучнее, чем было три-четыре года назад и чем в других западных странах сейчас. Если до определенного времени книги советских писателей привлекали к себе внимание главным образом как нечто экзотическое или сенсационное, то за последние годы положение это в корне изменилось. Круг переводимых писателей сейчас очень широк и разнообразен. И не только прозаиков, но и поэтов. Я собственными глазами видал в книжных магазинах книги Тендрякова, Каверина, Вс. Иванова, Эренбурга, Кузнецова, Аксенова, Берггольц, Айтматова, пьесы Арбузова, Володина, Хмелика, Розова, стихи Евтушенко, Вознесенского, Заболоцкого, Окуджавы, Винокурова... Список этот спокойно можно продолжить, так как наиболее крупные итальянские издательства (Мондадори, Эйнауди, Фельтринелли, Эдитори Риунити) очень внимательно следят за нашими журналами и буквально через два-три месяца после опубликования у нас заинтересовавшие их произведения выходят уже в свет... Эх, нашим бы издательствам такую оперативность!

Теперь о кино. Мы покупаем много иностранных фильмов. Мы видали первоклассные картины Росселини, Де Сика, Де Сантиса, Висконти, Феллини, Трюффо, Отан-Лара, Бардема, Карела Земана, Кавалеровича, но наряду с этим по нашим экранам победно шествуют не имеющие никакого отношения к искусству всякие «Оклахомы» и «Серенады солнечных долин». А ведь это тоже

деньги, на которые можно было бы купить и «Гражданина Кэйна» — американцы считают его вершиной своего киноискусства,— или «Хиросима, любовь моя» Алена Рене, или «Мост через реку Квай» — одним словом, картины, которые являются этапами на пути развития мирового киноискусства.

Кстати, об этом пути и об Антониони, из-за которого мне пришлось краснеть. Много ли мы знаем о тех горячих спорах, которые развернулись сейчас в среде прогрессивных режиссеров и кинокритиков мира вокруг этого самого пути, пути современного кино, о двух основных направлениях, по которым оно развивается,— о «школе», как уже теперь говорят, Антониони и о «киноправде» Жана Руша? Я, например, до последнего времени ничего не знал. А это очень интересно. Западное кино переживает сейчас кризис. Знаменитый Голливуд со своими ковбойскими «вестернами» и картинами ужасов шаг за шагом теряет свои позиции. Посещаемость кино — не без участия, правда, телевидения — резко пала. В Англии за один только 1961 год закрылось триста кинотеатров. Во Франции по сравнению с 1957 годом число кинозрителей сократилось на восемьдесят миллионов человек. Почему все это происходит? Я не буду вдаваться во все детали этого довольно сложного процесса. Приведу только последние строки «Манифеста молодого американского кино». «Мы не хотим больше лживых и лакировочных фильмов,— взывают ко всем молодые американские режиссеры Рагозин, Роберт Френк, Берт Стерн, братья Сандрос и другие,— мы предпочитаем фильмы пусть грубые, но живые. Мы не хотим больше фильмов розовой водички. Нужны фильмы цвета крови!»

Фильмы цвета крови. Сказано забористо — вряд ли

розовой водичке надо противопоставлять именно кровь, — но в общем ясно: надоела ложь, фальшь, нужно что-то новое, свежее, современное. И вот в поисках этого нового наметилось два пути. Один — это Антониони (сюда можно отнести Алена Рене с его «Хиросима, любовь моя», «В прошлом году в Мариенбаде»), другой — это Жан Руш и его фильм «Хроника одного лета».

«Хроника одного лета» (Рушу помогал социолог Эдгар Морэн) — это прогулка с кинокамерой и микрофоном по улицам Парижа. Авторы фильма подходят к различным людям — служащим, рабочим, студентам — и задают им один вопрос: счастливы ли они? Ни кинокамеру, ни микрофон они не скрывают — говорите что хотите, не стесняйтесь, будьте самими собой. И люди говорят. Потом их сводят друг с другом на улице, дома, в кафе, они начинают спорить о разных разностях, о своей работе, алжирской войне, Конго... Кончается картина тем (длится она нормальные полтора часа), что всех действующих лиц собирают в одном кинозале, показывают им отснятую пленку, и мы видим, как каждый на это реагирует.

Авторы фильма хотят показать, так сказать, абсолютную правду. Они не прячутся, не подглядывают, ничего не подстраивают, они застигают людей врасплох и в конце концов, побеседовав с десятком из них, выясняют, что особого счастья никто из них не испытывает. Всех мучает, всем надоела работа, никто от нее удовольствия не получает, все думают в основном о своих личных делах. Скучают даже богачи, с которыми авторы встречаются на модном курорте Сан-Тропез. Впрочем, скука на курорте — это тоже мода.

Картина вызвала много споров. Одни хвалят, другие говорят, что настоящую правду все же так и не удалось ухватить за хвост. Невыдуманные персонажи фильма не могут, мол, в силу определенных человеческих качеств держаться перед кинообъективом абсолютно естественно. Они тоже играют. Одни хотят показаться лучше или умнее, чем они есть, другие, наоборот, как бы кокетничают своей искренностью. Но, так или иначе, путь, по которому идет Жан Руш, хотя он и не очень нов — вспомним двадцатые годы и нашего Дзигу Вертова,— путь интересный, говорящий о серьезных поисках. И в поисках этих он не одинок — в Америке по этому же пути идут режиссеры Ширли Кларк (в своей картине «Связной» она ввела на экран даже съемочный аппарат) и Лайонел Рагозин.

Я видал две картины Рагозина — «На Бауэри» и «Вернись, Африка». Обе они создали режиссеру мировую славу. Первая из них (снята она в 1956 году) — это рассказ о тридцатишестилетнем американском безработном, попавшем на Бауэри — самое страшное место в центре Нью-Йорка, где прозябают и спиваются выброшенные за борт жизни люмпены, профессиональные безработные, алкоголики. Картина документальная. Актеров в ней нет. Валяющиеся на тротуарах пьяницы, кабаки, ночлежки, проститутки, драки, потасовки — все это правда, действительность, ничего не «подстроено». Только двое в фильме играют (но и они не актеры, а самые что ни на есть заправские жители Бауэри) — молодой безработный и его друг и собутыльник старик. Сюжет очень прост: старик крадет у своего «друга» чемодан, потом продает его и часть вырученных денег отдает ему же, молодому безработному, чтоб тот мог вырваться из Нью-Йорка. Впечат-

ление от картины потрясающее. Обличительный документ огромной силы.

«Вернись, Африка» снята три года спустя в Южно-Африканском Союзе, куда Рагозин не без осложнений пробрался, сделав вид, что хочет снять музыкальную комедию. Комедия оказалась отнюдь не веселой — это печальная история негра Захария, приехавшего на заработки в Иоганнесбург, крупнейший центр добычи алмазов. Фильм несколько затянут, в нем больше придуманного, чем в первой картине, но актеров тоже нет, и обличительная сила его ничуть не меньшая, чем в «На Бауэри».

Жан Руш, Ширли Кларк, Рагозин — это один путь, путь поисков правды методами документального кино в сочетании его с элементами художественного кинематографа. Путь, по-моему, очень интересный и нужный.

Несколько сложнее другой путь, по которому идет Антониони. Он, например, считает, что сама действительность настолько неопределенна и ускользающа, что только интуитивным путем можно ее постичь. Это его высказывание я читал в «Юманите», в статье, посвященной фильму «Затмение», за который Антониони получил специальную премию на Каннском фестивале 1962 года. Но, посмотрев недавно саму картину, я того, о чем он писал, откровенно говоря, не ощутил. Фильм абсолютно реален и, я сказал бы даже, правдив в своей безысходности. В нем с безжалостностью большого художника вскрыта язва, разъедающая современную западную цивилизацию,— полное разобщение, отчуждение, некоммуникабельность (есть такой термин теперь на Западе) — невозможность найти путей сближения между людьми.

Режиссура фильма, игра актеров превосходна (в главной роли Ален Делон, знакомый нам по фильму «Рокко и его братья», где он играет Рокко), понятна и мысль автора, но вся эта история несостоявшейся любви молодого биржевого маклера и девушки, бросившей своего богатого любовника, оставляет меня, зрителя, абсолютно холодным. Мне совершенно безразлично, чем кончится этот роман. Красивый парень, красивая девушка, и целуются они соблазнительно, а мне все это неинтересно — ну сойдутся, ну разойдутся, мне какое дело? С куда большим интересом я разглядывал римские улицы и пытался узнавать знакомые места. Одним словом, картина мне не понравилась, хотя социальное звучание безусловно значительно.

Полная противоположность «Затмению» — «Аккатоне» Пазолини, фильм, который я видал дважды и после вторичного просмотра понравившийся мне еще больше.

«Аккатоне» — слово непереводимое. У нас пытались его перевести как нищий, побирушка, подонок. На самом же деле это нищий, который хочет разбогатеть, используя для этой цели своих товарищей по несчастью. Вот о таком аккатоне, римском сутенере, и рассказывает нам фильм. Сам фильм очень длинный, очень «разговорный», и в этом его основная сложность для нас: герои говорят на римском воровском жаргоне, который почти не переводим, на русский. Не буду подробно рассказывать содержания картины, да внешне оно и несложно — разными путями аккатоне хочет стать на ноги, даже пытается начать работать, но в конце концов гибнет. Снято все очень просто. Никаких павильонов, декораций — все на улице, во дворе, в кабачке, очевидно, тоже настоящем. Никакого

искусственного освещения. Полное отсутствие монтажных ухищрений (кстати, увлечение монтажом на Западе считается уже анахронизмом), а главное, никаких актеров. Герои играют самих себя. И как играют! А герои — нищие, сутенеры, проститутки. Только сам аккатоне играет не совсем себя, в жизни он — зовут его Франко Читти — маляр. Ко всему этому, как я уже говорил, Пазолини тоже не профессионал — это его первая картина.

Каково же ощущение после просмотра? Ощущение, будто бы два часа прожил с этими людьми. Эффект присутствия — твоего присутствия на экране — поразительный. Тут, конечно, много от неореализма, но в чем-то есть новое — в очень длинных сценах, в неподвижности кинокамеры, в том же отсутствии монтажа. Но дело не в приемах — в картину влезаешь с потрохами, забываешь, что перед тобой экран. Для меня как для зрителя это очень важно — я верю режиссеру, верю артистам, а значит, и тому, что они мне показывают.

Почему же я затрудняюсь отнести «Аккатоне» к разряду картин неореалистических? Ведь в те тоже влезаешь с потрохами, веришь актеру, режиссеру. И почему вообще пошел разговор, что неореализм изжил себя?

Думаю, что дело тут не в «изжитии», а в том, что неореализм как явление все-таки национальное, чисто итальянское (влияние его на мировую кинематографию огромно, но в чистом виде он ни в какой стране не повторился), так вот, стиль этот в силу определенных причин как бы переродился, сконцентрировал свое внимание на другом, более узком. Неореализм родился сразу после войны, в разрушенной, полуголодной, нищей Ита-

лии. И этой Италии, ее людям, трудностям их повседневной жизни, благородству характеров этих людей — обыкновенных римлян, миланцев, неополитанцев, крестьян, рабочих, мелких служащих,— их умению помочь друг другу в тяжелую минуту и посвящены были картины, которые мы так полюбили. Сейчас Италия уже не та, по сравнению с послевоенными годами экономически она окрепла (почему — это отдельный разговор), и на многом уже видна печать внешнего благополучия. Возможно, в силу именно этого (итальянцы в искусстве как огня боятся всякого вида благополучия) взгляд художника обратился в сторону деклассированных, не нашедших своего места в жизни людей («Ночи Кабирии», «Аккатоне», «Рокко и его братья») или, наоборот,— к разложившемуся, с жиру бесящемуся миру «Сладкой жизни». Возможно, это обращение и закономерно, но круг охвата, как будто расширившись, явно сузился. Внешне то же самое — достоверность, правдивость, точность, по сути же нечто уже другое, более частное.

Несколько особняком стоит все тот же Антониони. Его последняя картина «Красная пустыня», получившая первую премию на Венецианском фестивале 1964 года,— очень печальная, безысходная — посвящена все той же теме человеческого разобщения. Здесь уже, так сказать, третий мир — мир больного человека, психически не совсем нормальной женщины, которая с особой остротой ощущает свое одиночество в жизни. Картина сделана с большим изыском — впервые я увидел, например, на экране цвет, как неотъемлемую часть общей композиции, но в целом и здесь, как в «Затмении», я все время чувствовал себя зрителем, ни разу не оку-

нувшись в жизнь и события, разворачивавшиеся на экране.

Итак, неореализм изжил себя. Так, во всяком случае, считают на Западе. На смену ему пришло нечто новое. Появились даже новые термины — неотрадиционализм (Пазолини), неоэкспериментализм (Антониони). Я еще не успел в этом разобраться. Могу сказать только одно: «Аккатоне» — умный, серьезный, трагичный (что поделаешь — Пазолини!) и очень талантливый фильм. В нем много грязи — в буквальном и переносном смысле,— но сам фильм чист. Человек оступается, падает, подымается, ищет выхода в работе, в любви, не находит его и погибает, убегая от полицейских. Умирая на пыльной мостовой, аккатоне говорит: «Вот теперь мне хорошо...» Фильм тяжелый, безысходный, местами страшный, но сколько в нем правды!

В тот же день, когда я смотрел «Аккатоне» (вторично уже в Москве), я видел другой фильм — «Жестокая жизнь» («Avia violente»), сделанный по роману Пазолини, но снятый не им. В нем играют тот же Франко Читти и еще несколько актеров из «Аккатоне», играют превосходно, но в целом фильм оставляет чувство неудовлетворенности. Сравнение этих двух фильмов еще раз убедило меня, что экранизация — это все же паллиатив и, больше того, что соединение в одном лице сценариста и режиссера дает блестящие результаты.

Несколько слов о дальнейшем кинопути Пазолини. На Венецианском фестивале 1962 года он показал свою вторую картину — «Мама Рома» с Анной Маньяни в главной роли. Люди, видавшие ее, говорят, что это превосходный, очень сильный фильм. Премии он не получил

(«Аккатоне», обошедший все экраны Европы, получил премию в Карловых Варах). Определенные круги в Италии — церковь, полиция, крупная буржуазия — чинят Пазолини всяческие препятствия. Его не любят. Он «не то» снимает. На него подают в суд, как только могут, мешают его работе. Дошло до того, что чуть ли не были сорваны съемки «Мамы Ромы», которая наполовину была уже снята. В главной роли снимался знакомый нам уже Франко Читти. Как-то в нетрезвом виде он вступил в пререкание с полицией, закончившееся небольшой потасовкой и годом тюрьмы для Франко Читти. Не будь он артистом Пазолини, мера пресечения не превышала бы десяти дней. Пазолини пришлось взять другого артиста и начать съемки сначала. А Читти попал в тюрьму. Я видал его фотографию в наручниках.

Незадолго до того, как я посмотрел «Аккатоне», буквально за день до нашего отъезда в Италию, я видел картину молодого советского режиссера Андрея Тарковского «Иваново детство». Странное дело (мне об этом уже приходилось писать), картина Тарковского сделана в ключе, который никак не близок мне. Более того, во многом мне она как зрителю и как человеку, работавшему в кино, противопоказана. Если в «Аккатоне» я не замечал экрана, здесь я его все время вижу, ощущаю. В «Ивановом детстве» много придуманного, сделанного, много режиссерских и операторских «штучек» — изысканных ракурсов, красивого освещения, неожиданных поворотов, наездов, каких-то особенных крупных планов. Картина сделана не просто — в ней есть и настоящее, и прошлое, и воспоминания, и сны (в «Аккатоне»,

кстати, тоже), и целые куски несуществовавшей действительности (что могло бы быть, если бы не было так, как было) — одним словом, имей я желание разругать картину, я сказал бы: «Накручено дай бог чего».

И вот, несмотря на все это, картина Тарковского и оператора Юсова, на мой взгляд, картина значительная. В чем же ее значительность и почему с такой радостью я об этом говорю, хотя по приему своему «Иваново детство» скорее ближе к Довженко, чем к милому моему сердцу неореализму? Все дело в том, что в основу фильма положена правда человеческих отношений. А это главное. И правда эта рассказана нам умным, талантливым художником. Пусть художником, избегающим простоты, художником, все время как бы говорящим нам: «Смотрите, как я это сделал», но художником, верящим в тех людей, которых он нам показывает. Поэтому и я им верю.

Почему я так много говорю о кино? Не только потому, что люблю его и даже немного занимался им. Но и потому, что это действительно самый массовый, самый интернациональный, самый доходчивый вид искусства, некое эсперанто, как назвал его Пазолини. Кстати, конгресс, на который мы ездили, был посвящен именно наиболее массовым видам воздействия на людей — кинематографии и телевидению. Но на конгрессе мне не пришлось выступить, вот я и пытаюсь как-то компенсировать это.

В Риме, в небольшой аудитории общества «Италия — СССР», я демонстрировал фильм режиссера Р. Нахмановича, производства Украинской студии кинохроники, под названием «Неизвестному солдату...». Это фильм, по-

строенный на старых кинодокументах периода Отечественной войны и кадрах, снятых уже теперь, в наши дни. Он посвящен судьбам людей, которые воевали на фронте, работали в подполье, томились в фашистских концлагерях, тем, кто победил, и тем, кто, как сказано в заключительных кадрах, «отдал свою жизнь за то, чтоб продолжалась наша». Фильм документальный от начала до конца, в нем ничего не придумано.

И вот, сидя в зале, я с трепетом следил за тем, как реагирует на него итальянский зритель. А демонстрировать и воспринимать фильм было нелегко — мне приходилось переводить его переводчику тут же, в зале, с украинского языка на русский, а ему уже с русского на итальянский. И все же фильм дошел. Многие, я видел, плакали.

Плачут, я знаю, и на душещипательных мелодрамах, но слезы, вызванные документальным кино,— другие слезы. Когда видишь заснятый немецкими операторами горящий Киев, взмывающий в воздух Крещатик или вереницу узников Штутгофа за решеткой, а потом тех же узников (пусть не тех, других), пишущих протест по поводу освобождения начальника концлагеря Хоппе из тюрьмы, когда слышишь голос взрослого Виктора Бажанова (а до этого мы видели его десятилетним мальчишкой, убежавшим на фронт и подносящим патроны своему старшему товарищу Чернобаю), когда слышишь, как он, сейчас инструктор физкультуры, обращается к нам с призывом помочь ему разыскать этого самого Чернобая, когда все это видишь и вспоминаешь прошлое — трудно усидеть спокойно. Даже мне, автору сценария этого фильма.

Есть такое искусство — «кинопублицистика». Это не легкое дело. Да, куда легче снимать срепетированные сцены со свеженагражденными лауреатами, которые, старательно причесавшись и повязав галстук, садятся за большие письменные столы, желательно на фоне книжных полок, произносят заранее выученные слова. А что, если выйти на улицу с портативной кинокамерой и магнитофоном и повторить в Москве, в Киеве, в Братске, в любом советском городе то, что сделал в Париже Жан Руш? Почему не попробовать?

Как далеко я отошел от того, с чего начал. А начал со споров. Вот так у нас они и шли. Начинали со сравнения образа жизни у нас и в Италии, а кончали системой Станиславского — жива она или мертва. Начинали на улице, а кончали в какой-нибудь маленькой траттории в районе Трастевере.

Траттория... Рискуя навлечь на себя все громы и молнии, не могу не воспеть тебя, милая итальянская траттория, без которой Италия немыслима, как без апельсинов, памятников Гарибальди и белых треугольных пепельниц на твоих столах, обязательных пепельниц с надписью «cinzano» или «martini». Боюсь, если бы по каким-либо причинам все траттории, остерии и бары в Италии были б закрыты, итальянец взбунтовался бы. Произойди это страшное событие, куда б ему, бедняжке, забежать, узнать последние новости, выпить стаканчик вина, сыграть в домино, встретиться с каким-нибудь Карло или Альберто, который ему до зарезу нужен, или с хорошенькой Лючией. Или просто так посидеть в углу и подумать о том, о чем не удается подумать дома?

Траттория не ресторан, она подобие клуба, место встречи, место, где тебя всегда приветливо примут, быстро обслужат — виноват, это не то слово: когда ты заходишь в тратторию, ощущение такое, что ты попал к своему лучшему другу и самое большое удовольствие для него — это хорошо угостить тебя. Ах, если б так было в нашей киевской «Абхазии»! Зайдешь — и вдруг не пахнет кухней, каким-то прогорклым маслом, и не смотрят на тебя волком, и не говорят: «Подождите, не умрете, я одна, а вас много», и скатерти все чистые, и официантки не ругаются между собой из-за вилок, и нет плюшевых занавесок с бомбошками и злого, надутого швейцара... Ах, как было бы хорошо. А что, если б в порядке, так сказать, культурного обмена, углубления контактов предложить нашей киевской «Абхазии» завязать дружбу, соревнование, ну, допустим, с флорентийской «Бука-Лапи»? Обе они небольшие, обе в подвалах, только «Бука-Лапи» чуть постарше, ей пошел уже девятый десяток. Мы там как-то были целой компанией. Попадаешь туда через кухню, что-то жарится, шкварится, но ни дыма, ни чада. Входишь в зал со сводами, и весь он сверху донизу заклеен плакатами каких-то туристских и мореходных компаний. Больше ничего, одни плакаты. Итальянские, французские, немецкие, испанские, американские, аргентинские, мексиканские... Только русских нет. «Может, вы нам пришлете, когда вернетесь домой? Мы повесим его тут, над этим столиком, где вы сейчас сидите...» Вместо плакатов наши поэты написали несколько шутливых строк на открытках, и хозяин тут же пристроил их на стене. «Вот и от русских память будет». Взамен мы получили каждый по пепельнице, на память об уютных минутах, проведенных в этом симпатичном,

приветливом подвальчике... Ох, боюсь, ничего не получится из этой дружбы-соревнования, а мне, попадись эти заметки директору «Абхазии», никогда уже там не бывать [1].

Я как-то в шутку спросил Серджо:

— Скажи мне, когда на всем земном шаре восторжествует коммунизм, что вы сделаете с тратториями? Национализируете, обобществите?

— Ну нет,— сказал он,— с этим мы торопиться не будем...

Я чувствую, что эта небольшая «ода траттории» вызовет кое у кого совершенно противоположную реакцию. «Ну вот,— скажут,— тратторий ему, видите ли, у нас не хватает. Великое дело. И, между прочим, Италия знаменита не только ими. И не только музеями. Это страна борющегося рабочего класса, страна массовых забастовок, непрекращающейся безработицы, нелегкой жизни крестьян. Почему об этом пока ни слова?»

Эти будущие, ожидаемые мною претензии напоминают мне высказывания одного не очень умного нашего журналиста, с которым я ездил по Америке. На третий или четвертый день он начал жаловаться:

— Когда же нам наконец покажут трущобы? А то и писать-то не о чем — все гладко, чисто, удобно...

Что-то не очень хочется уподобляться ему. Видели мы и трущобы, и страшные чикагские улицы без света, с гремящими над головами по эстакадам поездами, виде-

---

[1] О, время, время... Никому уже не побывать в «Абхазии». Ее закрыли, вскоре после того как эти строки были написаны. «Бука-Лапи» придется искать другого соперника.

ли и классических безработных на Бауэри в Нью-Йорке, видели и нечто похуже — мы не были на Юге, но смотрели по телевизору, как негритянские школьники идут в школу под охраной полиции, чтоб их не растерзала озверевшая толпа. Все это мы видели, и все это есть. Но если ты едешь в чужую страну выискивать только это, стоит ли ездить? Мне почему-то всегда стыдно, когда радуются чужой беде. Когда я вижу трущобы, мне жаль людей, которые в них живут, и я ничуть не рад, что эти страшные дома и бараки еще существуют, хотя это и чуждый мне капиталистический мир. Тот же журналист, о котором я уже писал, сказал мне как-то:

— Что за черт, ты видел, в нашей гостинице живут негры? Даже в ресторане сегодня парочка сидела.

Мне казалось, ему даже обидно, что этих двух негров не выдворили с треском из ресторана — вот бы матерьяльчик для статейки! А на Юге действительно выдворяют, и это нисколько меня не радует.

Но ладно, Америка будет еще впереди, вернемся к Италии, к ее жизни, к тому, о чем в траттории говорят не меньше, чем о футбольных матчах и последнем процессе сицилийских монахов.

Борьба рабочего класса, забастовки... Я, правда, не видел, как народ выходит на улицы (видел только весьма жиденькую профашистскую демонстрацию — десятка три молодых людей в машинах и на мотоциклах с развевающимися знаменами и лозунгами «Фанфани+Ненни=Тольятти»), но года полтора тому назад в Москве один из руководителей Итальянской компартии, Марио Аликата, рассказывал о событиях в Генуе в 1960 году. Профашистские элементы постарались организовать в

этом большом портовом городе нечто вроде своего съезда. Народ не допустил этого, вышел на улицы, в основном молодежь. Произошли схватки, поднялась стрельба, вмешалась полиция. У нас в газетах об этом не очень подробно писали. Италия же только о том и говорила. Любопытно, что активность в схватках с неофашистами проявила и молодежь «стиляжного», «битниковского» толка, даже подобная героям Пазолини. «Эти ребята,— рассказывал Аликата,— дрались великолепно. Но пока что поддерживают они нас только в моменты обострения классовой борьбы. Вопрос сложный, очень даже сложный. Переманить их окончательно на нашу сторону не так-то и просто. Они сами по себе. Они не хотят, чтобы ими руководили, но фашизм ненавидят и готовы с ним бороться насмерть. И нам, коммунистам, серьезно надо подумать, как использовать, как направить в настоящее русло эту бьющую через край энергию».

К сожалению, за все время, что мы были в Италии, нам удалось посетить только ткацкую фабрику в городе Прато, недалеко от Флоренции. По сравнению с предприятиями Оливетти, которые я видел в прошлый свой приезд, эта фабрика с точки зрения организации технического процесса не очень интересна. Мы выслушали не слишком утомительные объяснения одного из директоров фабрики, задали положенное количество вопросов, выпили по рюмке вермута, обошли цехи, перекинулись несколькими словами с рабочими, даже снялись с ними, а потом отправились, как всегда, в мэрию выпить очередную рюмку и посмотреть великолепные картины Филиппино Липпи, барельефы Донателло и майолики Андреа делла Роббиа.

Но не на всех заводах и фабриках так мирно. В тот самый день, когда мы были на ткацкой фабрике в Прато, в Риме шли переговоры между представителями ВИКТ (Всеобщей Итальянской Конфедерации Труда) и вновь сформированным правительством о прекращении забастовки на туринском заводе «Мишлен», одном из крупнейших в Италии предприятий по выпуску автомобильных покрышек. Завод бастовал с января. Предприниматели попытались объявить локаут. Но ничего не помогло, даже штрейкбрехеры. К концу второго месяца предприниматели сдались. Рабочие, не получившие за эти два месяца ни одной лиры, победили. Без преувеличения можно сказать: им помогал весь город. Был организован комитет солидарности. Деньги собирали на стадионах, рынках, просто на улице. Даже крупнейший в городе театр передал сбор от нескольких спектаклей в фонд помощи бастующим.

Все это говорит об очень многом. И случаи эти вовсе не единичны: забастовки рабочих, служащих, железнодорожников, почтовых служащих, на юге батраков — явление повсеместное. И, как правило, победа остается не за предпринимателями. Италия — страна очень активной политической борьбы, страна, где с рабочим классом, с коммунистической партией (сейчас уже почти двухмиллионной) нельзя не считаться.

Уровень жизни в Италии последнее время заметно повысился — зарплата рабочего увеличилась, уменьшилось количество безработных, развернулось в больших масштабах жилищное строительство, продукция итальянской промышленности все больше и больше выходит на мировой рынок.

Явление это характерно не только для Италии. Подоб-

ный подъем испытывает сейчас и ФРГ и особенно Япония, то есть страны, потерпевшие поражение в последней войне. В силу чего это происходит?

Причин много. Вот основные. Во-первых, последствие войны — почти полностью обновилось промышленное оборудование страны. Весьма сложный в мирных условиях процесс замены старого оборудования новым произошел, так сказать, не от хорошей жизни — большая часть фабрик и заводов в стране была разрушена. Второе — побежденные страны, лишившись колоний и прежних рынков, вынуждены развивать прежде всего такие экспортные отрасли, которые могли бы обеспечить успех на мировом рынке. И, наконец, третье — в течение ряда лет эти страны были фактически избавлены от бремени собственных военных расходов, так как вооружение поставляло им США. В Японии, например, доля национального дохода, шедшая на военные цели, в пятидесятые годы составляла 1, 6—2,2 процента, в то время как США в эти же годы тратили от 11 до 13,6 процента («Коммунист», 1964, № 5, статья Л. Куташова).

Следует добавить еще, что капитализм на данном своем этапе вынужден выискивать различные новые формы взаимоотношений предпринимателя с рабочим («неокапитализм», «народный капитализм», «социальное партнерство», оливеттиевский «патернализм»), но это уже требует специального исследования, которому не место в этих отнюдь не претендующих на научность очерках.

Как пойдет дело дальше? На этот вопрос я также не берусь ответить. Думаю, если речь идет об Италии, многое зависит не от того, что происходит в самой стране, а главным образом от того, что происходит за ее преде-

лами. Мир лихорадит. И от того, что делается сейчас у Бранденбургских ворот, на мысе Канаверал или в залах нью-йоркской биржи, во многом зависит, как сложится жизнь туринского рабочего, римского школьника и батрака из Лукании.

А сейчас мне хочется рассказать об одном молодом итальянце из города Карпи, возле Модены, с которым я встретился в Москве осенью 1961 года. И вот при каких обстоятельствах.

В Карпи есть фабрика, изготовляющая знаменитые на всю Италию шерстяные рубашки. Директор этой фабрики Бенито Гуальди — человек экспансивный, богатый и по характеру своему, я бы сказал, даже демократичный. Кроме фабрик в Карпи, как и во всех итальянских городах, есть бензиновые колонки. Одну из них обслуживает молодой и очень живой парень Данило Кремаски. Итальянцы — народ общительный и, как я уже говорил, любят поспорить о том о сем в своих тратториях. И вот как-то в одной из таких тратторий между Бенито и Данило произошел спор. Дело в том, что незадолго до этого Гуальди побывал в Советском Союзе. Туристом. Ему у нас не понравилось, и вместо положенных двух недель он пробыл ровно четыре дня и укатил то ли в Испанию, то ли в Португалию. Что же не понравилось Бенито Гуальди в Советском Союзе? Многое и весьма существенное. Во-первых: в Останкинской гостинице, в которой он жил, все часы стоят; во-вторых: мало такси, и вообще, кроме них, других машин в Москве нет; в-третьих: кассирши в магазинах считают на счетах, а не на арифмометрах; в-четвертых: московские домохозяйки в коммунальных

кухнях вешают на свои кастрюли замки, ну и так далее, в том же роде...

Обо всем этом Гуальди с увлечением рассказывал в траттории, и его слушали, раскрыв рты. Данило возмутился:

— Все это ложь!

— Нет, не ложь!

— А я говорю: ложь!

— А я говорю: нет!..

— А чем ты докажешь?

— Как чем? Я ж там был...

— Но я-то не был. Как тебя проверить?

— Меня?

— Тебя. Может, ты все сочиняешь?

— Сочиняю?.. Ладно! Хочешь сам проверить?

— То есть как это?

— А вот так. Поезжай в Советский Союз, а я оплачу расходы.

— Не оплатишь...

— Оплачу!

— Всю дорогу?

— И дорогу и гостиницу. Все!

— Что ж! Тогда поеду.

И Данило поехал.

Похоже на выдумку? Похоже. Но вот поехал-таки, я сам его видел. Не помню, на сколько и на что они поспорили, но Данило должен был подтвердить или опровергнуть то, что видел Гуальди, а по приезде все честно рассказать. Провожаемый репортерами и друзьями, Данило Кремаски, страж бензоколонки из города Карпи, сел в прямой вагон Рим — Москва и укатил в неведомые края.

Пробыл он в Москве дней десять, заполненные до краев бесчисленными «мероприятиями». Театры, музеи, клубы, встречи, опять же корреспонденты. Парень он молодой, полный энергии, в Москву попал впервые, вот и крутился с утра до вечера как белка в колесе. И все записывал, записывал, записывал, целую кучу блокнотов извел. Ездил в Останкино, проверял часы (они, кажется, стояли-таки), считал на улице такси, изучал московских кассирш — одним словом, дел было по горло. И всем он был доволен — хохотал: «Приеду домой, будет что рассказать...»

В последний день у него, в номере гостиницы «Берлин», мы — я с товарищами и он со своим другом Коррадо Саки, студентом Московского университета,— на прощанье малость выпили, потом мы усадили их обоих в такси, помахали ручкой, и они уехали на вокзал.

Чем кончилась вся эта история, я не знаю. Думаю, что молчание буржуазных газет говорит о победе Данило над Гуальди. Повидать Данило мне не удалось — ни в Модене, ни в Карпи я не был, а Данило, вероятно, просто не знал о нашем приезде. Недавно, правда, пришла из Карпи цветная открытка — две строчки добрых пожеланий и две подписи: Данило Кремаски и Коррадо Саки; он тоже родом из тех мест и, вероятно, поехал на каникулы.

Забавная история — не правда ли? Чисто итальянская.

Между прочим — это уже попутно,— в один из тех осенних дней поехали мы с Данило, Коррадо и еще одним моим приятелем в Загорск, в Троице-Сергиевскую лавру. Нам показалось, что их это должно заинтересо-

вать: все-таки интересно посмотреть, как у нас обстоят всякого рода религиозные дела, особенно им, людям из страны, где церковь так сильна. Ну и архитектура к тому же в Загорске замечательная.

Поехали. И вот оказалось, что я с моим приятелем куда более были потрясены всем увиденным, чем наши друзья-итальянцы. Очевидно, они уже привыкли у себя на родине ко всякого рода религиозным изуверствам и радениям и их ничем не удивишь. Мы же с приятелем просто не верили своим глазам.

С трудом, под перекрестным обстрелом испепеляющих взглядов протиснулись мы внутрь церкви. Низко, тесно, полумрак, своды. Потрескивают свечи. Со стен глядят на нас суровые лики святых. У раки с мощами — красивый, гладкий священник. Медленно, молча движется очередь к останкам Сергия Радонежского. Есть и мужчины, даже молодые. Все крестятся, прикладываются к мощам, нас ненавидят, презирают: «Нехристи, басурмане...»

Мы вышли во двор. В прозрачном осеннем небе над изумительной красоты куполами кружится воронье, а внизу, у белых стен собора, кликуши топчутся вокруг совсем еще молоденького, тощего, бескровного, закатывающего глаза юродивого. Зачем-то ему льют на голову воду, а он, мокрый, жалкий, поглаживает по волосам прижавшуюся к нему молодую женщину — она не сводит с него восторженного взгляда — и что-то говорит, прорицает:

— Войны не будет, нет, не будет, живите спокойненько, любите друг друга, главное — любите, а ты не смотри на меня, не отвечу, все равно не отвечу, глаз у тебя плохой, уйди, уйди, уйди, уйди. А церкви конец, послед-

ние дни доживает, молитесь, богу молитесь, ибо надвигаются черные дни, война надвигается, побоище будет, и жизнь на земле кончится, только цветы останутся, и листья, и трава, и море, и небо, и не спрашивайте меня, все равно молчать буду, год, два, три с воскресенья сегодняшнего...

А старухи вокруг:

— Мне, мне, мне, родненький, скажи...

А «родненький» обнимает прижавшуюся к нему девицу, и они начинают вдруг тереться носами, торопливо, исступленно... Становится страшно.

Ходит по двору женщина, молодая, изможденная, тоже в черном, заламывает руки и тоже что-то говорит, говорит, говорит о конце церкви, о каком-то обмане, о неверии во что-то...

Надолго запомнится мне этот день, эти черные старухи с котомками, трясущийся юродивый, цветущие, красивые, гладкие попы. И низкий, бархатный голос дьякона. И воронье, тучи воронья в чистом небе. И лютые взгляды...

Я вспомнил этот день полгода спу́стя, в Италии, стоя на площади перед собором святого Петра и ожидая появления папы. Каждое воскресенье ровно в двенадцать часов он появляется в окне своей резиденции и благословляет верующих. Громадная, охваченная колоннадой площадь заполнена до краев. Когда пробило двенадцать и в окне, из которого свешивалось длинное красное покрывало, появилась маленькая белая фигурка Иоанна XXIII, многие бросились на колени. Папа произнес недлинную проповедь, разносимую по площади десятками репродукторов, и, воздев руки к не-

бу, скрылся. Его проводили салютом автомобильных гудков.

И хотя вокруг меня множество коленопреклоненных — среди них молодые монахи и монахини всех цветов кожи и сутан — возносили молитву господу богу, во всем этом был уже какой-то «модерн». Проводив папу, все, в том числе и монахи, заговорили о чем-то своем, житейском и, весело лавируя среди машин, шумным потоком ринулись на прямую широкую виа Кончилационе. Невольно казалось, что молебен этот является одним из номеров в туристской программе компании «Гранди-Виаджи».

Впрочем, «модерн» современной католической церкви в какой-то степени и является ее новым оружием. Формы воздействия на прихожан меняются. Даже папа и тот другим стал. Говорят, например (сужу по итальянским газетам), что ныне покойный Иоанн XXIII был очень демократичен, мог сесть за стол и даже выпить вместе со своим шофером. Папа был сторонником мирного сосуществования. После запуска «Востока-3» он устроил в своей летней резиденции Кастель-Гандольфо специальный молебен в честь Николаева. А его энциклика, обращение к верующим незадолго до смерти свидетельство большого беспокойства и тревоги о делах земных, не только небесных.

Настало наконец время несколько подробнее рассказать о конгрессе Европейского сообщества писателей, на который мы, собственно-то, и приехали.

Это был весьма многолюдный и представительный конгресс. Его освещали почти все газеты мира. Съехалось

около четырехсот писателей всех европейских стран, кроме Албании (она не является членом сообщества) и ГДР, представителям которой помешало приехать американское командование в Берлине. В залах заседания и кулуарах можно было встретить и Халдора Лакснесса из маленькой далекой Исландии, и Джузеппе Унгаретти, избранного президентом сообщества вместо скончавшегося Джанбаттиста Анжолетти, и молодого, но уже очень известного Хуана Гойтисоло, и бодрую, несмотря на свои восемьдесят лет, всем интересующуюся Марию Майерову, и Маргэрит Дюрас — автора «Хиросима, любовь моя» и великолепного демонстрировавшегося у нас «Столь долгого отсутствия», и ныне покойного Назыма Хикмета, представлявшего на конгрессе литературу Турции, и Ярослава Ивашкевича, и Андре Шамсона, и Чезаре Дзаваттини, и многих, многих других. Овацией были встречены представители Алжира и Кубы. Ожидали приезда самого Фанфани, но смена кабинета помешала ему это сделать, и вместо него конгресс приветствовал министр Кодаччи-Пизанелли, преподнесший от имени итальянского правительства всем присутствующим «маленький подарок» в виде знаменитой виллы Петрайя, которая отныне является резиденцией сообщества.

Конгресс был посвящен роли и значению литературы в кинематографе, радио и телевидении — это была, так сказать, его «повестка дня»,— на самом же деле объединяющим началом конгресса была его ярко выраженная антифашистская направленность, его поддержка идей борьбы за мир, за развитие контактов между Западом и Востоком. В наш нелегкий век труднее всего встретиться и поговорить друг с другом. И поговорить по возможности чистосердечно, откровенно. И не только с трибу-

ны... Прав был корреспондент газеты «Джорнале де Матина», когда он писал (впрочем, другие газеты тоже): «Я не смог бы сказать вам, где происходил подлинный конгресс — в Зале Пятисот или в прилегающих к нему залах и холлах гостиниц, на улицах Флоренции, когда стихали яростные порывы ветра. Важно, что писатели разных стран встречаются, беседуют, знакомятся друг с другом. В конце концов, работы конгресса в какой-то степени служат предлогом для этого». Да, это действительно было так.

Но вернемся к «повестке дня». На конгрессе говорили о литературе, кинематографе, телевидении, о связи между ними. Мнений было много, часто диаметрально противоположных. Писательница Маргэрит Дюрас заявила, например, что «кино не имеет ничего общего с литературой» и что «понятие времени в романе никак не совпадает с понятием времени в кино». Она говорила о том, что ни разу не присутствовала на съемках фильма по своему сценарию и не позволила режиссеру проявлять интерес к работе над сценарием. Несмотря на успех фильма «Хиросима, любовь моя», Маргэрит Дюрас заявила, что никогда более не будет работать для кино. В том же духе высказался и французский писатель Бернар Пенго.

Но наиболее интересным, как писали все итальянские газеты, было выступление на конгрессе Григория Чухрая. Вообще он был «звездой» первой величины, и толпы корреспондентов ни на минуту не оставляли его в покое. Шестнадцатого марта газета «Унита» писала: «Чухрай является наиболее заметной фигурой конгресса. Его выступление против спекуляции эротикой в кино вызвало целую бурю. Советский режиссер испытал несколько

горькую участь. Он увидел, как его восхваляет консервативная, клерикальная печать и как некоторые либеральные умы заклеймили его кличкой моралиста. Вчера с трибуны конгресса его атаковал писатель Репачи, а сегодня его защищал Пазолини».

Дело в том, что в Италии сейчас церковь и прогрессивная интеллигенция, в том числе и коммунисты, ведут между собой ожесточенную борьбу по поводу того, что дозволено и что не дозволено в кино. Чухрай говорил о нравственных задачах искусства. Клерикалы пытались обратить его выступление в свою пользу. На следующий день в газете «Паэзе» появилась беседа Чухрая с корреспондентом газеты. «Выслушайте меня внимательно,— сказал он.— Если б вы слушали меня внимательно, вы бы поняли, что я не защищаю конформистов и не выступал в пользу морали лицемеров. Я признаю за художником право касаться любой темы и изображать действительность в условиях полной свободы. Я выступал лишь против спекуляции на сексуальной стороне любви».

Долго еще не смолкали споры вокруг выступления Чухрая, долго не сходили его портреты с газетных полос, а «Баллада о солдате», фильм с «наивной и сентиментальной основой», как сказал Пазолини, по-прежнему собирал полные залы и о многом заставлял думать итальянского зрителя.

Четыре дня продолжался конгресс. Четыре дня шумно и оживленно было в Зале Пятисот, в его коридорах, на старинных лестницах, охраняемых стражей с алебардами. Попади вы туда в те дни, вы невольно обратили бы внимание на маленького, очень оживленного человека лет сорока, появлявшегося то тут, то там, с кем-то раз-

говаривающего, о чем-то спорящего, куда-то торопящегося, опять останавливающегося, опять с кем-то говорящего. Это Ла-Пира — мэр Флоренции, одна из интереснейших и своеобразнейших фигур современной Италии.

Ла-Пира — убежденный католик, более того — он идейный вдохновитель левого католического крыла. Он близок к папе. Он дружен с Фанфани. Он инициатор встречи мэров европейских столиц, которых собрал в 1955 году во Флоренции с единственной целью объединить их в борьбе за мир. Он активный сторонник алжирского народа в его борьбе за независимость, и не только алжирского — все народы Африки считают его своим другом. Он не монах, но живет как монах в одном из монастырей францисканского ордена. Не будь его, не было бы, очевидно, и конгресса — как мэр города он не пожалел средств на его организацию. В какой-то степени он был сердцем конгресса. И одним из активнейших его участников.

На заключительном заседании он сказал:

— Когда вы вернетесь в ваши страны и вас спросят, какие известия привезли вы из Флоренции, ответьте: превосходные! Вы сможете выразить надежду на то, что не будет войны. Произойдет атомное разоружение, исполнится пророчество Исайи, пушки перекуют на плуги, а ракеты на космические корабли, взлетные площадки для ракет станут стартовыми площадками космических кораблей. Близится наступление мира; наиболее близким к нам признаком мира является перемирие между алжирцами и французами... Цивилизация будущего станет цивилизацией диалога; Флоренция, гражданами которой вы символически стали, поручает вам передать

братский привет столицам ваших наций, с которыми наш город четвертого октября тысяча девятьсот пятьдесят пятого года заключил пакт дружбы и мира. Передайте мэрам ваших столиц, которых прошу посетить, что Флоренция осталась верна этому пакту мира, заключенному семь лет тому назад, и что Флоренция вновь ждет к себе мэров столиц, которых она примет во имя этого пакта надежды.

Если сердцем конгресса был Ла-Пира, то душой его безусловно был Вигорелли, генеральный секретарь сообщества, он же редактор журнала «Эуропа литерариа». Кипучий, вездесущий — это он с тремя своими помощниками сумел собрать под своды Палаццо Веккио четыреста европейских писателей и блестяще организовать, как у нас говорят, их быт. Помню, когда несколько лет тому назад Вигорелли приезжал в Советский Союз и заглянул на денек в Ирпень, о Европейском сообществе шли тогда только более или менее абстрактные разговоры на веранде за чашкой кофе. Сейчас же оно уже есть и, как видим, вполне себя оправдало. Более тысячи писателей из разных стран являются его членами. И во всем этом великая заслуга деятельного, всегда бодрого, энергичного, хотя под конец конгресса немного и уставшего Джанкарло Вигорелли — редактора, критика, общественного деятеля, а к тому же еще и интересного, веселого собеседника.

На конгрессе встретился я и с единственным знакомым мне графом, писателем Гвидо Пьовене, с которым два года тому назад бродил по заснеженным аллеям Подмосковья, в Малеевке. Тогда, в меховой шубе и шапке, он держал путь в Сибирь, о которой написал потом серию очерков. Сейчас же с трибуны конгресса он сказал:

— Впервые мир предстает перед нами как абсолютное благо, от которого зависит все; в силу этого впервые в истории миролюбие и защита мира становятся неотделимыми от художественного творчества.

К сожалению, на конгрессе не было Ренато Гуттузо — одного из крупнейших художников Италии, милого, обаятельного и удивительно простого в обращении человека. Когда он приезжал на Украину в гости к Бажану, я был счастлив познакомить его с киевскими художниками — Зиновием Толкачевым и молодыми ребятами Адой Рыбачук и Владимиром Мельниченко, работы которых он очень высоко оценил. В те дни в Москве была выставка работ Гуттузо, попасть на нее мне что-то помешало, и сейчас, оказавшись в Италии, я предвкушал удовольствие ознакомиться с его картинами у него в мастерской. Это не удалось — в дни конгресса Гуттузо был в Лондоне, где была его выставка.

Зато мне посчастливилось познакомиться на конгрессе с Хуаном Гойтисоло, прибывшим с группой испанских и португальских писателей. Не все из них имеют возможность жить у себя на родине (Гойтисоло вынужден, например, жить сейчас в Париже), но голос их, громкий и сильный, не смогли подавить ни Франко, ни Салазар. Мне очень жаль, что встреча наша ограничилась сидением за общим столом во время одного из очередных приемов,— хорошо уж и то, что она состоялась, и я очень хотел бы, чтоб она повторилась. Для моего поколения, хорошо помнящего героические дни обороны Мадрида — Университетский городок, дом Веласкеса, Мансанарес, Карабанчель Альто и Бахо,— все связанное с Испанией до сих пор дорого и близко. Поэтому и хотелось бы, чтоб встреча эта не оборвалась на дружес-

ком брудершафте, который мы выпили с Хуаном Гойтисоло.

Встретился я во Флоренции и с давнишним своим другом Витторио Страда. Знакомство наше завязалось еще в 1955 году с переписки (он переводил тогда «В родном городе»), окрепло и превратилось в дружбу в Москве, где он учился в аспирантуре, а сейчас я рад был его обнять в его родной Италии. Он большой знаток, может быть даже один из лучших знатоков, русской и советской литературы в Италии. Работает сейчас в Турине у издателя Эйнауди, и его знаниям и стараниям итальянский читатель обязан тем, что может ознакомиться в хороших переводах с нашей прозой и поэзией. Во Флоренции мы довольно часто встречались, и как радостно было видеть Витторио веселым и бодрым, хотя в то же время с некиим патриотическим эгоизмом я не мог не радоваться тому, что он слегка скучает по России. Все же он прожил там четыре года, и хотя привез оттуда жену, но многого, как я понял, из того, что осталось у нас, ему не хватает.

Всех и не перечислишь, кого рад был встретить, с кем бродил по римским и флорентийским улицам. Увидел я опять и всех своих друзей из общества «Италия — СССР»: Лизу Фоа, и Умберто Черрони, и по-прежнему обсыпанного пеплом сигары Пьетро Цветеремича (вместе с ним мы мучились, переводя с украинского на русский, а затем на итальянский «Неизвестного солдата...»), и Анджелло Риппелино, водившего нас к молодому и очень талантливому художнику Акилле Перилли, для картин которого на ближайшей венецианской Бьеннале выделен был отдельный зал. Между прочим, взглянув сейчас на проспект его последней выставки, я невольно подумал

об Аде Рыбачук и Владимире Мельниченко. Они, правда, несколько моложе Перилли, но он на своем веку имел уже пять персональных выставок, а кроме того, выставлял свои работы вместе с другими на двадцати семи выставках у себя на родине и за границей — в Праге, Париже, Вене, Монако, Копенгагене, Стокгольме, Осло, Берлине, Мельбурне, дважды в Нью-Йорке, Мексике, Сан-Франциско, Дюссельдорфе, Риме и Брюсселе. Наши же киевляне — повторяю, очень талантливые — до сих пор никак не дождутся своей выставки. В 1962 году им предложено было организовать персональную выставку в Праге, Союз художников в Киеве наложил свое «зето»: вам, мол, рано еще, ребята, поработайте... А для художника, да еще молодого, выставляться так нужно, так важно.

Был я и у Карло Леви в его мастерской, смотрел картины, которые он отобрал для своей выставки в Москве. С Ириной Колетти (она же Малышева, русская по происхождению) мы бродили как-то зимой по Московскому Кремлю и занесенным снегом арбатским переулочкам, и я показывал ей старинный особняк на углу Гагаринского и Хрущовского переулков (названия старые!), где собирались когда-то масоны и бывал даже Пушкин, а сейчас она водила меня по римским улицам и показывала древнюю церковь францисканцев, стены и потолки которой выложены из человеческих костей и черепов...

С веселым, подвижным, знающим Рим, как никто другой, Джорджо Пасторе мы встречались уже многократно — и в Риме, и в Москве, и в Киеве. Он много лет про-

жил в Советском Союзе, хорошо говорит по-русски, поэтому с ним легче и проще всего. Он катал нас в своей машине по Риму, угощал ужином в «Олд Америка», где на вертеле в центре зала вращается над огнем целая баранья или бог его знает чья туша и повар в белом колпаке руками накладывает гарнир в тарелки, а официанты стремительно проносятся между столиками с болтающимися на боку «смит-и-вессонами», как заправские ковбои. Вместе с ним мы смотрели, как с престарелыми леди и синьорами танцуют за деньги молодые люди знаменитый твист (кстати, когда танцует молодежь, твист очень занимателен и, я бы сказал, даже красив), потом он повез нас на Пассаджиатта Аркеолоджика — то самое место, где подралась со своей коллегой Кабирия, — и на наших глазах подкатили две полицейские машины, и мирно поджидавшие у древних стен терм Каракаллы своих клиентов «девочки» пустились врассыпную. В воскресный день Джорджо приглашал нас поехать в горы, покататься на лыжах, но, как это ни было соблазнительно — в Италии на лыжах! — жаль было покидать Рим, и мы отказались.

Возил нас по Риму и Альберто, кинопродюсер, как он себя называет. С ним мы любовались с Авентинского холма распластавшимся у наших ног сумеречным Римом и, приоткрыв массивные ворота, заглядывали в густо заросший парк Ложи мальтийских рыцарей, потом петляли по тихим аллеям Английского кладбища у пирамиды di Caio cestio и сорвали на память по цветку с могил Шелли и Китса... Он же, Альберто, показывал нам старый, средневековый Рим. В тот день было дождливо и холодно, на углу тесной извилистой улочки разведен был костер, и живописные старухи и мальчишки грелись воз-

ле него, а я снимал их своим киноаппаратом, и они заулыбались, узнав, что мы русские, «совьетико», и стали рассматривать мою камеру...

А в самый последний день я колесил по городу с милым Марчелло, тем самым, с которым колесил и в прошлый свой приезд и который, когда мы проезжали мимо какой-нибудь старинной церкви, всегда говорил: «Смотри, бабушка...» К сожалению, у меня не было его адреса, а он сменил место работы и работает сейчас в редакции газеты «Паэзе». Только за день до отъезда я добрался до этой самой редакции и оставил ему в гараже записку — он должен был ночью дежурить.

На следующий день рано утром он явился на своей машине.

— Чао, Виктор!

— Чао, Марчелло!

Он нисколько не изменился — такой же черноглазый, курчавый, улыбающийся, белозубый, такой же веселый и приветливый, только за эти пять лет появилось у него двое малышей, таких же черноглазых и курчавых, как он. Две крохотные фотографии этих мальчишек прикреплены в маленькой рамке к ветровому стеклу его машины, а внизу рамки надпись: «Папа, не гони!» Я выклянчил у Марчелло эти фотографии, и теперь они стоят у меня на столе. Два чудных кудрявых парнишки, которых я, к сожалению, так и не знаю.

С Марчелло мы занялись делом — приобретением сувениров и подарков для киевлян и москвичей. Это было нетрудно — громадный книжный развал находится буквально за углом напротив вокзала Термини. Там можно купить все, начиная от дешевых комиксов и кончая роскошными изданиями по искусству. Но мы покупали

главным образом репродукции. Их здесь сотни, чтобы не сказать тысячи, и большие — на полотне, с ловко имитированной фактурой, и маленькие — величиной с папиросную коробку, сделанные из какой-то небьющейся и нецарапающейся пластмассы. Они лежали на прилавке горой — Ван-Гоги, Джотто, Рублевы, Боттичелли, Хокусаи, Сезанны, Клеи, Мантеньи, Рафаэли, Клоды Монэ, Матиссы,— стой хоть целый день и выбирай. Занятие увлекательное и мучительное — денег не ахти сколько, а хочется забрать почти все. Кстати, маленькие эти репродукции совсем недороги — пятьсот лир штука. Это столько же, сколько стоит билет в кино или чуть больше пачки сигарет «Честерфильд».

Нагруженные репродукциями и немножко керамикой (рядом с развалом есть специальный магазин, в котором любитель может промотать целое состояние, но у нас уже денег не было), мы вернулись в гостиницу, потом ездили в посольство, к Карло Леви в мастерскую, еще куда-то, потом пообедали и разошлись. Вечером нам не удалось встретиться — заболела жена Марчелло,— и явился он провожать нас уже на следующее утро в аэропорт Фиумичино.

За один день вся наша компания полюбила Марчелло. Прощались с ним, как со старым другом. На прощанье он, совсем по-грузински, подарил мне свою крохотную полосатую кепочку (я как-то мимоходом сказал: «Какая у тебя славная кепочка, Марчелло...»), и, пожимая всем руки, говорил на своем русско-французско-итальянском языке:

— До будущего года. Когда приеду в Советский Союз. Обязательно. Это уже решено... Ариведерчи, Моска! До встречи в Москве...

— И в Киеве.

— И Киеве, Киеве...

Четырехмоторный «вайкаунт» выруливал уже на взлетную дорожку, а Марчелло все стоял и махал рукой. Мы тоже махали. В его лице мы прощались с Италией, со всеми друзьями, оставшимися там.

Внизу показалось мелко гофрированное зеленовато-голубое Тирренское море, потом проплыл суховатый, изрезанный бухтами остров Эльба, а я все думал о том, как славно будет, когда приедет в Киев Марчелло на своем «фиате», и мы будем с ним колесить уже не по римским улицам, а по киевским, и, проезжая мимо Софийского собора, я ему скажу: «Смотри, Марчелло, бабушка...»

Единственное, что меня беспокоит,— это его встреча с киевскими постовыми: как истый римлянин, он презирает светофоры и любит сто двадцать километров в час. Впрочем, у меня уже есть кое-какой опыт — хоть Марчелло и не сын президента, но, думаю, как-нибудь выкрутимся.

## 2. В Америке

С живой Америкой я впервые познакомился в не очень легком и сытом 1923 году в своем родном Киеве. Было мне тогда двенадцать лет, и бегал я босиком (деревяшки и обувь на веревочной подошве были недосягаемой роскошью) в пятую группу 43-й трудовой школы.

Америку — а по транскрипции тех лет САСШ, Северо-Американские Соединенные Штаты — я знал главным образом по Майн Риду и Куперу, по почтовым маркам (не очень интересным — все больше президенты) да еще по сгущенному молоку АРА, которым кормила нас, детей, американская благотворительная организация Гувера (наклейки с этих банок с индейцами и бизонами тоже усиленно нами коллекционировались). Кроме того, по дороге в школу я всегда останавливался у прикрепленной к стенке «Пролетарской правды» и с трудом читал (она печаталась на синей оберточной бумаге) про греко-турецкую войну и Вашингтонскую конференцию. На американские фильмы я еще не ходил. Это началось примерно через год — «Владычица мира», «Королева лесов», «Бо-

гиня джунглей»... Ни одного живого американца в глаза не видел: в АРА молоко и белоснежную, мягкую, как вата, булку выдавали русские.

И вот в один прекрасный день в Киев приехал и остановился у нас (гостиниц в городе не было, а тетка моя работала тогда в библиотеке Академии наук) ни больше ни меньше как директор Нью-Йоркской публичной библиотеки мистер Гарри Миллер Лайденберг — немолодой сухощавый господин, носивший через плечо на ремешке портативную пишущую машинку, на которой ежедневно отстукивал длиннющие письма домой. В конце каждой строчки звонил звоночек, и я первое время поминутно бегал открывать дверь. Когда он приехал, ему сделали ванну. Это было отнюдь не просто: дров не было, и вода тоже не всегда бывала. Мы все очень гордились этой так хорошо организованной ванной, повесили чистое полотенце, а гость наш через три минуты оттуда вышел, даже не окунувшись и не прикоснувшись к полотенцу. Все были огорчены. После обеда он предложил помочь помыть посуду — дома, мол, он всегда это делает,— но в этом ему было отказано. Когда он уехал, на его подушке обнаружили приколотый английской булавкой то ли доллар, то ли червонец — не помню уже что. Все немного обиделись и в то же время были тронуты. Вот все, что я помню о Гарри Миллере Лайденберге, директоре одной из самых больших в мире библиотек, первом американце, с которым я познакомился [1].

---

[1] Вскоре после того, как эти очерки были опубликованы в журнале, я получил письмо из Америки. Написано оно было сыном Лайденберга, Джоном. Отец его умер, но письма, выстуканные в нашей квартире, сохранились. Джон прислал мне фотокопии. Читать их очень интересно, но об этом как-нибудь в другой раз.

Второй американец, которого я знал, работал у нас на постройке вокзала. Я там тоже работал стажером после профшколы. Звали его мистер Боркгрэвинк, а рабочие прозвали Борщгривенник, так как он, как и все, терпеливо стоял в рабочей столовке в очереди за борщом. Он был высок, худ, молчалив, ходил в ботинках на толстой подошве — предмет всеобщей зависти — и ежедневно, как консультант по бетону, писал длинные «меморандумы м-ра Боркгрэвинка», вывешивавшиеся в комнате начальника работ. Этот американец мне не очень понравился — показался скучным.

С тех пор с американцами я не сталкивался, если не считать «генерала Шермана» — полутяжелый танк, в котором проехался один раз на фронте.

Прошло немало лет. И вот осенью 1960 года, точнее 2 ноября в 9. 30 вечера по нью-йоркскому времени, я впервые вступил на американскую землю, вернее бетон, международного аэродрома Айдл-уайлд.

Все-таки как хотите, а это непостижимо — за один день пол земного шара. Утром морозная (—8°), заснеженная Москва, а через двадцать часов мы тащили уже свои пальто на руках в Нью-Йорке. Где-то на полпути был еще Брюссель — кроме обеда, старинные залы ратуши и разглядывание опустевшего Атомиума,— потом Ла-Манш (за пятнадцать минут!), где-то справа Лондон («Смотрите, смотрите!» — но ничего не видно), залитый от горизонта до горизонта огнями Манчестер, черная, как ночь, Ирландия, последние европейские пассажиры в тихом Шенноне, а дальше семь часов над океаном. Раздевшись до трусов в полупустом «интерконтинентале», мы захрапели. Проснулись от чьего-то колумбовского

крика: «Земля!» После Манчестера Нью-Йорк огнями не поразил, впрочем, кажется, был легкий туман.

Ночью я смотрел из окна двенадцатого этажа «Говернор Клинтон-отеля» на Пенсильванский вокзал у своих ног, на сияющую надпись небоскреба редакции «Нью-Йоркер» и все еще не верил своим глазам: неужели я в Нью-Йорке?

Предвижу тысячу вопросов. А правда, что ку-клукс-клан всех терроризует? А правда, что в Нью-Йорке каждые шесть минут совершается преступление? Что летом температура там поднимается до +45° в тени? Что на каждого американца приходится по четверти автомашины? И еще 995 других. Ответить на все я не в силах. Попытаюсь рассказать о том, что видел собственными глазами. И по возможности никаких цифр, хотя в Америке их очень любят. А может, именно поэтому.

Начну с Нью-Йорка... Нет, с нашей группы. Мы не делегация, мы туристы. Нас двадцать человек: преподаватели, журналисты, инженеры — то, что называется советская интеллигенция. Люди мы разные, у каждого свои интересы, но в основном народ славный, в поездке мы сдружились и к концу жаль было даже расставаться. Каждый из нас заплатил довольно кругленькую сумму, и за это его четырнадцать дней будут возить в поездах и громадных автокарах по северо-восточным штатам — Нью-Йорк, Вашингтон, Чикаго, Ниагара, Детройт, Дирборн, Буффало и опять же Нью-Йорк. Руководитель нашей группы, некто, назовем его для простоты Иван Иванович,— человек славный, но перепуганный, очевидно, еще с детства. Кроме того, к нам прикомандирован туристской компанией «Америкэн экспресс» подвижной, апломби-

стый человек в галстуке-бабочке — Тадеуш Осипович, выходец то ли из Польши, то ли из Прибалтики, наш гид, о котором сразу скажу, что мистером Адамсом из «Одноэтажной Америки» он не был ни с какой стороны.

Наивно, конечно, предполагать, что за две недели можно хотя бы приблизительно узнать Америку. Но сопоставить в какой-то степени увиденное с тем, что ты читал о ней, все же можно. И вот тут-то все зависит от самой организации поездки.

Скажем прямо: советского туриста не везде и не всюду пускают. В маршрутах для нас нет Юга — Нью-Орлеана, Луизианы, Миссисипи, тех мест, где расизм особенно глубоко запустил свои корни. В Нью-Йорке строго-настрого запрещено посещать Бруклин. В Ниагара-Фолс, где любой таксист предлагает за какой-нибудь доллар перевезти тебя на канадский берег (оттуда открывается особенно эффектный вид на водопад), Тадеуш Осипович специально предупредил нас, чтоб мы об этом и не смели думать.

Америка — страна особенная. Одна наша писательница, посетив ее, сказала: «Что меня в Америке больше всего поразило, это то, что ничего не поразило». Как-то не верится. Меня, во всяком случае, очень многое поразило, хотя ко многому из того, что я видел,— к небоскребам, к обилию машин, к огням Бродвея, к воскресным выпускам газет весом в килограмм — я был подготовлен. Но именно это — гигантские дома, гигантские города, пересекающие всю страну автострады с тысячами тысяч несущихся по ним машин, двадцатиэтажные магазины, вакханалия ни на секунду не гаснущих реклам, знаменитый американский сервис — словом, все это сразу ошеломляющее тебя внешнее богатство и обилие, оно-

то и затрудняет, мешает поначалу разобраться в чем-то более глубоком и существенном.

А для того, чтоб хоть как-то вникнуть в само существо, добраться до каких-то, пусть даже и относительных глубин, нужно не только ходить по музеям, взбираться на вершину Эмпайрстэйт-билдинг или фотографировать Ниагару, нужно еще и другое, куда более сложное,— умение непредубежденно, трезво и добросовестно вникать во все, что ты видишь. А это вовсе не так легко, как кажется. К тому же с Америкой, точнее с Соединенными Штатами, мы сейчас не самые закадычные друзья. В идейном и политическом отношении мы противники.

В этих условиях ездить по стране, а потом еще писать о ней совсем не легко. И общаться с людьми тоже не просто. А общение — пусть с друзьями, пусть с недругами — это самое важное. Только через общение можно добраться до этих самых, пусть даже относительных глубин того, что тебя интересует. А интересует прежде всего жизнь, чем люди дышат. А потом уже Эмпайры и Крейслеры...

Милейший наш Иван Иванович больше всего боялся какого-либо отклонения от расписания и распорядка. Он поминутно пересчитывал нас, как цыплят, и самое страшное для него было, если ему говорили: «А я не хочу в Национальную галерею, я хочу в Музей Гуггенхейма или просто погулять по Бродвею».

В первый же день в Нью-Йорке, после осмотра здания Организации Объединенных Наций, тут же у входа он устроил первое производственное совещание, первую «летучку». Попросив Тадеуша Осиповича отойти в сторонку, он произнес небольшую речь о дисциплине, о том, что такие-то и такие в первый же день опоздали к обеду

и, оторвавшись от коллектива, вынуждены были приехать сюда на такси, и чтобы впредь этого не было. Мы стояли у стен громадного здания, молча слушали его, потом провинившиеся стали оправдываться, голоса постепенно повышались (назревала ссора), а Тадеуш Осипович стоял в сторонке, иронически на нас поглядывая.

Бедный, бедный Иван Иванович. Я в чем-то понимал его, мне было его даже жаль. Все-таки он за всех нас отвечай, а нас двадцать человек, и никого-то он не знает, знакомы мы не больше суток и находимся не у себя дома. Ну как не посочувствовать. И все же добрейший наш, но не очень далекий Иван Иванович забывал об одном — о том, что к нам, людям из Советского Союза, тянутся, жаждут общения с нами и мы не имеем права отгораживаться, замыкаться в себе. К каждому нашему движению присматриваются, к каждому слову прислушиваются, поэтому держаться мы должны совершенно естественно, быть самими собой.

Итак (я немного отвлекся), начнем с Нью-Йорка, хотя о нем столько уже писалось, что как-то боязно начинать. Пробыли мы в нем в общем пять дней — срок ничтожный. Как ни странно, но к этому Вавилону довольно быстро привыкаешь. Сначала небоскребы поражают, особенно в Манхэттене, но очень скоро начинает казаться, что ты всю жизнь их видел, ходил среди них, взбирался на сотый этаж. Разговоры о том, что они подавляют,— ерунда (гитлеровская имперская канцелярия в Берлине, несмотря на свои относительно скромные размеры, подавляла меня значительно больше), многие из них, постройки последних лет, очень легки (именно легки!), воздушны, прозрачны. В них много стекла, они друг в

друге очень забавно отражаются, а утром и вечером, освещенные косыми лучами солнца, просто красивы. Рядом с ними небоскребы начала века кажутся уже чем-то архаичным — греческий портик на высоте тридцатого этажа вызывает только улыбку.

На самой верхушке Эмпайрстэйт-билдинг, высочайшего в мире здания, есть обозревательная площадка. За какую-то там сумму ты можешь подняться туда на двух скоростных лифтах, посмотреть в подзорную трубу на город, выпить кофе, купить сувениры.

Мы, конечно, тоже поднялись. И должен сказать, когда стоишь над этим городом и где-то внизу под тобой сгрудились на громадном пространстве десятки небоскребов, а между ними, как в ущельях, ползают какие-то мурашки и несутся крохотные автомобильчики, а там вон Ист-Ривер, и Бруклинский мост, и Гудзон со своими пристанями и пароходами, когда стоишь вот так, обвеваемый ветром, и смотришь на этот город-гигант, город-спрут — назовите его, как угодно,— не можешь не испытывать волнения. Когда-то нечто подобное я испытывал на вершине Эльбруса. Кавказ под тобой! Все ниже тебя. Даже Казбек и тот пониже. Но там тогда покоряло величие и красота природы, здесь — величие и красота человеческого труда. Ведь все это он сделал — его мозг, его руки. И тут же невольно задаешь себе вопрос: сколько таких Эмпайров, и Крейслер-билдингов, и мостов, подобных стремительному, легкому Вашингтон-бридж через Гудзон, сколько полезного можно было бы построить на деньги, которые уходят на всякие «Поларис», «Онест-Джон» и прочие веселые игрушки XX века. (Кстати, громадные, в натуральную величину, макеты боевых ракет стоят в Америке перед разными военного характера

учреждениями, как в свое время стояли старинные пушки, а одну из таких ракет мы обнаружили даже в вестибюле Центрального вокзала в Нью-Йорке. Для чего она там?)

Нью-Йорк (а на заре своей юности Нью-Амстердам и Нью-Орандж, когда им владели голландцы) вовсе не так уж молод. Ему уже триста лет. По преданию, куплен он был — вернее, не он, а остров Манхэттен — голландским мореплавателем Петером Минуэтом у индейцев племени ирокезов за двадцать четыре доллара.

Из этих трехсот лет пять лет (1785—1790) Нью-Йорк был столицей государства, сейчас ему не подвластен даже штат. Раскинулся он со своим восьмимиллионным населением на трех островах и одном полуострове. Состоит из пяти частей: Бруклина, Куинса, Бронкса, Ричмонда и Манхэттена — узенького островка, на котором, собственно говоря, все и сосредоточено. Манхэттен, в свою очередь, делится на три части: Даун-таун (Нижний город) — от южной оконечности острова (Баттери-парк) до 23-й улицы, Мид-таун (Средний город) — от 23-й улицы до 59-й (Центральный парк) и Ап-таун (Верхний город) — от 59-й улицы до северной оконечности острова. Мид-таун из них самый маленький, но в нем все самое большое и знаменитое: здание ООН, Рокфеллер-центр, два крупнейших вокзала — Пенсильванский и Большой Центральный, два крупнейших небоскреба — Эмпайр и Крейслер и пуп Нью-Йорка — Таймс-сквер. Недалеко от него, а значит, и от Бродвея жили и мы в своем «Говернор Клинтон-отеле» — каменной громаде в двадцать восемь этажей: «великолепное расположение в центре Манхэт-

тена, 1200 номеров, кондиционированный воздух, телевидение двадцать один дюйм (в отдельных номерах цветное), удобство, комфорт, дружелюбие...»

Манхэттен разбит на клеточки. Вдоль всего острова с севера на юг идут авеню (их четырнадцать, не считая двух набережных), поперек, с востока на запад, под прямым углом к авеню двести двадцать улиц — «стрит». (Наш отель находился на углу 7-й авеню и 31 стрит.) Через весь остров наискось, нарушая регулярность клеток, стремительно несется Бродвей — вероятно, самая длинная улица в мире, километров двадцать, не меньше.

В первый же день мы ринулись на Бродвей. Собственно Бродвей — сердце Нью-Йорка, его Крещатик, как назвал его один из наших киевлян, — это относительно небольшой отрезок от 34-й до 52-й стрит. Именно этот участок снимают во всех кинофильмах, изображающих Нью-Йорк, каким его все себе представляют, Нью-Йорк огней и развлечений, именно здесь знаменитый «всемирный перекресток» — Таймс-сквер (пересечение Бродвея, 42-й стрит и 7-й авеню), именно здесь все на память фотографируются (что сделали и мы, грешные) на фоне рекламы Шевроле или всему миру уже известного молодого, обаятельного курильщика размером в два этажа, прославляющего сигареты «Кэмэл», — он круглосуточно выпускает изо рта огромные кольца всамделишного дыма. Короче говоря, Бродвей, при всей своей длине, улица небольшая и, что еще более странно, часов с одиннадцати вечера начинающая пустеть — то есть именно тогда, когда, например, Виа Венето (римский Крещатик) начинает только заполняться. Я как-то ночью шел по Бродвею, и странно было видеть все это море сверкаю-

щих и мигающих огней, обращенное только ко мне,— Бродвей был пуст. Ночная жизнь здесь не на улице, она где-то внутри, в ресторанах и развлекательных заведениях.

Второе, что меня поразило,— это обилие маленьких щелевидных магазинчиков. В одних играют в какие-то непонятные для меня электрические игры (и молодежь, и старики, и даже старухи), в других продаются всякие забавные штучки — извивающиеся, совсем похожие на живых змеи, какие-то засушенные индейские головы с длинными волосами (не пугайтесь — из пластмассы), чудовищные маски, всякого рода прыгающие, скачущие, кружащиеся, пищащие механические игрушки.

Кстати, об игрушках. В Америке они превосходны. Я долго стоял перед одной «железнодорожной» витриной (правда, не в Нью-Йорке, а в Брюсселе, но игрушка была американская) и не мог оторваться. Три поезда — один товарный с тепловозом, один пассажирский с паровозом и один экспресс из пяти вагонов с электровозом — циркулировали по очень сложному переплетению рельсов, въезжали в туннели, мчались по мостам, свистели, гудели, останавливались у станций, иногда у светофоров и нигде не сталкивались. А сзади был аэродром, на который от времени до времени приземлялись самолеты. Но это еще не все. Наступал вечер, в окнах домов зажигались огни, а у локомотивов — прожектора. Я с трудом оторвался от этого зрелища: все детство я мечтал о таком поезде (о таком? о таком я даже и не мечтал...), и никогда у меня его не было. Окажись у меня сейчас деньги, я б его обязательно купил. Не себе, конечно, а восьмилетнему сынишке моего приятеля, но до того,

как отнести ему всю эту прелесть, я б закрылся на ключ в своей комнате, и никто бы не видел, чем я занимался бы...

Невероятно заманчивы, конечно, и солдатики, те, которые раньше назывались оловянными, а сейчас даже не знаю, из чего сделанные,— всех видов, размеров, национальностей и веков. Американцы, индейцы, арабы, наполеоновские гренадеры, рыцари, берсальеры — только красноармейцев не видал. Довести до бессонницы любого подростка могут и всякого рода наборы — ковбойский, например. Широкополая с загнутыми краями шляпа, штаны с бахромой, платок на шею и пара «кольтов» в роскошных кобурах на широком поясе с металлическими украшениями. Можно для полноты картины и шерифскую звезду купить.

Видел я, правда, и другие игрушки, сделанные с не меньшим мастерством. Например, бомбардировщик «боинг» — он летает и даже сбрасывает бомбы. Или танк с ракетной установкой. В телевизор как-то показали ползущий на зрителя танк. Приполз, навел на тебя пушку и... «Покупайте лучшие развлечения для ваших детей — танки такой-то фирмы!»

Но вернемся на Бродвей. Больше всего на нем (на этом отрезке между 34-й и 52-й стрит) театров и кино. В театр мы, к сожалению, не попали (хотя «бродвейский театр» — наиболее интересное и характерное явление в нью-йоркской театральной жизни), зато в кино были, в первый даже день, соблазнившись рекламой знаменитого Эльвиса Пресли — кумира американских девушек. Этот красивый, несколько слащавый двадцатидвухлетний молодой человек несколько лет тому назад молниеносно покорил своими песенками всю Америку. В течение не-

скольких недель Пресли стал миллионером, и популярность его достигла таких размеров, что, когда пришел срок призываться в армию, военный департамент США получил, как писали в газетах, несколько десятков тысяч писем и телеграмм от влюбленных девиц с просьбой не отнимать у них кумира. Но военный департамент все же отнял, Эльвис отслужил положенный ему срок, и именно этому событию — Эльвис в армии — и посвящена была комедия, на которую мы попали. Комедия оказалась пустяком, в меру смешным, никакого рок-н-ролла Пресли не танцевал и пел даже не очень много, хотя и мило, в основном же вздыхал по девице, а она по нем, и несколько раз они поцеловались — вот и все. Стоило это развлечение нам по доллару и, скажу по секрету, тех нотаций, которые нам, трем любителям кино, пришлось выслушать на первой «летучке» у стен Организации Объединенных Наций.

В кино мы больше не ходили, но представление о нем все же имели, так как в гостиничных наших номерах стояли эти самые телевизоры 21 дюйм (ширина экрана), а работают они в Нью-Йорке двадцать два часа в сутки по одиннадцати каналам. Ну и насмотрелись же мы драк! И каких! И в барах, и на улицах, и в поездах, и в роскошных гостиных, на море, под землей, в воздухе, с опрокидыванием столов, шкафов, с потоками крови и таким количеством выстрелов, что они звучали у меня в ушах еще добрых недели две по возвращении домой. А дерутся-то как... А парни какие, и как ловко они вылетают через весь кабак, кувырком, вверх тормашками, раскрывая своим телом створки двери, прямо на улицу, а потом, утерев только нос, таким же манером выпроваживают своего противника уже в окно. А погони, а скачки! Толь-

ко в детстве я видал такие, разве что машины стали теперь подлиннее, поплоще да побыстрее. Видали мы и Распутина, и русских князей на тройках, и каких-то гипнотизеров, и роскошных женщин, шутя расправляющихся с мужчинами тарзаньей комплекции... Обидно только, что в самый решающий, самый напряженный момент на экране появляется вдруг миловидная девушка и довольно долго моет голову какой-то особенной мыльной стружкой или обворожительная парочка на берегу прекрасного озера никак не может поцеловаться, пока молодой человек не догадывается принять соответствующую пилюлю, уничтожающую дурной запах во рту. Такими и подобными им сценами каждые десять минут прерывается любой фильм, любая программа — это реклама, на средства которой и живет телевизионная компания. И, представьте, она действует. Даже на нас подействовала: все мы в конце концов купили магические таблетки энесин от головной боли, хотя я, например, этим недугом не страдаю.

Да, американское телевидение — штука страшная, я много о нем слышал, но, только увидев, понял. Действительно, попробуй не убить своего ближнего, попробуй не изувечить его приличным нокаутом, когда с утра до вечера в телевизор тебе показывают, как это надо половчей сделать. А не сделаешь сам, другие с тобой сделают. Об этом много говорили на писательском конгрессе во Флоренции. Появился даже новый термин «полукультура» — у англичан «mass media» (средства массового общения), у американцев «mass culture» (массовая культура), под которым подразумевается значительная часть западного кино, комиксы, желтые книги, иллюстрированные журналы как средство отучить людей

думать и в первую очередь, конечно, телевидение, вытеснившее собою книги и человеческое общение.

Впрочем, если говорить серьезно, телевизор — бич не только Америки. У нас нет драк, мордобоя, соревнований по кэтчу, самому чудовищному из всех видов спорта, если это зверское истязание друг друга можно назвать спортом, но у нас зато есть другое — телезрителя иной раз загоняют в гроб скукой, бесконечными беседами и похожими как две капли воды смотрами самодеятельности. Может, это и нужно для выполнения плана телестудии, но смотреть на это уже нет сил. Впрочем, на зрителей смотреть не легче. Нет ничего страшней и унылее сидящей за вечерним столом семьи, уставившейся в телевизор. Театр, кино, книги, гости — все побоку! Глаза не отрываются от мельтешащего экрана.

Нет, я признаю телевидение преимущественно как средство репортажа. Чтоб увидеть, как выходит из самолета и шагает по ковровой дорожке Гагарин, как встречают москвичи Титова, Николаева, Поповича, чтоб поприсутствовать на фестивале в Хельсинки, послушать Клиберна, ну и в крайнем случае посмотреть прозеванный тобою фильм [1].

Второй бич Америки — широченный, мутный поток полицейско-детективной литературы. Буквально море разливанное. Об этом столько уже писалось — о всех этих выпусках с наставленными на тебя пистолетами,— что как-то даже совестно об этом писать, но не писать нельзя. Я ничего дурного не хочу сказать об американ-

---

[1] Готовя эти очерки к отдельному изданию, я собирался развить свои мысли по поводу телевидения. Но, прочитав книгу «Телевидение и мы», я понял, что это с гораздо большим знанием дела, вкусом и обаянием сделал уже Владимир Саппак.

ских книжных магазинах — в них много хороших, интересных, серьезных книг. Но хорошие книги дороги, а вся эта детективщина, вся эта отрава стоит гроши и сама в рот лезет. И, что обиднее всего, ее охотно поглощают. Особенно молодежь. И мне очень жаль американского парня — в общем, хорошего, простого, доброжелательного,— жаль смотреть на него, когда он сидит в вагоне метро со спортивным чемоданчиком на коленях и раскрытым выпуском в руках, который он только что купил за двадцать пять центов в киоске, а завтра выбросит в одну из громадных корзин для газетной макулатуры, какие стоят в Нью-Йорке на каждом углу. Ей-богу, жаль... Не обязательно, конечно, в метро, по дороге на тренировку или матч, читать Фолкнера, но, я откровенно говоря, боюсь, что этот парень и дома его не читает.

Забегу немного вперед. Поездка наша кончалась. Мы ехали из Буффало в Нью-Йорк. Ехали в отдельном вагоне без купе — проход посредине и мягкие кресла по бокам. Все уже немного устали от обилия впечатлений и лениво поглядывали в широкие зеркальные окна, за которыми мелькала одноэтажная Америка. Кое-кто спал. Я тоже изредка поклевывал носом.

И вот дверь из тамбура слегка приоткрылась, и в нее просунулись две мальчишеские головы. Посмотрели, посмотрели, потом один из мальчиков на ломаном русском языке спросил:

— Вы русские, правда?

— Правда.

— И можно с вами поговорить?

— Можно.

— Тогда сейчас...

Оба парнишки скрылись, а через минуту наш вагон заполнился молодежью. Это были «старшеклассники», как у нас говорят,— ребята лет по шестнадцати, которые ехали на несколько дней в Нью-Йорк на экскурсию. Вез их учитель, немолодой уже человек, который, к слову сказать, от этого неожиданно возникшего контакта двух миров растерялся не меньше нашего Ивана Ивановича.

Мальчишки оказались бойкими, словоохотливыми и любознательными. Дело пошло дальше традиционного обмена значками, открытками и монетами. Двое или трое из них, оказывается, изучают русский язык, и мы с грехом пополам могли даже поговорить.

Ребята мне понравились. Держались свободно, естественно, весело, и в том, что они спрашивали и о чем говорили, чувствовалась определенная культура — я понял: если не сейчас, то через сколько-то там лет Фолкнера они прочтут. Разговор шел вперебивку, о том о сем, о Москве, Нью-Йорке, наших пиджаках, войне, бейсболе, кино (кое-кто видел «Балладу о солдате» — очень понравилась), о планах на будущее. На этот вопрос отвечали, правда, довольно туманно или с юморком: «Открою сначала дело, а потом попытаюсь сменить Кеннеди...» — за неделю до этого Кеннеди был избран президентом. Вообще американцы юмор любят и понимают, но все же пусть даже в шутку сказанное «открою дело» меня насторожило. С ребятами на эту тему разговаривать особого смысла не имело, знакомство с ними мы завершили «Подмосковными вечерами» и какой-то молодежной американской песней, в Нью-Йорке расстались, и они веселой ватагой, размахивая чемоданчиками, растворились в толпе. Кто из них станет президентом, сказать сейчас,

конечно, трудно, но что по меньшей мере четверть из них будет стремиться «открыть дело» — это, к сожалению, так [1].

Вопрос о молодежи — вечный вопрос. «Эх, не такими мы были...» — вздыхают на всех широтах отцы. Где-то я читал, что в Египте нашли шеститысячелетней давности папирус, в котором какой-то фараон жаловался на молодежь: она, мол, ленива и неуважительна, к тому же, оказывается, не хочет работать, а хочет писать. Фараон безусловно был дальновиден, ничего не скажешь. Но это так, к слову, если же серьезно говорить о молодежи, то тут дело, пожалуй, даже сложней, чем в древнем Египте.

Мы смотрим на нашу нынешнюю молодежь, иногда любуемся ею, иногда качаем головами. Речь идет не о том, что встречаются лоботрясы и первые ученики, стиляги и книголюбы, карьеристы и смельчаки, мальчики в очках и мальчики в синяках — это было всегда,— речь идет о более серьезном: о взгляде на жизнь, о поисках своего места в ней. Есть очень серьезные ребята, для которых ученье и работа — это все. Но есть среди них и такие, которые говорят: «Я люблю и знаю свое дело, остальное меня не касается»,— для таких работа и ученье превращаются в шоры. Встречается и более сложная разновидность: он, например, физик, хороший физик, к тому же увлекается Генрихом Бёллем, ходит на Рихтера,

---

[1] После того как этот очерк был опубликован в журнале, я получил письмо от одного американского студента, в котором были такие строки: «Между прочим, один из школьников, с которым вы в поезде познакомились, теперь тоже изучает русский в Йелльском университете. Он был немножко удивлен тем, что вы о них писали...» Думаю, что это «удивление» связано с моими прогнозами на их будущее. Что ж, тем лучше...

на мексиканскую выставку, только, упаси бог, подальше от политики: «Ну ее, дело темное...» Есть и более сложная, более серьезная категория молодежи — те, которые мучительно переживают все связанное с культом личности. Этим придется труднее всего.

Но каковы бы ни были все эти ребята (я не говорю о «накипи» и «плесени», которая есть везде), личные их устремления — хочу быть тем-то или тем-то, как правило, сочетаются не только с выгодой и полезностью для них самих. Существует еще такое понятие, как долг — перед народом, страной. Мне кажется, это главное, что отличает нашу молодежь от западной, буржуазной.

Спор об этом у меня зашел в одном уютном коттеджике недалеко от Вашингтона. Попал я туда по приглашению Общества дружбы ветеранов. Пригласил нас туда высокий симпатичный парень, довольно хорошо говоривший по-русски. Он пришел в ресторан нашей гостиницы, как раз когда мы обедали, и, вручив нам визитные карточки с нарисованным символическим рукопожатием, сказал, что члены этого самого общества очень рады были бы пригласить нас небольшими группами по два-три человека к себе домой. В расписании эти визиты не были предусмотрены, но молодой человек с такой грустью сказал: «Неужели вас музеи и небоскребы интересуют больше, чем люди?», что отказать ему было невозможно.

Я уже не помню, кем именно был хозяин дома, в который я попал. Отвезла меня туда совсем по-мужски правившая машиной дама, насколько я понял, дочь русского эмигранта, сказавшая: «Называйте меня просто Ольгой». В небольшом, очень уютном коттедже собра-

лось человек десять, среди них двое русских: муж Ольги Лев Николаевич, немолодой молчаливый журналист, и очень живой парнишка лет двадцати, Володя. С этим-то Володей и развернулась у нас дискуссия, закончившаяся часа в три или четыре утра уже в Вашингтоне в номере нашей гостиницы.

Поначалу все было очень мило и хорошо — шел общий разговор, пили вино и коньяк, затем кофе при зажженных свечах, хозяйка дома все очень уютно и со вкусом обставила. Но часам к двенадцати Володя оживился, перешел на принципиальные темы, и тут Ольга сказала:

— А что, если мы поедем сейчас к нам домой? Там вы закончите свой спор, американцам он все равно мало интересен, а заодно посмотрите моих ребятишек.

Поехали. Попили еще кофе, посмотрели ребятишек — двух очень славных золотоволосых мальчиков, которые вовсе не хотели просыпаться,— и продолжили свой спор. Володя — парень неглупый, темпераментный и искренний, в России никогда не бывавший, родившийся в Америке,— критиковал нашу систему и восхвалял американский образ жизни.

Вообще споры эти — с людьми, явно не приемлющими нашу систему,— в основном всегда сводятся к следующему: «А почему у вас одна партия, а не несколько? Почему запрещен абстракционизм? Почему в московских киосках не продают «Нью-Йорк таймс»? Где же ваша свобода?» Мы в ответ: «А почему вы преследуете компартию? Почему изгнали Чарли Чаплина? Почему держите военные базы во всем мире? Почему разрешаете вашим генералам произносить поджигательские речи? Это и есть ваша свобода?»

Пользы от таких диалогов не много, они только вызывают взаимное ожесточение,— значительно важнее другое: разобраться в психологии человека, с которым ты споришь (если это, конечно, человек, с которым имеет смысл спорить), вникнуть в суть поставленного вопроса (если это, конечно, серьезный вопрос) и, не слишком хвастаясь, не доказывая, что у нас все без исключения лучше, чем в мире твоего оппонента, спокойно и четко доказывать правоту своей точки зрения.

Мне трудно судить, насколько я в тот вечер был убедителен, но мне кажется, что именно в споре с Володей о молодежи, о ее направленности мне удалось добиться определенного успеха.

Я отнюдь не идеализирую всех наших ребят, которые едут на стройки,— далеко не все руководствуются идейными соображениями,— но сколько все-таки из них едут, веря в то, что они там нужны, что они принесут пользу стране. Возможно ли подобное в Америке? Сомневаюсь. Молодой американец, пусть даже ищущий, думающий, прежде всего заботится о себе, о своей карьере. У нас, например, трудно себе представить молодого человека, который сказал бы: «Я хочу туда-то, потому что мне это выгодно»,— это считается просто неприличным. Если он даже так думает, он никогда не произнесет этого вслух — просто стыдно будет. Молодой американец, напротив, считает это вполне нормальным. И он в этом ничуть не виноват — этого требуют железные законы общества, в котором он живет.

Мой спор с Володей закончился, как я уже говорил, под утро. Прощаясь, он сказал:

— Признаю свое поражение. Не думал, что так будет, но вынужден признать.

Больше я с ним не встречался — на следующий день мы уехали,— но мне очень интересно было бы знать, насколько наш ночной разговор изменил его взгляды на страну и народ, который (хотя он его и мало знает) не может не быть ему дорог. Мне почему-то кажется, что Володина активность в споре вызвана была именно этим — он внутренне пытался оправдаться перед самим собой в том, что так далек от больших дел, которые происходят на родине его отцов.

Володя, конечно, не типичен. В нем все-таки слишком много русского — желания поспорить, доказать. Американец вовсе не такой уж спорщик. В чистом своем виде средний, или рядовой, как принято сейчас говорить, американец (рабочий, конторский служащий, студент) не очень склонен ко всякого рода рассуждениям и философствованиям. Это не примитивность, как некоторые считают, и не умственная лень — это, скорее, я бы сказал, своеобразная инфантильность (даже внешне американец выглядит всегда значительно моложе своего возраста) или, как сказал мне один веселый студент Колумбийского университета: «Мы не любим, когда нам забивают голову всякой ерундой». Тут, конечно, надо бы разобраться — что именно считать ерундой,— но, повторяю, американец в противоположность итальянцу, например, спорить не любит, он предпочитает дружескую беседу за стаканчиком чего-нибудь покрепче, любит шутку, веселье, проказы. Вообще по натуре своей он дружелюбен, доверчив, очень прост и естествен в обращении и, если ты попадешь к нему в гости, хочет, чтоб тебе у него было просто и весело. Он не любит скуки, всего официального, формального.

Помню, в какую черную тоску вогнал наших госте-

приимных хозяев и их гостей в Буффало один из наших туристов (университетский преподаватель), когда после второй рюмки коньяку вытащил свой блокнот и стал довольно долго зачитывать цифры производства стали, чугуна, марганца и угля у нас на Украине. И как же, наоборот, все влюбились в другого нашего туриста (молодого московского газетчика), который покорил всех своей первой фразой, адресованной хозяину: «Я видел у вас в гараже форд последней марки. Можно, я сяду и прокачусь на нем со скоростью сто шестьдесят километров в час?» И прокатился, и поковырялся вместе с хозяином в моторе, и спорил потом о последних матчах бейсбола, и с кем-то затеял борьбу, и американцы не могли уже от него оторваться, а бедный наш преподаватель сидел в углу со своими цифрами в кармане, и о нем все забыли.

Да, прежде всего будь самим собой, а потом уж проповедником. Впрочем, быть самим собой — не есть ли это лучшая проповедь?

Когда все эти размышления по поводу молодежи были уже написаны и вообще вся рукопись почти закончена, я попал в Москве на просмотр одного фильма, который невольно заставил меня опять вернуться к молодежи. Речь идет о картине Марлена Хуциева «Застава Ильича» (по выходе на экран она получила название «Мне двадцать лет»). Смотревший ее одновременно со мной Анджей Вайда, автор превосходного фильма «Пепел и алмаз», человек, которого смело можно отнести к первой десятке современных кинорежиссеров, после просмотра просто сказал, что подобного фильма он еще не видел (думаю,

что Вайда на своем веку кое-что все-таки посмотрел) и что, если б была возможность, он тут же, сейчас же пошел бы еще раз его смотреть. А фильм, к слову сказать, идет два часа сорок пять минут.

Идея фильма, его режиссура, операторская работа (Маргарита Пилихина показала нам Москву, какую мы еще никогда не видели на экране,— настоящую, невыдуманную и такую поэтичную, что иногда от счастья узнавания навертываются слезы на глаза), удивительно правдивая, лишенная какого-либо напряжения игра актеров (и все это молодежь, ни разу не снимавшаяся!), диалоги — свободные, легкие, предельно живые (вместе с Хуциевым писал сценарий Геннадий Шпаликов) — все это — хотя у меня и есть к режиссеру свои претензии,— все это настоящее, большое искусство — правдивое, искреннее, честное.

Все видели очень хороший американский фильм «Марти», не все видели «Любовь двадцатилетних» — пять киноновелл пяти разных режиссеров: французского, итальянского, немецкого, японского и польского. Оба фильма тоже о молодежи. В последнем превосходны две новеллы: первая — француза Трюффо (в ней те же два мальчика, что и в «400 ударов», но уже повзрослевшие, двадцатилетние), и последняя — Анджея Вайды, но о ней мне хочется поговорить в другой раз, не в этих очерках. Три остальные значительно слабее, хотя в каждой из них есть и своя достоверность, и своя правда.

Почему я вспомнил именно эти два фильма — «Марти» и «Любовь двадцатилетних»? Да потому, что оба они вместе с картиной Хуциева создают очень интересную и, как мне кажется, правдивую картину того, как и чем жи-

вут сегодняшние «двадцатилетние». В разных странах, на разных континентах.

Герой картины Трюффо очень трогательно и чисто влюбляется в девушку, и из этого в конце концов ничего не получается; у героя западнонемецкой новеллы вся сложность в том, что любимая девушка родила ему сына (он состоятельный журналист, она телефонистка); в итальянской новелле (поставил ее сын Росселини) молодой человек разрывается между двумя любовницами — бедной и богатой; в японской все дело кончается убийством героини героем; наконец, перенесясь в Америку, мы знакомимся с жизнью и следим за первой робкой любовью милого, обаятельного американского парня Марти.

Разные страны, разные ребята... Парижанин — служащий фирмы по изготовлению патефонных пластинок; немец — журналист; человек невыясненной профессии — итальянец; японский рабочий; владелец мясной лавки в Нью-Йорке; в хуциевском фильме — трое рабочих ребят. Всем им по двадцать, по двадцать с небольшим. И все, конечно, любят. Каждый по-своему. И всем им бывает весело, и всем иногда немного грустно (за исключением японца, он все время одержим — вообще эта новелла несколько выпадает из общего плана), и все они порой томятся (в «Марти» и в «Заставе Ильича» одинаково: «Ну, куда пойдем, ребята? Чем заняться?»), но только в одной — хуциевской — картине эти самые ребята позволяют себе спросить самих же себя: «Ну хорошо, а дальше что?»

Герои «Заставы Ильича»— закадычные друзья. Им весело друг с другом. И жизнь у них сложилась в общем неплохо — не так уж чтобы слишком хорошо, но и не-

плохо. Работают. Один на заводе, другой — в какой-то электровычислительной организации, третий — на строительстве. По вечерам после работы встречаются. Идут гулять. Бывает, и выпьют. В общем, дружат. И вот в этой как будто немного даже устоявшейся жизни появляются свои сложности. У Славки жена и ребенок, а хочется иногда «попарубковать», жена же вроде как подрезает молодые крылья, у Кольки неприятности с начальством — чуть в морду ему не заехал, Сергей неожиданно вдруг влюбляется в дочь некоего несимпатичного, зажравшегося высокопоставленного товарища. И возникают — не могут не возникнуть — вопросы. Как дальше? Как правильно? Как не ошибаться? И вообще как жить?

Сергей задает этот вопрос — как жить? — своему отцу, погибшему на фронте отцу. Это одна из сильнейших сцен фильма. Отец и сын встречаются. Что это — сон, бред, фантазия, мечта, галлюцинация? Не знаю. Но они встречаются. Отец в пилотке, плащ-палатке, с автоматом на груди. И комната превращается вдруг в блиндаж, и спят вповалку солдаты, и коптит на столе артиллерийская гильза, и отец с сыном пьют. Друг за друга. И сын говорит отцу:

— Я хотел бы быть рядом с тобой в той атаке, когда тебя убили.

— Нет,— говорит отец,— зачем? Ты должен жить...

И сын тогда спрашивает:

— А как?

И отец в свою очередь спрашивает:

— Тебе сколько лет?

— Двадцать три.

— А мне двадцать один...

От этих слов мурашки бегут по спине...

Отец не дал ответа — он уходит, его ждут товарищи... И они идут, три солдата, три товарища, в плащ-палатках, с автоматами на груди по утренней сегодняшней Москве. Мимо проносится машина, а они идут, идут. Идут, как шли в начале картины три других солдата, солдата революции, по улицам другой Москвы — Москвы семнадцатого года... И шаг их, размеренный, гулкий, сменяется другим шагом... Красная площадь. Смена караула. Мавзолей. И надпись: «Ленин».

В картине много других линий, других узлов, других столкновений, других сложностей, но все эти линии, узлы, столкновения и сложности сводятся к одному: как дальше?

— А ответ один — так же, как и сейчас — в неустанных поисках ответа, поисках правильного пути, поисках правды. Пока ты ищешь, пока задаешь вопрос — себе, друзьям, отцу, на Красной площади,— ты жив. Кончаются вопросы — кончишься и ты. Безыдейное, безмятежное и безвопросное существование — это не жизнь.

Получилось что-то вроде рецензии на картину. Очень куцей, но все же рецензии. Я этого не хотел. Я хотел другого. Найти ответ: что же такое в конце концов наша молодежь? И чем она отличается от западной? Мне кажется, что Хуциеву в какой-то степени удалось все-таки дать ответ на этот вопрос, рассказав нам об этих трех молодых москвичах, о их дружбе, любви, тревогах и поисках. И мы поняли, что это ребята настоящие.

Я не сомневаюсь, что на Западе тоже есть такие ребята, не может этого не быть — и на Кубе, и в Америке, и в

Италии, и во Франции,— но впервые они ворвались в искусство у нас. Думаю, что это все-таки кое-что да значит [1].

На третий день нашего пребывания в Америке в 9. 30 утра с Пенсильванского вокзала на поезде, носившем название «The Executive», мы отправились в Вашингтон.

В Америке поезда имеют названия. На Пенсильванской железной дороге ходят поезда: «Президент», «Генерал», «Адмирал», «Золотой треугольник», «Южный ветер», «Патриот», «Эдисон», «Законодатель», «Полумесяц», «Пилигрим», «Виллиам Пенн», «Врата Ада» и еще с десяток других. Наш назывался «The Executive», слово трудно переводимое, по-русски звучащее как «руководитель», «управляющий», «администратор».

С детства я питаю страсть ко всему железнодорожному — поездам, паровозам, семафорам, мостам, вокзалам, даже к расписаниям. Паровоз для меня всегда был, да и остался существом одушевленным. В двенадцатилетнем возрасте, когда мы жили под Киевом, я десятки раз на день бегал на станцию встречаться с любимыми паро-

---

[1] Работа над картиной продолжалась еще два года. Только в самом начале 1965 года она вышла на экраны. За прошедшие два года многое изменилось — и в самой картине и за пределами ее, и, возьмись я сейчас за рецензию на нее, у меня, я знаю, появились бы новые мысли и сопоставления, о чем-то, возможно, я сказал бы по-другому. Но это когда-нибудь в другой раз. Сейчас же оставляю эту «вроде рецензию» в ее первоначальном виде — как первую реакцию, первое яркое впечатление от просмотренной картины. Тем более что, несмотря на всякие переработки и досъемки, идея картины осталась неизменной.

возами. Ходили тогда преимущественно пассажирские $Н^{в}$ и $Н^{у}$, иногда А и Б, а на единственном почтовом поезде Киев — Казатин красавец паровоз С типа «Прери», острогрудый, гордый, с низенькой трубой и электрическими фонарями (на остальных были керосиновые). Я знал характер, повадки и голоса каждого из них, и если по каким-либо причинам вечерний почтовый вез не С-513, а Б или $Н^{у}$, я начинал тревожиться: не заболел ли мой любимец? Теперь этих паровозов нет, даже $С^{у}$, потомок С, встречается только на самых второстепенных линиях[1].

В Америке паровозов вообще нет. Их сменили безликие электровозы и дизели. Но в Дирборне, в «Генри Форд музее», мне удалось все-таки встретиться со старым своим знакомым (по картинкам к Жюлю Верну и кинофильмам двадцатых годов) — паровозом «Пасифик»: широкая труба, громадный фонарь, обязательный колокол у будки машиниста и «коровоотбрасыватель» — специальный щит перед передней тележкой. (Между прочим, от Ниагара-Фолс до Буффало нас вез дизель, но тоже с колоколом, который всю дорогу неизвестно для чего трезво-

---

[1] Человек, подписавшийся «Техник путей сообщения II разряда», прочитав эти строки, прислал письмо с указанием на фактические ошибки. «Так, на стр. 123,— пишет техник,— вы утверждаете, что в первые годы революции на линии Киев — Казатин почтовые поезда возил С-513. Никогда паровоз с указанным номером на указанной линии не работал. В указанное время в Киеве имелись паровозы серии «С» с номерами от 303 до 348 и от 801 до 857. А паровоза С-513 не было». Я смеялся над этим письмом, пока не дошел до подписи. Оказалось, что написал его мой соученик по железнодорожной профшколе, ныне писатель Л. Серпилин, человек с идеальной памятью и действительно знавший в те годы все паровозы киевского узла. Письмо написано, конечно, в шутку, тем не менее, чтоб не вводить читателя в заблуждение, с его разрешения, меняю паровоз С-513 на, допустим, С-303. Все-таки точнее.

нил.) В «паровозном» отделе музея я пробыл дольше всего. В нем старик Форд собрал все виды американских поездов, начиная от самых первых с паровозами типа стефенсоновской «ракеты» и крохотными вагончиками в виде дилижансов с идиллическими картинками на стенах и дверцах и кончая могучими титанами, колеса которых в два раза выше человека. Сейчас они стоят рядышком — трогательный малорослый дедушка и устрашающий своими размерами внучек,— и оба они уже в прошлом... Есть в музее и знаменитый поезд, в котором Эдисон мальчишкой торговал газетами и где ретивый проводник съездил ему по уху так, что Эдисон на всю жизнь оглох. В этом же поезде, специально купленном Фордом, через много лет Эдисон своеобразно отпраздновал восьмидесятилетний юбилей — ходил по вагонам и продавал газеты.

Нынешние американские поезда комфортабельны и удобны. Состоят они из очень длинных вагонов разного типа. Наиболее дешевый «coach» (коуч) с проходом посредине и креслами по бокам, подороже спальный (sleeping-car), есть «observation-car» — двухэтажный вагон специально для любителей пейзажей, есть и «lounge-car» (лаундж-кар) — вагон-салон. В этом вагоне я не был, а в слипинге мы ехали из Вашингтона в Чикаго. Скажем прямо: наш обыкновенный мягкий куда удобнее. В американском какая-то очень сложная система расположения купе по двум сторонам прохода и на двух уровнях: в некоторые купе надо взбираться по ступенькам. Но что нас больше всего поразило и поначалу просто поставило в тупик — это проблема уборной. Мы долго рыскали по всему вагону и никак не могли ее найти. Потом она обнаружилась в нашем собственном купе: оказывается, я на ней сидел.

Из Нью-Йорка в Вашингтон — четыре часа езды. «Административный» несется со скоростью сто километров в час. Мимо Филадельфии, Уилмингтона, Балтимора, мимо маленьких американских городков с аккуратненькими, беленькими, очень похожими друг на друга, отдельно стоящими среди зелени домиками, мимо фабрик и заводов, обгоняемый десятками и обгоняющий сотни машин, бегущих рядом по автострадам туда же, на юго-запад — в столицу страны Вашингтон. Иногда на какую-то секунду мы останавливаемся в каком-нибудь Нью-Брунсвике или Трентоне, меняем пассажиров и мчимся дальше.

Пассажиры дремлют или листают журналы — к концу поездки весь вагон будет завален ими, как в свое время покинутые немецкие штабы документацией. Я сижу у окна и опять вспоминаю детство.

Был у меня тогда друг, звали его Яся. Мы издавали с ним газету будущего — 1979 года. Называлась она «Радио». Выпустили мы что-то номеров десять или двенадцать. К сожалению, вся «подшивка» погибла: сожгли немцы вместе с домом, в котором мы жили. С тех пор прошло более тридцати лет, до семьдесят девятого года осталось уже не так долго, но сейчас, вспоминая те дни, трудно удержаться от улыбки: до чего же действительность обогнала все наши детские мечты и фантазии. Единственное, в чем мы обогнали ее (впрочем, до семьдесят девятого года все же еще довольно далеко), это в космических полетах — на Марс мы уже летали. Но на грешной Земле все оставалось на уровне двадцатых годов — даже метро не прорыли, а транспортную проблему Киева решили простым увеличением трамвайных линий до ста номеров. Тогда это нам казалось громадным

прогрессом. Войны велись тоже по старинке — в семьдесят девятом году мы воевали с англо-амами (англичанами и американцами), из-за чего воевали — не помню, но сражения, развернувшиеся на Аляске, как две капли походили на бои в Шампани и у Вердена, тем более что иллюстративный материал мы вырезали из старой «Нивы» и французского «Иллюстрасьон».

Потом газета нам надоела, мы выдохлись, и на смену ей пришла «кругосветная железная дорога» Москва — Владивосток — Нью-Йорк — Париж — Москва. Через Берингов пролив построен был мост, а через Атлантику, которая в те годы не была еще пересечена Линдбергом, поезда переправлялись на быстроходных океанских паромах. На больших листах бумаги, оставшихся от нашей газеты, мы составляли расписания этой самой железной дороги. Были у нас и экспрессы, и курьерские, и скорые, и ускоренные, и почтовые, и даже товаро-пассажирские поезда. Расписание составлено было по всем правилам — станции, где находились буфеты, обозначались перекрещенными вилкой и ножом, а спальные вагоны — маленькими кроватками. До конца мы его так и не довели — преодолели Сибирь, Аляску, Канаду, добрались до Чикаго — и тут подвернулось лето, каникулы, Днепр, лодка — вещи, куда более соблазнительные. Сейчас, тридцать с лишним лет спустя, сидя в мягком кресле «The Executive», я невольно вспомнил о нашем незавершенном труде. Когда несколько дней спустя мы приехали в Чикаго, я тут же на вокзале купил расписание «Огайо — Балтимор рэйлуэй» Чикаго — Нью-Йорк, запечатал его в конверт и отправил в Москву уже не Яське, а Якову Михайловичу — геологу, историку, полиглоту, человеку, несмотря на его солидный возраст, не поте-

рявшему чувства юмора,— а вдруг ему захочется довести до конца прерванное почти сорок лет тому назад такое нужное, большое дело. Увы, по непонятным для меня причинам пакет до адресата так и не дошел: юмор, очевидно, на границах не в почете.

В проспектах сказано, что Вашингтон — по-английски Уошингтон — самая красивая столица в мире. Самая или не самая, не берусь судить — боюсь, что авторы проспекта несколько преувеличивают,— но то, что Вашингтон в репрезентативной своей части действительно красив — это бесспорно. Особенно осенью, с горящей всеми оттенками желтого, оранжевого, красного листвой, с медленно кружащимися в воздухе кленовыми листьями, с беломраморными дворцами на фоне синего-синего неба и дружелюбными серенькими белочками, прыгающими по деревьям и ярко-зеленым свежим газонам.

Вашингтон — самый неамериканский из всех американских городов. В нем почти нет промышленности, улицы его широки и зелены, дома невысоки. Это тихий, спокойный, очень рано ложащийся спать город чиновников. Вашингтон относительно молод — он ровесник Ленинграда,— и если так уж необходимо выделить его среди столиц мира, то согласимся с тем, что сказано в путеводителе: Париж, Рим и Лондон стали столицами по воле обстоятельств, Вашингтон — по воле проекта, сделанного его основателями. Это верно: Вашингтон весь придуман. Придуманнее его, пожалуй, только столица Австралии Канберра и совсем еще юная Бразилиа. Вашингтон — это две регулярные сетки, наложенные одна на дру-

гую,— квадратная и диагональная. Квадратная состоит из перенумерованных и, если можно так сказать, перебуквенных улиц (есть А-стрит, В-стрит и так до Z), диагональная — из авеню, носящих названия штатов: Пенсильвания, Массачусетс, Вирджиния, Мэриленд, Нью-Йорк и т. д. Центр — Капитолий. От него в сторону реки Потомак — широченная зеленая полоса, заключенная между двумя единстенно не диагональными авеню — Индепенденс и Конститьюшэн. Заканчивается полоса мавзолеем над Потомаком — Линкольн-мемориал. Между Капитолием и мавзолеем, ближе к мавзолею, стошестидесятиметровый обелиск — Вашингтон-монумент. К северу от него, в центре города, на пересечении Пенсильвания и Нью-Йорк-авеню — Белый дом. Вот и весь, в общем очень простой, планировочный принцип Вашингтона. Автор проекта — француз Пьер-Шарль Л'Анфан.

Вашингтон — самый неамериканский из всех американских городов, и все же, как и повсюду в Америке, в нем есть свое «самое большое». Вестибюль вашингтонского вокзала (Юнион стэйшен) — 750х130 футов — самое большое в мире помещение! Национальная галерея искусств — самое большое в мире мраморное здание! Марин Корпс-мемориал — памятник морской пехоте — самый большой в мире бронзовый памятник! Арлингтонский мост — самый большой в мире разводной мост! Вашингтон-монумент — самый большой каменный, а может быть, и масонский (masanry: каменный, масонский; Джордж Вашингтон был масоном) обелиск в мире! Храм Непорочного Зачатия — самый большой католический собор в США (и из семи самых больших в мире), а в северной абсиде его — самое большое в мире мозаичное изображение Христа (голова размером 8х5 футов, расстояние

между распростертыми руками тридцать четыре фута, камни мозаики четырех тысяч оттенков).

А в общем, что там ни говори, Вашингтон очень красив. Я не большой поклонник эклектики и всякого рода подражательных стилей и все же не могу не признать, что бело-розовые и золотисто-мраморные «греческие» портики и колоннады зданий и музеев, утопающих в зелени парков, производят сильное впечатление. Особенно ночью, когда подсвеченные фонтаны изливают каскады воды различных цветов и оттенков, а купол Капитолия и Вашингтон-монумент точно светятся изнутри.

Капитолий — не лучшее здание столицы: он помпезен, многословен, выдержан в самых что ни на есть традиционных формах парламентских зданий XIX века; зато обелиск Вашингтона, предельно лаконичный в своей геометрической простоте — мраморная игла, вонзающаяся в небо,— достоин имени того, чью память он увековечил. Обелиск строился долго, очень долго: сорок лет — с 1848 по 1888 год. Высота его 160 метров, точнее 555 футов и $5^1/_8$ дюйма. С вершины его (там специальное помещение, куда за семьдесят секунд подымаешься специальным лифтом) открывается очень красивый вид на город и его окрестности. Вниз мы спускались по железной лестнице. Занятие довольно утомительное, но зато мы увидели и пощупали камни, из которых обелиск столь долго (помешала гражданская война) возводился. Среди них — громадные блоки с дарственными надписями от отдельных лиц, обществ, городов, штатов, даже государств. Есть и уникальные камни, куски Парфенона, Карфагена, гробницы Наполеона с острова Святой Елены, капеллы Вильгельма Телля из Швейцарии. Может быть, это самое трогающее во всем памятнике.

Невдалеке от обелиска высится другой памятник другому сыну Америки — Линкольн-мемориал, некий парафраз афинского Парфенова, строгий, ослепительно-белый, весь из колорадского мрамора. Это не гробница, это скорее храм, воздвигнутый в честь великого президента. Сам Линкольн, высеченный из мрамора, очень задумчивый, серьезный, немного грустный и усталый, сидит в мраморном кресле, выдвинув правую ногу немного вперед и положив большие красивые руки на подлокотники кресла. Мне ничего не говорит имя автора этой скульптуры — Даниэль Честер Френч, но могу смело сказать, что по силе психологического проникновения художника в образ изображенного им человека я, пожалуй, не много могу назвать подобных памятников в галерее так называемого официального искусства нашего времени. Поразительное сочетание мудрости, спокойствия, воли и в то же время, я бы сказал, трагизма. Кажется, что сидящий перед тобой в полумраке прохладного мраморного зала великий человек предвидит не только свой собственный трагический конец, но и всю сложность и противоречивость судьбы народа, которому он посвятил и отдал свою жизнь. И, глядя на его задумчивое, печальное лицо, невольно задаешь себе вопрос, особенно невеселый для нас, русских: мог ли предположить Авраам Линкольн, борец за правду и справедливость, что пройдет не многим более полустолетия — и кое-кто из его преемников, преемников Вашингтона и Джефферсона, попытается задушить рождавшуюся на другом конце земного шара молодую Советскую республику?

Я упомянул имя Джефферсона — третьего президента Соединенных Штатов,— имя человека, которого очень

чтят американцы. Томас Джефферсон — выдающийся американский просветитель XVIII века, автор Декларации Независимости, друг Кондорсе и Кабаниса, последователь Жан-Жака Руссо — был, если можно так сказать, самым революционным из американских президентов. Он приветствовал и пытался поддерживать Великую французскую революцию, выдвинул теорию развития революции по мере распространения просвещения в массах и осознания ими своих прав. Он обличал ограниченность американской революции XVIII века, не уничтожившей рабства, не разрешившей аграрного вопроса в интересах народа, не обеспечившей ему подлинных политических прав, он предсказывал неизбежность новых революций в США. Ныне традиции Джефферсона используются прогрессивными силами Америки в борьбе за истинную свободу и демократию.

Памятник ему — Томас Джефферсон-мемориал, круглая колоннада с куполом — высится сейчас на берегу живописного озера и, как говорят, особенно красив весной, в апреле, когда весь утопает в розовом море цветущего вишневого сада — подарка городу Вашингтону от города Токио в 1912 году.

Вашингтон тих, спокоен, рано ложится спать. В задумчивых водах его озер отражаются памятники былой славы, по газонам прыгают белочки. В громадных залах Национальной галереи развешаны бесценнейшие полотна Джотто, Рафаэля, Гольбейна, Вермеера, Рембрандта, Констэбля, Ренуара, Дега, Манэ. В смитсоновском институте — одном из интереснейших музеев Америки — висят за стеклом исторические мундиры Джорджа Вашинг-

тона и генерала Гранта, бережно хранятся аэроплан братьев Райт и знаменитый «Спирит оф Сан-Луи», на котором Чарльз Линдберг пересек океан 20—21 мая 1927 года за тридцать три с половиной часа.

А в Уокс-музеуме — музее восковых фигур — при желании вы можете даже сняться вместе с Франклином и Джефферсоном за точной копией того самого стола, где подписывалась Декларация Независимости, а потом увидеть свою фотографию в «Уошингтон обсервер». Короче говоря, в Вашингтоне «есть что посмотреть».

Мы бродили вдоль изящных решеток Белого дома, такого красивого и спокойного в тени вековых лип и вязов, а на следующий день, 8 ноября, должно было решиться, кто же станет новым хозяином этого дома — Никсон или Кеннеди. Вашингтонец по конституции до 1961 года лишен был избирательного права, но он мог слушать радио, смотреть телевизор. В этот вечер мы тоже сидели у телевизоров и слушали Кеннеди и Никсона.

Два молодых, энергичных американца, один миллионер, другой юрист, вице-президент республики. Кто из них победит? И что даст миру победа одного из них? В Нью-Йорке мы видели сотни плакатов и фотографий двух улыбающихся претендентов, через Бродвей протянуты были громадные полотнища, призывающие голосовать за этого, а не за того, на перекрестках какие-то молодые люди со звонкими голосами раздавали листовки и вступали в дискуссию, а на углу 42-й стрит и Бродвея мы видели даже Генри Кабота-Лоджа — кандидата в вице-президенты от республиканской партии: он ехал в украшенной флагами машине и тоже что-то выкрикивал в мегафон.

Нам, советским людям, это состязание двух соперни-

ков тогда мало что говорило. Одного поддерживают одни могущественные тресты и монополии, другого другие. Борьба между Ослом и Слоном (символы двух соперничающих партий — демократической и республиканской),— борьба, стоящая десятки миллионов, нам порой казалась смешной и наивной. Но американец другого мнения. Люди левого толка, с которыми мы встречались, определенно склонялись к кандидатуре Кеннеди. Он, мол, и моложе (таких молодых президентов еще не было — сорок два года!), и прогрессивнее, и на войне отличился, и вообще, дорогие друзья, в нашей внутренней политике вам разобраться все-таки трудновато, поверьте, мы знаем, за кого голосовать. И вечером девятого числа, сидя, как все американцы, у телевизора, мы следили за подсчетом голосов и тоже «болели» за Кеннеди.

Когда писались эти строки, в 1962 году, Кеннеди был еще президентом. Сейчас его уже нет в живых. Загадочные обстоятельства его убийства когда-нибудь станут известны, сегодня же сама загадочность этого «убийства века» наталкивает на очень серьезные размышления.

Кому мешал Кеннеди?

За два года своего президентства Кеннеди завоевал симпатии и поддержку прогрессивных слоев Америки. Это не значит, конечно, что за эти годы политика США перестала быть империалистической по своей сути, но осуществлялась она в этот период на основе реалистической оценки обстановки и соотношения сил, сложившихся в мире. Впервые в истории Соединенных Штатов президент окружил себя не только профессиональными политиками и дипломатами, а представителями либерально настроенной интеллигенции. Главным образом на нее он опирался в своей повседневной работе. И кое-

кому это не понравилось. Человек решительный и энергичный, он разработал проект закона против расовой дискриминации, этому позору Америки. И это тоже не понравилось. Как человек трезвый, он понимал роль и значение Советского Союза и отказывал в своей поддержке «бешеным» типа Голдуотера. И это тоже не понравилось. Нельзя забывать также, что, будучи одним из богатейших людей Америки, Кеннеди был связан с определенной группой монополий и действовал подчас в ущерб интересам других монополий, что, разумеется, вызвало резкое недовольство со стороны последних (всем памятно его известное столкновение со сталелитейными компаниями). Одним словом, врагов и недоброжелателей у него хватало. Но человек он был смелый — он показал это еще на войне. Когда перед самой поездкой в Даллас друзья попытались отговорить его от этого рискованного шага, он воспротивился. Он поехал. И его убили.

Сейчас трудно еще сказать, на что рассчитывали убийцы, целясь в президента. На это ответа пока нет. Но то, что в Кеннеди стрелял не один человек, и не безумец (будь то Освальд, или Руби, или кто-то, еще пока нам неизвестный), что выстрел в Далласе был организован и тщательно подготовлен могущественными противниками Кеннеди, это более или менее ясно.

Сами обстоятельства убийства, обстоятельства его расследования вскрыли и перед нами многое, чего мы не знали об Америке. Мы знали, что в Америке есть «берчисты», архиреакционная организация, но не знали, что они так многочисленны и влиятельны. У нас есть определенное представление об американской прессе, но никогда не могли себе представить, что в день приезда президента в местной газете может появиться воззва-

ние с явными угрозами по его адресу. Непонятно нам, как Руби мог оказаться во дворе тюрьмы, когда оттуда выводили Освальда. Почему врачи, осматривавшие тело Кеннеди, дали разные показания? Почему судьи Руби старательно обходили все связанное с убийством президента? Многое, очень многое непонятно. Но ясно одно — силы реакции в Америке могущественны и активны. Поражение Голдуотера на выборах никого не должно успокаивать.

В южной части Арлингтонского национального кладбища на постаменте из полированного лабрадора шесть бронзовых американских солдат водружают звездно-полосатый флаг на воображаемой вершине горы Сурибаки острова Иводзима. Водружение это произошло 23 февраля 1954 года на далеком тихоокеанском острове и, отлитое сейчас в бронзе, символизирует доблесть солдат американского морского корпуса. Трое из шестерых погибли на том же острове, четвертый, индеец Айра Хайс, умер в 1955 году и похоронен неподалеку от памятника, двое же остальных, очевидно, живы и могут в любой момент прийти полюбоваться на свое собственное изображение в бронзе.

Памятник этот может нравиться и не нравиться: он очень динамичен и в то же время репортерски фотографичен (говорят, что автор его, скульптор Уелдон, при работе действительно пользовался фотографией), но, глядя на этот памятник, невольно задумываешься. Шестеро смелых ребят в касках водружают знамя на вершине горы, о существовании которой, вероятно, совсем недавно еще не имели никакого понятия. Что их привело сюда?

За что трое из них отдали свои жизни и похоронены на чужой земле?

Сравнивая вклад той или иной страны в дело разгрома фашизма, мы отнюдь не склонны преуменьшать свои заслуги и жертвы. Мы приняли на себя главный удар и долгое время сражались один на один с противником. Этого мы никогда не забудем. Соединенные Штаты вступили позже нас в войну, они не знали ужасов оккупации, разрушений и варварских бомбардировок, но американские солдаты тоже гибли. Гибли в Пирл-Харборе и на Филиппинах, в Персидском заливе и на Соломоновых островах, под Монте Кассино и на Гималаях. Триста тысяч молодых американцев никогда больше не вернутся домой. Американцы познали не только торжество победы, но и горечь поражения — тот же Пирл-Харбор, трагедия Коррехидора и Батаана, тревожные дни начала сорок второго года, когда казалось, еще немного — и Япония доберется до Австралии, до берегов самой Америки. Нам в те дни было намного тяжелее, но русский человек умеет ценить дружбу, и мы никогда не забудем вклад американцев, которые организовали различные комитеты помощи Советскому Союзу, собирали средства, медикаменты, теплую одежду, а многие гибли, доставляя на транспортах грузы к нашим берегам.

Обо всем этом невольно вспоминаешь, глядя на памятник шестерым американским солдатам. Ведь они тоже воевали против фашизма. Воевали далеко от своей родины, зная, что дома у них все спокойно. И трое из них погибли. За что? Неужели за то, чтоб повязки со свастикой появились на рукавах американской молодежи, чтоб в штаб-квартирах американской нацистской организации «берчистов» висели портреты Гитлера и вновь

раздавалось знакомое «зиг хайль!»? Я знаю, большинство американцев относится к ним презрительно и враждебно, но они все-таки есть, и об этом трудно не думать у памятника людям, воевавшим против самого человеконенавистнического, что было на земле,— фашизма.

Две недели в автобусах «Америкэн экспресс»...

«Господа, господа, не задерживайтесь, впереди еще два музея, аквариум и посещение редакции «Чикаго-сан». Мчимся в автобус, рассаживаемся, едем в музеи, аквариум, редакцию. В голове все мешается. Что было после чего? Что мы видели? Что мы пропустили? Что нам заменили? Что еще осталось? «Господа, подъем в восемь. В девять завтрак. В девять тридцать завод Форда, затем Гринфильд-вилледж, Музей Форда, лаборатория Эдисона, мастерская братьев Райт. В пять выезжаем в Детройт, оттуда в Буффало и автобусом до Ниагара-Фолс...»

Как в кино, мелькают фордовский конвейер, обрастающий деталями корпуса автомашин, проворные неторопливые рабочие руки, фордики двадцатых годов с медными клаксонами, любимое кресло Эдисона, колбы, реторты, фонографы, угольные лампочки, верстаки, тиски — «те самые, на которых...», мастерские, типография, кузница — «та самая, в которой...». Голова идет кругом. «Господа, подъем в восемь, завтрак в девять...»

Музеи, музеи, музеи... Эх, людей бы! Посмотреть бы, как живут, чем занимаются, о чем думают...

Тот самый киевский газетчик, назовем его К., член нашей туристской группы, который мучился тем, что ему не о чем будет писать, так как нам не показали еще трущобы, вернувшись домой, с места в карьер стал высту-

пать с докладами. По городу развешаны были афиши «Америка, ноябрь 1960 года». Я пошел на один из этих докладов. К. очень обстоятельно говорил о контрастах, о трущобах, о безработице, о нищете, о нью-йоркских улицах, где никогда не бывает света, о тяжелых условиях труда, дороговизне квартир, дискриминации негров, забастовках — обо всем, что он знал еще до поездки в Америку,— и ни словом не обмолвился ни об одном живом человеке. Его спросили о ценах на товары. Он ответил, что этим не интересовался. По залу прокатился шепоток. Молодой парнишка, стесняясь, спросил, как обстоит в Америке дело с алкоголизмом, много ли там пьют? К. ответил:

— Много. В Вашингтоне, нет, виноват, в Чикаго мы видели одного пьяного, он еле держался на ногах.

По залу прокатился хохот. Мне было стыдно, хотя я и понимал, что такого, как К., слава богу, не встречаешь на каждом шагу.

Другой журналист, наш, советский, проживший в Нью-Йорке около четырех лет, говорил мне:

— Америка действительно страна контрастов. Причем контрастов разительнейших. Нищета и богатство, красота и уродство — все это рядом. Но когда говоришь о контрастах, надо придерживаться все-таки каких-то пропорций черного и белого. Прошу вас, если вы будете писать об Америке, придерживайтесь хотя бы, как здесь говорят, фифти-фифти — пятьдесят на пятьдесят. И не пишите, что американская молодежь интересуется только рок-н-роллом и бейсболом. Интересуется, даже увлекается, но газеты, поверьте мне, тоже читает. И журналы и книги. И вашу статью прочтет. Учтите это, чтобы потом не краснеть.

Кстати о контрастах, упомянутых журналистом. Это верно и неверно. В Греции или Турции, допустим, контрасты куда разительнее, чем в Америке, Америка же поражает не столь контрастами (которых, конечно, хватает), сколь убийственной стандартизацией, униформированностью, однообразием образа жизни, мыслей, быта, вкусов, привычек. Хорошо знающий Америку, итальянский писатель Гвидо Пьовене пишет, например, о том, что даже способные студенты в американских колледжах добиваются, чтоб им ставили отметки не выше средних. Отделы найма крупных фирм не любят брать на службу людей со способностями выше средних, они приносят беспокойство. (Большинство ученых-теоретиков, физиков, математиков поставила Америке Европа, вернее Гитлер.)

И еще один журналист. На этот раз американец, но хорошо знающий русский язык и неоднократно бывавший у нас. Он спросил меня (это было два года спустя, в Италии), собираюсь ли я писать об Америке, и если да, то могу ли я не кончать свой очерк строками о трудолюбивом, талантливом и мужественном народе, который автор, несмотря ни на что, полюбил, хотя и пробыл в Америке недолго.

— Я начну вашу статью с конца,— сказал он,— и, если там будут эти строки, не стану ее читать,— значит, она необъективна.

Я пообещал ему кончить свой очерк какой-нибудь другой фразой и в свою очередь спросил, как он заканчивает свои статьи о Советском Союзе. Он улыбнулся и сказал:

— По-разному. Но однажды кончил именно так, научившись этому у вас, поэтому и предостерегаю.

Парень он был неплохой и, как я потом узнал, в своих

статьях, печатавшихся в не слишком просоветском журнале, придерживался фифти-фифти.

Я лично убежден, что, рассказывая о жизни той или иной страны, ни в коем случае нельзя придерживаться какой-то процентной нормы. Дело не в процентах, а в умении видеть и стремлении разобраться в увиденном, в тех мыслях и ассоциациях, которые возникают у тебя от того или иного явления, от той или иной встречи. На большее претендовать трудно, если пишешь не научный труд, а путевые заметки.

Несколько выше я писал об американской молодежи. Удалось ли мне ее узнать? Ведь за две недели я сталкивался с нею всего три раза. Первый раз с русским — Володей, второй — в поезде со школьниками, в третий — с двумя студентами Колумбийского университета. В сумме своей это что-то дало, но боюсь, что именно «что-то», не более. И все же...

Встреча с колумбийскими студентами меня разочаровала. Впрочем, тут для меня не все ясно. Когда мы уезжали из Нью-Йорка в поездку по стране, Тадеуш Осипович, наш словоохотливый гид, сказал, что, когда мы вернемся в Нью-Йорк, мне обязательно надо будет встретиться со студентами русского отделения Колумбийского университета, которые, мол, об этом очень просили. Я, конечно, тут же согласился: что может быть интереснее?

По возвращении в Нью-Йорк — на второй, кажется, день — мы всей группой пошли в университет. Тадеуш Осипович опять предупредил меня, чтоб я не забыл о студентах, которые ждут встречи. Хорошо. Пришли. Приняли нас очень мило в каком-то небольшом зале для торжеств. Сказаны были необходимые слова приветст-

вий, потом мы разбились на маленькие группы, и физики пошли к физикам, историки к историкам, а я отправился на поиски тех самых студентов, о встрече с которыми давно мечтал. Сопровождал меня в этих поисках профессор Мэтьюсон, преподаватель русской советской литературы. Немолодой уже, приветливый господин, превосходно говоривший по-русски, автор книги о положительном герое в советской литературе. Книги этой я не читал — думаю, если бы прочел, у меня нашлось бы о чем поспорить с ее автором,— но объективности ради должен сказать, что по отношению ко мне профессор был очень предупредителен. О встрече со студентами он ничего не знал, но предложил свои услуги в поисках их. Зашли мы в несколько аудиторий, заглянули в библиотеку русского отделения — никого нет. Проходили мы так с полчаса, если не больше, кого-то останавливали, кого-то спрашивали, но так никого и не нашли. Почему? Не знаю. Профессор Мэтьюсон явно был озадачен и даже, я бы сказал, смущен. Мы зашли в студенческое общежитие (к слову сказать, похожее на нашу московскую гостиницу «Юность», только побольше), но и там никого не нашли. Веселые ребята и девушки, сбегавшие по лестнице, приветливо нам улыбались, на наши вопросы пожимали плечами и убегали дальше. С горя мы двинули в студенческий ресторан.

— Сядем вот за тот столик,— сказал профессор Мэтьюсон.— Там как будто славные ребята.

Ребята оказались действительно славными, с симпатичными интеллигентными физиономиями. Они любезно и вежливо, похлебывая кофе, отвечали на все мои вопросы, но сами не задали ни одного. Я им был почему-то не интересен. Представляю, как оживилась бы столо-

вая нашего университета, если бы туда зашел и подсел к чьему бы то ни было столику пусть самый обыкновенный американский парень, я не говорю уже о журналисте или писателе. Какой завернулся бы спор, сколько пододвинуто было бы стульев. Ничего подобного здесь не произошло. Ребятам просто было скучно, несмотря на всяческие подстегивания профессора Мэтьюсона, пытавшегося их растормошить. Мне кажется, что оба они даже с облегчением вздохнули, когда мы стали прощаться.

Почему так произошло? Не знаю. Я ведь был первым советским человеком, которого увидели эти два молодых американских студента. На какую-то долю секунды в самом начале встречи зажегся в их глазах огонек любопытства и сразу погас. А вот мальчишки в поезде Буффало — Нью-Йорк всем интересовались и задавали тысячи вопросов [1].

В фильме «Америка глазами французов» (люди, знающие Америку, говорят, что там многое правдиво схвачено) показана различная американская молодежь: и пляжно-рок-н-ролльная, и пьяно-карнавальная, и веселые солдаты на ковбойских состязаниях уголовников, и будущие отцы семейства, проходящие на куклах курс ухода за детьми, и красивые мальчики и девочки, живущие с того, что снимаются для журнальных обложек и реклам, и юные преступники с мрачными лицами, кото-

---

[1] В письме из Америки от студента Йелльского университета В. Гулда мне приятно было прочитать следующее: «Результаты вашего посещения Колумбийского университета так же обидны нам, как и вам, и я хотел бы от имени всех студентов, изучающих русский в нашей стране, сердечно просить за это вашего прощения». В том же характере написано и письмо студентки славянского отделения Колумбийского университета Эмилии Толл.

рых уводят за решетку... В Гринвич-виллидж (нью-йоркский Монмартр) я тоже видел «веселящуюся» молодежь. Один размалеванный во все цвета радуги пьяный парень ходил взад и вперед по тротуару и все кричал о том, что ему наплевать, кто будет сидеть в Белом доме — Кеннеди или Никсон, куда важнее, кто находится сейчас в Кремле?! Все это есть, я знаю, и, вероятно, даже значительно больше, чем это показано в фильме, но как-то не хочется верить, что нет другого. Конечно, есть, наверное, есть, но я, увы, не столкнулся. Поэтому я так жалею, что не встретился с теми студентами, которые меня пригласили и которых я не смог обнаружить. Кто в этом виноват? «Американ экспресс», профессор Мэтьюсон, студенты, я сам? Не знаю. Во всяком случае, мне кажется, не я...

По этому случаю судить, конечно, трудно, но за две недели, что я пробыл в Америке, я не сдружился, не сблизился ни с одним американцем. Не то что в Италии с итальянцами. Мой «итальянский блокнот» заполнен адресами, в «американском» — два-три случайных телефона. И это при американской общительности и простоте в отношениях.

Что поделаешь, придется об американцах, их вкусах, стремлениях, симпатиях говорить косвенно, опираясь на то, что мне было более доступно. Портрет получится не очень точный, не очень ясный, как бы освещенный отраженным светом, но другого выхода у меня нет.

Одним из таких «отражений» является, безусловно, искусство.

Очень ошибаются те, кто думает, что абстрактное и вообще так называемое «левое» искусство в Америке в почете. Ничуть не бывало. Правда, на нью-йоркском

аэродроме Айдл-уайлд с потолка вестибюля свешивается и медленно вращается некая многолопастная конструкция, считающаяся скульптурой (кстати, сама по себе она мне очень понравилась, в ней есть что-то птеродактильно-геликоптерное, иными словами — авиационное), есть в Нью-Йорке и специальный музей наиновейшего, наилевейшего искусства, Музей Соломона Р. Гуггенхейма на 5-й авеню, есть в Америке и богатые коллекционеры, не жалеющие денег на покупку всякого рода сверхлевых ухищрений, но в массе своей американец не любит такого искусства, он любит искусство «похожее».

Я, например, очень люблю польский плакат. Мне кажется, что в этой области поляки нашли свой собственный, очень выразительный и не похожий на другие язык. Польский плакат при всех качествах, необходимых плакату,— броскости, запоминаемости, лаконичности — прежде всего произведение искусства. В польском плакате нет назидательности и риторики (чем, увы, часто грешим мы в своих плакатах) — он образен и поэтичен. Вспомните хотя бы плакаты шопеновского конкурса или знаменитый антивоенный плакат «Nie!» — три элемента: бомба, руины и краткое, выразительное слово — нет! В Америке такой плакат не прошел бы. Американский плакат предельно натуралистичен, фотографичен. Обложки журналов, книг тоже. На стенах небоскребов, у входа в кино, по бокам автострад, везде — громадные красавицы, красавцы, ковбои, гангстеры, улыбающиеся или неулыбающиеся физиономии, и все это очень добротно, старательно и, главное, сделано страшно «похоже». Условности никакой.

Я говорю сейчас о самом утилитарном виде искусства, потому что он самый доходчивый и больше всего сви-

детельствует о «широких» вкусах. Но если говорить о «большом» искусстве, то и в нем мы сталкиваемся в большинстве своем с тем же. Очень характерен, к примеру, тот самый памятник морской пехоте, о котором я уже говорил. Его фотографичность, всамделишность усугубляется еще тем, что само водружаемое знамя не бронзовое, а самый что ни на есть матерчатый, развевающийся по ветру американский «старз энд страйпс» — звезды и полосы.

Да, памятник этот вызывает определенные эмоции, даже сильные, я об этом уже говорил, но я остерегся бы назвать его произведением искусства. В этом памятнике есть рассказ о некоем волнующем событии, но в нем начисто отсутствует образ, а без образа, как известно, искусству, особенно изобразительному, трудновато. (Кстати, по-украински «изобразительное» — «образотворче», что, по-моему, очень точно.)

Образ... Как часто мы о нем говорим и как часто забываем, что без него искусства нет. Мертвая и живая вода. Мертвая только склеивала разрубленное тело, живая вселяла в него душу, жизнь. Памятник морякам — мертвая вода. А вот памятник разрушенному Роттердаму — живая. Многие москвичи помнят экспонировавшуюся в 1961 году на французской выставке в Москве его бронзовую копию (оригинал работы выдающегося французского скульптора Цадкина стоит в Роттердаме). Большинство посетителей возмущались скульптурой, издевались над ней, в лучшем случае пожимали плечами: «Что это — человек или кусок рваного железа?», «И почему у него в животе дырка?», «А где лицо?», «Нет, это не искусство, это черт знает что!» Мне больно было слушать. Больно, потому что роттердамский памятник,

памятник варварски уничтоженному городу и тысячам погибших людей, тщетно взывающих к справедливости, памятник этот — страшный, кричащий — произведение большого, настоящего искусства, это живая вода.

Живая и мертвая вода...

Недалеко друг от друга, по обе стороны Арбатской площади, стоят два памятника. Оба Гоголю. Один работы Андреева, другой — Томского. В свое время самодовольный, напыщенный Гоголь Томского прогнал вместе с пьедесталом андреевского Гоголя и встал на его место. И стоит до сих пор. Не знаю, как другие, но я всегда обхожу его, пересекаю Арбатскую площадь с другой стороны. А если есть время, обязательно захожу в маленький дворик на Никитском бульваре, где рядом с домом, в котором он умер, сидит в раздумье, накинув шинель на плечи, не «мертвый», а «живой» Гоголь. Это один из прекраснейших памятников в мире. Я прошу читателя не полениться зайти в этот дворик и обойти памятник по полукружию, от правого плеча Гоголя к левому. И вы увидите нечто совершенно необычайное. Вглядитесь в его профиль, в его лицо — перед вами Гоголь «Вечеров на хуторе близ Диканьки» — мягкий, чуть иронический. Двигайтесь по полукружию — на ваших глазах он меняется. С последней точки это уже Гоголь сомнений, мистики, сожженных «Мертвых душ»... Подобной трансформации я не видел нигде и никогда.

Андреевский Гоголь был изгнан. Теперь он нашел свое место, может быть, даже лучшее, чем было. И здесь мне хочется заступиться еще за один памятник, тоже изгнанный, но до сих пор так и не нашедший своего места. Снятый с пьедестала, вот уж сколько лет он стоит во дворе Русского музея в Ленинграде, и никто его не

видит, а молодежь просто даже и не знает о его существовании. Речь идет об Александре III Паоло Трубецкого. Без преувеличения этот памятник можно назвать в своем роде уникальным. Я не знаю другого равного ему по силе обличения. В грузной, торжественно-самодовольной фигуре царя-миротворца, восседающего на массивном, расставившем ноги битюге,— все бесправие самодержавной России. Когда-то, когда памятник еще стоял на площади Восстания перед Московским вокзалом, на пьедестале высечены были слова Демьяна Бедного:

Мой сын и мой отец при жизни казнены,
А я пожал удел посмертного бесславья.
Торчу здесь пугалом чугунным для страны,
Навеки сбросившей ярмо самодержавья.

Так этот памятник и назывался — Пугало. Зачем его сняли? Кому это пришло в голову? К слову сказать, открытие его в 1909 году вызвало скандал. Царские сановники, да и сам Николай II отнеслись к нему как к злой карикатуре, сатире. Почему же мы сейчас не хотим понять, что это не возвеличение, а обличение?

В отдельном зале Национальной галереи в Вашингтоне висит картина, называющаяся «Тайная вечеря». Автор ее Сальватор Дали. Перед ней всегда много народу. Не многие картины удостоились такой чести — висеть в отдельном зале.

Сальватор Дали — один из знаменитейших художников Запада. Он испанец, но вот уж более двадцати лет живет и более чем процветает в Соединенных Штатах. Поэтому, хотя я и остерегаюсь причислить его к амери-

канским художникам, мне хочется сказать о нем несколько слов.

Сальватор Дали — сюрреалист. Течение это не новое, ему никак не меньше сорока лет. Наиболее известные представители его Андре Бретон (его называют «папой сюрреализма»), Ганс Арп, Макс Эрнст, Андре Массон, Ив Танги, Рене Магритт. Но конечно же самый знаменитый, самый сенсационный, самый шумный, самый экстравагантный — это Сальватор Дали. Ему под шестьдесят, но он полон энергии. У него эффектнейшие колючие, почти как у Вильгельма II, усы, известные всему миру, так как Дали очень любит фотографироваться. Он охотно дает интервью, считает себя философом и даже написал две книги: «Тайная жизнь Сальватора Дали» и «50 секретов магического искусства». Он любит сенсации и всякого рода сногсшибательные проделки. Не помню уже точно, да это не так уж и важно, но где-то в Италии на каком-то им самим поставленном спектакле он сидел в ложе и раздувал по залу золотой порошок. Во время работы он носит на носу бумажку, так как нос ему мешает, мол, работать. На какой-то из своих выставок в Нью-Йорке он поставил в витрину ванну, обшитую изнутри шерстью, в которой лежала красавица, потом влез в витрину, перевернул ванну и разбил витрину...

Но все это так, к слову. Просто я поддался на удочку американских газет, столь падких до сенсаций и всяческого рода чудачеств различных знаменитостей. Если же говорить серьезно, то Дали — художник, наделенный изощреннейшей фантазией, превосходный рисовальщик, и, глядя на его работы, видишь, сколько труда в них заложено. Это не тяп-ляп, не «Заход солнца на Адриатическом море» знаменитого осла.

Если верить Большой советской энциклопедии (см. том 41, статья «Сюрреализм»), то «известный представитель сюрреализма — живописец Сальватор Дали пишет картины, восхваляющие атомную войну». Сказано кратко, выразительно, но, к сожалению, не совсем соответствует истине. Никакую войну Дали, конечно, не восхваляет, и вообще он ничего не восхваляет и не осуждает. Сальватор Дали, как и весь сюрреализм,— явление гораздо более сложное, хотя и вполне закономерное в буржуазном искусстве, в явлениях его деградации.

Я не собираюсь подробно разбираться в сущности этого явления, прародителем которого является безусловно Фрейд с его культом подсознательного. Хочется разобраться в другом: почему музеи и выставки с абстрактным искусством почти пусты, а перед картинами Дали всегда толпы?

Для иллюстрации постараюсь рассказать (если можно так выразиться) одну из картин Дали, которая называется «За секунду до пробуждения от жужжания пчелы, летающей вокруг граната». Уже одно название привлекательно, не правда ли? А содержание еще более завлекательно. Над какой-то плоской скалой, напоминающей остров, спит, закинув руки за голову, парящая в воздухе прекрасная обнаженная женщина. Рядом с ней тоже парит в воздухе плод граната. Вокруг граната вьется пчела. Над женщиной нависла скала. Но это не самое страшное. Над морем или пустыней, раскинувшейся вокруг спящей женщины, опять-таки парит в воздухе другой, большой уже плод граната, надкушенный, теряющий зерна. Из этого плода вырывается страшная рыба с разверстой пастью. Из ее пасти выскакивает не менее страшный, громадный зубастый тигр, из пасти которого

в свою очередь выскакивает другой тигр, поменьше. Сейчас они оба вонзят свои когти в тело прекрасной женщины. Но и это не все. Из пасти тигра, что поменьше, вылетает ружье со штыком, и через секунду штык вонзится в закинутую за голову руку красавицы. А сзади, на горизонте, шествует слон на длинных, суставчатых, как у насекомого, ногах. На спине слона обелиск.

Бред? Да, бред... Но к этому-то и стремится художник. Его мир — это мир кошмаров, галлюцинаций, подсознательного, иррационального. Страшно, непонятно, но, ей-богу же, занятно. Как всякий аттракцион. Зритель толпится: «Смотри, смотри, какая рыбища... А тигр, тигр, совсем как живой... А почему слон на таких ногах?.. И что все это значит?» Должен признаться, мне тоже было интересно, мне тоже хотелось разгадать, «что хотел сказать автор своим произведением». Головоломка, кроссворд... Но от них иной раз не хочется оторваться, хотя и понимаешь, что попусту тратишь время.

Сочетание внешней «похожести» (тигр действительно как живой) с иррациональностью содержания привлекает зрителя. Наши туристы, в том числе и я, на последние центы скупили в Национальной галерее чуть ли не все открытки с «Тайной вечерей», картиной, о которой в проспекте сказано, что в ней Дали «воссоздает существо XX века формами и линиями классических традиций католицизма, частично Ренессанса, частично барокко, с оттенками испанского реализма». Иди пойми, что это значит (на картине двенадцать склонивших головы над столом апостолов, посредине Христос с головой Гали — жены художника, над всем распростертые руки, и все это заключено в некий тающий в воздухе октаэдр) — иди пойми, все похоже и непонятно, а в общем...

— Дайте мне еще парочку открыток...

О Сальваторе Дали написано много, очень много. Параноя, галлюцинация, автоэротика, автосодомия, психосексуальность, внутриатомное равновесие, астральное сублимирование и еще не менее чем двумя-тремя десятками таких же страшных слов оперируют авторы этих трудов. И все это говорится вполне серьезно.

Повторяю: множество картин Дали просто поражает своим техническим мастерством, своей необузданной фантазией, но когда под все это подводится какая-то претендующая на научность база, когда говорится, что Дали, «проштудировав и отвергнув труды Маркса и Розенберга, пришел к реактуализации католических, европейских и средиземноморских традиций, которые материализуются в колоннадах Бернини, в распахнутых объятиях (распростертых руках) Запада, руках святого Петра в Риме, в Ватикане», когда все это читаешь,— то, откровенно говоря, становится страшно. Тупик...

Глядя на картины Дали в Национальной галерее, на толпы стоящих перед ними людей, я невольно вспомнил такие же толпы перед некоторыми картинами на наших выставках. В них тоже все было похоже и непохоже. Дали убежал от действительности в сновидения, в кошмар, в сюрреализм, кое-кто из наших художников столь же стремительно бежал в другую сторону — в сторону старательно отутюженной, ландринно-ликующей антидействительности, антиреализма.

К счастью, это в какой-то степени уже позади. Но иногда, пробегая по той или иной станции метро или попадая на Сельхозвыставку, невольно вздрагиваешь при виде того, что так недавно еще считалось столбовой дорогой

и что, выбирая наиболее мягкое выражение, назовем тоже сновидением...

Почему, заговорив об американском искусстве, я начал с Сальватора Дали? Разве он так уж характерен для Америки? Неужели нет там ничего и никого другого, кто с большим основанием мог бы представить искусство Соединенных Штатов?

Отвечу. Да, характерен. Впрочем, не так для самой Америки (просто он там живет), как вообще для современного искусства Запада. Сюрреализм как некое явление, отвлекающее от действительности и в то же время эпатирующее, вполне закономерен для буржуазного искусства XX века. Но если говорить об искусстве народа, в частности американского, то конечно же Дали не может его представить. Не может, потому что в основе своей он антинароден.

Об американском искусстве можно рассказать много интересного — о творчестве индейцев, о примитивах XVIII и XIX веков, об очень своеобразных надгробиях Новой Англии, о таких художниках прошлого века, как пейзажист Альберт Блэклок и маринист Альберт П. Ридер, о выдающемся современном рисовальщике и акварелисте Эндрю Уите, наконец, об очень известном у нас Рокуэлле Кенте или совсем неизвестном, но очень знаменитом у себя на родине Бен Шаане, о своеобразных поисках американских графиков и скульпторов в области государственной графики — почтовые марки и монеты. Но как это ни интересно и ни увлекательно, говорить об этом мы не будем — не хватит ни времени, ни места. А вот о Грэнд-ма Мозес, о бабушке Мозес не рассказать я не могу.

В один из дней 1960 года, когда в Нью-Йорке торже-

ственно перерезалась ленточка на выставке ее работ (первой в ее жизни!), бабушке Мозес минуло 100 лет... Картин было не много, а народу — толпа. Бабушка все поражалась: «Почему столько людей? Чего они здесь не видели?» Она искренне удивлялась своему успеху. Всю свою жизнь она прожила у себя на ферме, занималась хозяйством, детьми, в свободное время вышивала подушечки, наволочки, салфетки. Вышивала и дарила друзьям. Годам к восьмидесяти руки стали уже не такими проворными, вышивать стало трудно, вот и занялась живописью — опять-таки для себя, для друзей. И вот вдруг выставка, все ахают, поздравляют... Ничего не понять.

Через год после выставки в Нью-Йорке, в 1961 году, бабушка Мозес умерла. А выставка картин ее начала свое триумфальное шествие по миру. Добралась она и до Москвы. Летом 1964 года москвичи имели возможность в одном из залов Пушкинского музея познакомиться с этим большим и самобытным талантом.

Картины бабушки Мозес — это небольшие рассказы. Очень подробные, неторопливые, обстоятельные. Это вся ее жизнь — детство, юность, зрелость, преклонные годы. Это ее ферма — она провела тут почти всю свою жизнь,— это холмы, леса, ручей, старая мельница. Зима, лето, осень, весна. События ее жизни маленькие и большие. Ловля индюшек перед рождеством. Так картина и называется. Свадьба. Рождественская ночь. Бабушка едет в Нью-Йорк... От этой картины невозможно оторваться. Бабушка собралась в Нью-Йорк, и вся ферма, все ее обитатели только этим сейчас и живут. Это большое событие. Не так часто бабушка совершает такие путешествия, и не очень-то она их любит. Трясись в ма-

шине, в стареньком фордике, а она привыкла к покойным экипажам. Вот ее поднимают с кресла и сейчас поведут. Несут корзины, провизию, какие-то баулы, чемоданы. Что-то забыли, за чем-то бегут, догоняют. Собаки лают, кошки взбираются на дерево, распустив хвосты, коровы мычат, дети прыгают и кричат, всем мешают... А дорога длинная и, вероятно, опасная, и Нью-Йорк такой шумный, такой бестолковый, так не хочется туда ехать, а надо... Долго, очень долго будут еще вспоминать этот день, а потом другая уже бабушка о нем нам расскажет, и нам почему-то будет интересно.

А интересно нам будет потому, что все это рассказано с такой любовью, с такой подкупающей искренностью, с такими милыми, трогательными подробностями, а главное — таким, видно, хорошим, добрым человеком. Да, это главное.

В какой манере все это сделано? Трудно сказать. Есть что-то и от американских примитивов начала прошлого века, и от Руссо, и от Пиросманишвили, есть много детского, наивного, а в целом ни на что это не похоже — все очень собственное, личное, свое, рассказанное человеком, художником, прожившим очень длинную и несуетливую жизнь вдали от города, шума, страстей, мировых трагедий.

Идиллия? — скажут мне. Отрыв от жизни, ее забот, трудностей, замыкание в собственную скорлупу? Нет! — скажу я. Любовь к жизни! Любовь к жизни и умение почеловечески о ней рассказать.

И все же не живопись, не изобразительное искусство — искусство Америки. Искусство Америки — это архитектура. Точнее — строительный гений.

Но здесь я хочу немного отвлечься.

Современная архитектура бесспорно переживает серьезный кризис. И западная и наша. Наша — благодаря крутому перелому после почти тридцатилетнего «культа излишеств», западная — в силу причин, в которых и хочется разобраться.

Для меня до сих пор остается загадкой творческий путь Ле Корбюзье — архитектора № 1, как назвал его молодой, симпатичный и пылкий итальянский архитектор пока еще без номера, с которым мы спорили в Риме о путях развития современной архитектуры. Мне почему-то кажется, что творчество Ле Корбюзье последних лет — яркое свидетельство того кризиса, который переживает сейчас архитектура Запада.

Лет двадцать — тридцать тому назад архитектура и инженерия жили мирно и дружно, держась за руки, помогая друг другу. Сейчас появилась какая-то трещина. И с каждым днем она становится все шире и шире. Впечатление такое, что архитектура (говорю, конечно, условно — иными словами, идейное начало) вдруг обиделась на инженерию. Ты, мол, подрезаешь мне крылья, хочу на простор... И вот получается капелла Роншан.

Я уже писал о ней. Она прогремела на весь мир. Появление ее оказалось событием в современной архитектуре. Капеллу причислили к «лику святых». Во Франции она считается сейчас памятником архитектуры, подобно Реймскому собору или замкам Луары.

Я пытаюсь вникнуть в эту капеллу. (Я сознательно отбрасываю сейчас основное — почему мастер, в период своего расцвета говоривший: «Какое мне дело до церквей: проблемы архитектуры в другом — в строитель-

стве городов!» — почему на склоне лет он занялся вдруг церковной архитектурой?) Капеллу видно издалека — белую среди живописной зелени предгорий Вогез. Она стоит на месте своей погибшей во время войны предшественницы. Описать ее невозможно. Могу сказать только одно — она не похожа ни на что из того, что когда-либо строилось человеком. В самых грубых выражениях — это темная подушка, лежащая на изогнутых, наклонных белых стенах. И белая обтекаемая колокольня. И еще две поменьше, стоящие друг к другу спиной.

Попытаемся разобраться отдельно в образе, отдельно в структуре. Начнем со структуры. Стены сделаны из камня. Они оштукатурены белой, очень грубой, шероховатой штукатуркой и снаружи и изнутри. Несущие железобетонные конструкции тоже оштукатурены, как и стены. Строительный материал — разный — скрыт общей декорацией, штукатуркой. (Кстати, на главной колокольне она вся в потеках от дождей — в свое время Корбюзье такого не допустил бы.) Перекрытие капеллы железобетонное, не оштукатурено — следы от опалубки сознательно оставлены (между прочим, это сейчас очень модно на Западе). Все это, очевидно, для контраста — от былых принципов конструктивизма (ничего не скрывать, все говорит само за себя) не осталось и следа. Очевидно, принципы сейчас уже другие. И в основе их нечто новое, то, что раньше отрицалось,— образ.

И вот тут-то самое сложное. Перед нами безусловно образ иррационального. Возможно, даже мистического. Логика архитектурной конструкции, формы отвергнута. Вместо нее алогичность иррационального, экспрессивного, неразгаданного. Не спрашивай, не спрашивай, воспринимай так, как оно есть. Вот и все.

Люди, побывавшие внутри капеллы, говорят, что впечатление очень сильное. Потолок темный, изогнутый. Стены то вертикальные, то наклонные, то мягко изгибаются. В той, что наклонна, десятка два отверстий — амбразур (их трудно назвать окнами), прямоугольных, очень глубоких, различных размеров, разбросанных без всякой системы. Прорывающиеся сквозь них лучи солнца, по-видимому, создают большой эффект. В амбразурах стекла прозрачные, но есть и разноцветные, что должно приближать капеллу к древней романской и готической архитектуре. Нет, очевидно, не так — очевидно, вызывать у молящихся эмоции, сходные с теми, которые вызывала архитектура и витражи готики...

Вот что писал сам Корбюзье о капелле: «Свобода: Роншан. Архитектура полностью свободная. Никакой задачи, кроме как служение мессе — одному из древнейших человеческих установлений. Единственный, кто здесь присутствует,— это пейзаж, четыре стороны горизонта. Это они командуют. Истинное явление зримой акустики. «Зримая акустика, явление, вводящее в область формы»: формы создают шум и тишину: одни говорят, другие слушают».

Что все это значит? Истинная свобода... Служение мессе... Зримая акустика... Шум и тишина... Что это значит? Опять уход от действительности? Опять иррациональное? Новая теория?

Оказывается, нет. Капелла строилась пять лет — с 1950 до 1955. В это же время и позже по проектам Корбюзье возводился знаменитый правительственный ансамбль в столице Пенджаба Чандигархе, строились виллы в Ахмедабаде, жилые дома в Нейи-Сюр-Сен и Нант-Рэзэ, корпус Бразилии в Университетском городке

в Париже, Музей в Токио. И все это на других, более близких «старому» Корбюзье принципах. Даже в законченном в 1959 году доминиканском монастыре в ля Турет, возле Лиона, Корбюзье очень бережно отнесся к форме, может быть, даже слишком. А ведь там тоже служат мессы...

Я жалею об одном. Корбюзье рвался к большему, к строительству городов, к «Лучезарному городу», как назвал он то, что ему так и не удалось осуществить. Он рвался к нам. И тут я не могу не привести несколько строк из тех писем Корбюзье, о которых я уже писал в своей предыдущей книге,— писем, присланных нам, студентам-архитекторам, в 1932 году. Речь идет о конкурсе на Дворец Советов, который отметил премиями Иофана, Жолтовского и американца Гамильтона, обойдя Корбюзье. Вот что он писал:

«Дворец Советов должен быть венцом пятилетнего плана, должен быть возвеличением архитектурных принципов нового строя, который вдохновил этот пятилетний план... Правительство СССР заказало мне проект. Программа требовала учета всех достижений современной техники. В течение трех месяцев пятнадцать проектировщиков были заняты анатомическим анализом проекта. В нашей мастерской царил всеобщий энтузиазм. Самые тонкие и мелкие детали страстно изучались. При каждом новом открытии, при каждом новом решении то тот, то другой проектировщик восклицал: «Они будут довольны в Москве!» Мы все думали, что проект будет рассмотрен с точки зрения его технических качеств, на почве строительной и архитектурной реальности. Основой нашего проекта были: график движения, хорошая видимость, акустика, вентиляция, статика сооружения.

И вот вынесено решение. Ничто из этого не принято во внимание. Премированы эскизы фасадов, академические купола... Даже жюри в своем решении признало, что премированные проекты не дают никаких указаний о способе перекрытия залов, акустике, отоплении, вентиляции!!!

Разочарование у наших пятнадцати проектировщиков было невообразимое — возмущение и раздражение».

И из другого письма:

«Я очень доволен, что планы Дворца поручены моим друзьям Весниным, но я хотел бы лично работать над теми моментами, в которых чувствую себя вполне уверенным... Я считаю за собой известные права на это сотрудничество, так как наш проект, конечно, является одним из самых серьезных среди представленных».

И, наконец, последние, самые горькие строки:

«Мне много раз предлагали составлять планы для городов СССР, но это оставалось только разговорами. Я этим очень огорчен, так как чувствую, что обладаю сейчас истинами, которыми я хотел бы поделиться с другими. Я так глубоко оценил основные социальные истины, что мне первому удалось создать, вполне естественно, великий город без классов, гармоничный и улыбающийся. Иногда я огорчаюсь, видя, что в СССР со мной борются по поводам, которые мне не кажутся достаточными».

Возможно, Корбюзье несколько и преувеличивал, считая, что ему уже удалось создать бесклассовый город, но так или иначе мы не привлекли его, не привлекли очень большого мастера. И это очень жаль.

Разрушение формы, уход в иррациональное — не еди-

ничное явление в современной западной архитектуре. Очень характерен в этом отношении Джованни Микелуччи — известный итальянский архитектор, автор многих зданий, построенных в тридцатых годах, в том числе и флорентийского вокзала, о котором в свое время много писали. Все эти здания выдержаны в более или менее обычных формах рационально-конструктивистской архитектуры, свойственной тем годам. Сейчас Микелуччи сделал проект двух церквей (любопытно, что в наши дни церковники дают наибольшую свободу архитекторам) — Санта-Мария и Австострада-дель-Соль.

Я смотрю сейчас на фотографии эскизов этих церквей, макетов, сделанных из глины, и опять-таки не нахожу слов. Ищу чего-то, с чем можно было бы сравнить, и не нахожу. Скорее всего, это похоже на то, что дети лепят из мокрого песка на пляже. Что-то расплывчатое, расползающееся, иногда очень привлекательное, вроде средневекового замка или торта, а в общем непонятное. А может, церкви так и надо строить? Что ж, пусть строят. Жаль только, что на это тратят время (только ли время?) люди, которые могли бы заняться куда более полезным делом.

Все это довольно длинное отступление я сделал специально для того, чтобы подготовить свой разговор об архитектуре Америки.

Мне не раз задавали вопрос: нравится ли она мне? Да, нравится, отвечал я. И сейчас отвечаю: нравится. Я вижу несколько удивленный взгляд. Как? Американцы сами не знают, как выбраться из того, что они нагромоздили. Если уж говорить о тупике, так вот где тупик: транс-

портная проблема неразрешима, воздуха нет, солнца нет, надземная железная дорога в Чикаго может свести с ума человека с любыми нервами, небоскребы хороши только на открытках и нравятся разве что туристам...

Все это так, и все же...

Мы бродили с товарищем по берегу озера Мичиган в Чикаго. Вечером еще шел снег пополам с дождем, город тонул в красно-желтом от реклам тумане, блестел мокрым асфальтом, а сейчас распогодилось, светило солнце, и озеро, большое как море, тихо набегало плоскими волнами на широченный, пустынный, холодный пляж. Кругом удивительно, неправдоподобно пусто. Проносятся машины — низкие, широкие, бесшумные,— а людей нет. Мы одни на этой бескрайней набережной. Чикагцу здесь нечего делать, сейчас не лето, пляж закрыт. (А какой пляж! В Ялте бы такой...) И эта пустынность, безлюдье, эта почти идиллическая тишина создает возможность посмотреть на город — самый американский из всех городов, даже более американский, чем Нью-Йорк, — посмотреть на него со стороны, не суетясь, никуда не торопясь, присев на парапет, покуривая сигарету, лениво перебрасываясь фразами.

С одной стороны озеро — четвертое в мире по величине озеро, если не считать Аральского моря,— поднялся ветер, и оно покрылось сейчас барашками, с другой стороны фронт небоскребов Золотого берега, фешенебельнейшего района Чикаго. И среди них два черных стройных небоскреба. Я их знаю по фотографиям. Они знаменитости, их строил один из прославленнейших архитекторов Америки — Мис Ван дер Роэ. Красиво! Ей-богу, красиво. Город!..

Потом мы идем через мост, под ним десятки желез-

нодорожных путей, движутся какие-то составы, товарные, пассажирские, мигают светофоры, а по мосту беззвучно несутся машины, и двое рабочих в люльках вкручивают лампочки в букву «о» гигантской «кока-колы» (зря мы над ним посмеиваемся: вкусный, действительно освежающий напиток). Перед нами новая панорама — небоскребы Мичиган-авеню. На два километра вытянулись в ряд. И во главе их недавно построенный Пруденшиал-билдинг. Он сейчас весь горит — невысокое ноябрьское солнце отражается во всех окнах его сорока с лишним этажей. Идем вдоль набережной и, свернув на Мэдисон-стрит, попадаем в самый центр, в Луп, в петлю (loop — по-английски «петля», и в этом месте надземная железная дорога «elevation» действительно образует петлю).

Рекламы все горят, круглосуточно горят, здесь всегда полумрак, сияют витрины, в них что-то блестит, переливается, на углу, у лестницы в надземку, лежит кипа газет с результатами президентских выборов, и прохожие на ходу берут их, положив в специальную баночку пять центов, а над головой уходят куда-то ввысь серые небоскребы, и с этого на тот когда-то, лет сорок тому назад, перепрыгивал Гарольд Ллойд...

Город... Гигантский город. Крупнейший узел железных дорог. Тысяча семьсот поездов в день! Второй город Америки. Знаменитые скотобойни, консервы, чугун, сталь. Город, где зародилась американская компартия. Город, которому мы обязаны 1 Мая, после расстрела демонстрации 1886 года. Город, в котором сто тридцать лет тому назад было четыре тысячи жителей, а сейчас пять с половиной миллионов. Город, сгоревший в семьдесят первом году почти дотла и до сих пор бе-

режно хранящий наружные пожарные лестницы на всех небоскребах. Город финансистов, магнатов, клерков, рабочих. Город... Гигантский город.

А архитектура? При чем же тут архитектура? И что здесь может нравиться? Полумрак на улицах, пожарные лестницы?

Могу сказать: мне, городскому жителю, нравится подчеркнутая урбанистичность этих городов. Мне нравится небоскреб весь из стали и стекла, в котором отражаются бегущие по небу облака. Мне нравится, задравши голову, смотреть на его грань, точную как математическая формула. Мне нравится безалаберная сутолока небоскребов, уничтожающая регулярность улиц. Я говорю об облике города. Не о его трагедии — пыльно, жарко, тесно, задыхаешься от бензина, не о продуманности или случайности планировки и чистоте стиля его зданий, а именно об облике.

Я понимаю всю необходимость, всю значительность регулярной застройки Юго-Запада Москвы, но для меня Москва — это не Ломоносовский проспект, не проспект Вернадского (это уже другой город, вполне современный, со своим лицом, характером, но другой), для меня Москва — это путаница арбатских переулочков, в которую хорош он или плох, но уже врос, стал своим высотный дом на Смоленской, для меня это несуществующие сейчас Кречетниковский переулок и Собачья площадка, Дом Моссельпрома на Кисловском, на котором какой-то не в меру ретивый управдом замазал строки Маяковского. Для меня это Тверской бульвар с шахматистами-пенсионерами и роющейся в песке ребятней, гостиница «Москва» (хотя я помню еще Охотный ряд с церковью и рундуками), метро «Площадь революции» со своими

наивными, но такими милыми нашему сердцу, навевающими столько воспоминаний скульптурами парней и девушек, для меня это андреевский Гоголь, Василий Блаженный, Красная площадь.

Здесь я мысленно представляю себе некоего нью-йоркского старожила, вздыхающего: «Эх, Нью-Йорк, Нью-Йорк, я помню тебя, когда еще не было этой суеты, спешки и катились себе, не торопясь, по 5-й авеню прекрасные экипажи, а на Тайм-сквер ворковали голуби. И дом компании Зингер был самым высоким в мире. Теперь его и не найдешь среди этих стеклянных коробок. И трамваи ходили — за три цента весь Манхэттен, а сейчас спускайся в эти тесные, душные подземелья. Эх...»

Дело не в том, что было и что есть. Речь идет об облике города, о его неповторимости, его обаянии. Ленинградские каналы, белые ночи, Адмиралтейская игла и мрачные достоевско-добужинские дворы со штабелями дров неповторимы так же, как неповторима Москва поленовских двориков на фоне строительных кранов и панельных домов — нынешняя Москва! — как неповторимы днепровские кручи и медленно вползающий в гору своей булыгой Андреевский спуск в Киеве, как неповторимы одесские дворы с галереями и развешанным бельем. В этой неповторимости — лицо города, его обаяние, его душа.

Я видел много безликих городов в Америке, один, как другой, не отличишь: Буффало, Детройт, еще какие-то — все слилось вместе, но ни о Нью-Йорке, ни о Чикаго я этого не скажу. У них свое, может, чужое мне, но свое лицо, свое обаяние, своя душа.

Я шел как-то рано-рано утром по каким-то улицам

в районе гудзоновских доков. Тянулись бесконечные заборы складов с громадными надписями, совсем по-нашему свистели где-то маневренные паровозики, перебегали улицу ободранные, озирающиеся кошки, и вдруг, свернув в какую-то улицу, я увидел Эмпайрстэйт-билдинг... Он был еще окутан утренним туманом, но самые верхние этажи уже розовели от солнца, поблескивали окнами, и вокруг еще несколько громад, только поменьше, ждали, когда же солнце дойдет до них, а внизу, в ущельях, было прохладно и не растаяли еще предрассветные сумерки... Именно в это утро я понял красоту этого громадного противоречивого города, красоту его стекла и стали, красоту его архитектуры...

Принято считать, что архитектура Америки — это архитектура небоскребов. Это так и не так. Конечно же небоскреб придумали американцы, и они же добились той законченной конструктивно-эстетической формы, венцом которой являются Сиграм-билдинг в Нью-Йорке (Мис Ван дер Роэ) или Ливер-билдинг (Спидмор, Оуингс и Меррилл) — стеклянно-стальные параллелепипеды. Но небоскреб — только отдельный элемент архитектуры Америки или, точнее, как я уже говорил, американского строительного гения. Под этим понятием я подразумеваю не только размах строительной техники, но и умение слить воедино архитектуру с инженерией. Удивительной красоты и легкости мосты (через Золотой Рог в Сан-Франциско, например, или Джорджа Вашингтона в Нью-Йорке), пересекающиеся на разных уровнях эстакады и, я бы сказал даже, автострады, — стали сейчас одним из неотъемлемых элементов современного американского

пейзажа[1]. Все это, вместе взятое, и есть архитектура Америки — сумбурная и в то же время целенаправленная, подавляющая и завораживающая, математически точная и анархичная. В этом и есть ее сущность. И прелесть. И беда...

Но архитектура — это не только здания, архитектура — это люди, создающие ее. В Америке это в первую голову Франк Ллойд Райт, это Ричард Нейтра, Мис Ван дер Роэ, Ээро Сааринен, Аальто, Оскар Нимейер, наконец, Вальтер Гроппиус, с 1937 года живущий и работающий в США. Архитектурная мысль XX века обязана очень многим этим крупнейшим мастерам с мировыми именами. Я не буду утомлять читателя перечислением того, кто и что из них сделал (наиболее ярким событием последних лет было строительство столицы Бразилии — города Бразилиа по проекту Нимейера и Лучио Коста), мне хочется только сказать несколько слов об одном из крупнейших архитекторов конца XIX и первой половины XX века, Франке Ллойде Райте, умершем в 1959 году в возрасте девяноста лет.

Райт был американцем, но он не строил небоскребов. «Величайший архитектор мира», как его называют сейчас американцы, прославился именно тем, что был врагом небоскребов и создал свою собственную теорию «органичной архитектуры»[2].

---

[1] Франк Ллойд Райт писал: «Я предвижу, что дороги вскоре будут тоже архитектурой, потому что они в полной мере могут быть ею — великой архитектурой».

[2] За три года до смерти он все же не удержался и запроектировал небоскреб, так называемый «Иллинойс» для Чикаго,— 528 этажей, 1609 метров высотой. Есть планы и чертежи, но будет ли он осуществлен — пока неизвестно.

«Я требую от архитектуры,— писал он в одной из своих статей,— того же, что и от человека: искренности и внутренней правдивости, и только с этим связаны для меня все качества архитектуры». На практике это означало, что любое архитектурное сооружение должно не противопоставлять себя окружающему пейзажу, а, наоборот, вписываться в него, становиться его органической частью. Поэтому большинство зданий Райта, в основном виллы, построенные в равнинной местности (появился даже термин — «стиль прерий»), проектировались по горизонтали, подчиняясь рельефу местности и в то же время подчеркивая его. Строительный материал тоже использовался местный — дикий, рваный камень, очень хорошо контрастирующий с плоскостями стекла и вытянутыми по горизонтали железобетонными перекрытиями.

Франк Ллойд Райт много построил на своем веку — более семисот зданий, у него несколько сотен неосуществленных проектов. В творчестве его было много противоречивого, были и спады, были и взлеты, но в целом влияние его на мировую архитектуру и как практика и как теоретика огромно.

Последнее творение Райта, его лебединая песня — это Музей Соломона Р. Гуггенхейма в Нью-Йорке на 5-й авеню. Открыт он был в 1960 году.

Мы часто любим сравнивать непривычные для нашего глаза здания с чем-нибудь знакомым. Ростовский театр Щусева, например, считался похожим на трактор, какой-то еще там, не помню какой, на самолет. Музей Гуггенхейма не похож ни на что (хотя кое-кто из наших туристов говорил, что он напоминает пароход, другие — стиральную машину). Это громадная белая железобе-

тонная спираль, расширяющаяся кверху и покоящаяся на вытянутом горизонтальном объеме. Остальные объемы дополняют и подчеркивают основные. Громадная спираль и есть собственно музей. Вы подымаетесь на лифте на самый верх и оттуда по этой-то спирали — а она не что иное, как галерея с внутренним двором,— спускаетесь вниз. Длина ее тысяча двести метров. Более удобного — и для зрителя и для экспонатов,— более рационально устроенного музея я в своей жизни не встречал. Картины висят в один ряд, на уровне глаза. Собственно говоря, они даже не висят, а прикреплены к стене кронштейнами, что создает иллюзию их парения в воздухе на фоне белой стены. Много воздуха, много света (и естественного и искусственного, но они как-то очень ловко смешиваются), много зелени, есть даже бассейн с фонтанчиком.

Коллекция музея богата и разнообразна. Сезанн, Модильяни, Леже, Пикассо, Пауль Клее, Кандинский, Шагал, скульптуры Липшица, Бранкузи — одним словом, все самое интересное, что было на Западе с конца XIX века. И должен сказать, что слитность архитектуры и выставленных произведений искусства абсолютная. Картинам, скульптурам здесь легко и просторно. Они у себя дома.

Франк Ллойд Райт спел свою лебединую песню и умер. Но странно — песня эта не похожа на ту музыку, которую он создавал всю свою жизнь. Не будучи никогда конструктивистом, Райт пропел гимн конструктивизму. На углу 5-й авеню и 89-й стрит во второй половине XX века он возвел здание, под проектом которого охотно подписался бы сам Ле Корбюзье, не уйди он от того, что породил. Это прекрасное, умное здание, оно войдет во все учебники архитектуры, но это не Райт.

82-й номер (август 1962 года) итальянского журнала «L'Architettura» целиком посвящен двадцатипятилетнему юбилею — нет, не архитектора, а одного из его произведений — так называемого «Дома у водопада», «Fallingwater».

«Дом у водопада» — это вилла детройтского миллионера Эдгара Кауфмана, которому пришло в голову построить ее именно здесь, в Пенсильвании, в Бир Ран, у Медвежьего ручья, в этом лесу, над этим живописным водопадом. И построить ее должен был Франк Ллойд Райт. И Франк Ллойд Райт построил.

«План дома,— говорит Райт,— это образ жизни, а образ жизни всегда индивидуален». По образу жизни Кауфмана и построена эта великолепная вилла.

Лес, негустой, прозрачный, на взгорье. Ручей, скалы, камни, водопад. Над самым водопадом, нависая над ним своими террасами, вилла. И хотя, согласно теории «органичной архитектуры» Райта, «главное в архитектуре то, ради чего строится здание — его внутреннее пространство, но не оболочка этого пространства, то есть стены и крыша, и тем более не внешний вид здания», вилла эта, внешнему виду которой уделено значительное внимание, полностью отвечает другому тезису Райта: «Внутреннее пространство является частью единого пространства, природы, поэтому оно должно не замыкаться от внешнего пространства, но как можно больше связываться с ним». Этой связи, этого слияния Райту удалось достичь полностью. Вилла вросла в пейзаж, а может быть, выросла из него, она стала органической его частью. Скалы ручья и дикий камень стен, белые горизонтали террас и перерезающие их вертикали деревьев, покой комфорта и шум и брызги водопада — все это слилось в нечто единое

и проникло внутрь виллы, где тот же дикий камень (никакой штукатурки!), а стеклянные наружные стены-витражи как бы всасывают внутрь окружающий пейзаж. Все продумано до мельчайших деталей, вплоть до места для охапки дров у камина.

Как и Ле Корбюзье в свое время, Райт верил, что с помощью архитектуры (да еще, может быть, религии) можно осуществить переустройство общественной жизни. Всю жизнь он был бунтарем, критиковал американскую демократию, американский образ жизни, капиталистическую культуру, считал, что должен служить народу, стремился строить дешевые дома для рядовой американской семьи, но судьба сложилась иначе: он стал «модным» архитектором, строил роскошные виллы для миллионеров...

Райт критиковал капиталистическую систему («Наше благоденствие — фальшь»), на Первом съезде советских архитекторов говорил, что уносит с собой «впечатление громадных достижений и величайшую — какую когда-либо питал — надежду для человечества и будущей жизни на земле», а вернувшись из Москвы, сразу же отправился в Бир Ран, к Медвежьему ручью, на строительство своего маленького шедевра.

Я глубоко убежден, что и на этот раз мы упустили из рук возможность использовать знания и мастерство одного из крупнейших архитекторов мира. Более того, предложив ему сотрудничество, мы помогли бы ему осуществить его заветную мечту — строить для народа. Кауфман, возможно, превосходный человек, но все-таки обидно, когда талант такого мастера, как Райт, тратится на то, чтобы мистер Кауфман, удобно устроившись в шезлонге, сказал, пытаясь перекричать шум падающей воды: «А все-таки неплохую хату отгрохал нам старик Райт, а?»

Тот самый молодой пылкий итальянский архитектор без номера, о котором я уже упоминал, во время нашего спора об архитектуре сказал:

— В прошлом году я был в Москве. Многое мне там понравилось, но одного я никак не мог понять: зачем вам небоскребы? В Америке, даже у нас это понятно — дорого стоит земля. А вам зачем они? Для силуэта? Не дороговато ли он обходится?

Я ответил, что недешево и что архитектурно высотные здания представляют не бог весть какую ценность, но своеобразным памятником эпохи они все же являются, а архитектура, как известно, это «каменная летопись истории» и так далее в том же духе.

Каменная летопись истории... Теперь не каменная — железобетонная, стальная, сборная, каркасовая, панельная летопись века, общественной системы, строя.

В одном из тех писем, о которых я уже говорил, Ле Корбюзье писал: «СССР на расстоянии представляет зрелище интенсивной работы в области архитектуры, и весь мир склонен думать, что именно у вас рождается новая архитектура». Ле Корбюзье не преувеличивал — тридцать с лишним лет тому назад действительно было так. Мы были куда беднее, чем сейчас, и опыта у нас было маловато, но творческая мысль, как говорится, била ключом. Потом произошел перелом — конкурс на Дворец Советов, и на два с половиной десятка лет все пошло вспять. (Я хорошо помню те переломные годы: я даже получил «тройку» за свой диплом, не хотел отрекаться от конструктивизма.) Но годы эти, слава богу, уже позади. Все говорит о том, что мы входим в эпоху новых строительных материалов, новых конструкций, новых приемов, новой современной архитектуры.

Новая современная архитектура? Что же это такое?

Как-то «Литературная газета» заказала мне статью на «архитектурные темы». Статью я написал, попытался разобраться в каких-то теоретических вопросах, но она почему-то долго не выходила. Оказалось, что редакция собрала «архитектурную общественность» и вместе с ней обсуждала статью. Ее и хвалили и поругивали, в конце концов она вышла, но перед выходом одна из сотрудниц газеты мне сказала:

— Видите ли, в чем дело. Не подведем ли мы молодежь? Молодежь говорит: «Сейчас все изменилось, можно строить по-новому. Стоит ли заниматься теоретизированием? Конструктивизм, неконструктивизм, формализм, неформализм... Начнем копаться в «измах» и опять запутаемся. А нам строить хочется».

Я не уверен, что архитектурная молодежь именно так думает, может быть, только небольшая часть ее, но то, что с теорией у нас не очень благополучно, это более или менее очевидно. Впрочем, может быть, действительно с этим можно подождать? В конце концов разберемся, а сейчас важнее всего строить, строить, строить... И строим. Много строим. В иные районы Москвы приезжаешь и просто не узнаешь. Как будто недавно здесь был, а уже путаешься, не знаешь, как пройти к тому дому, к которому когда-то здесь проходил.

И все-таки хочется, чтоб строилось не только много и быстро, но и красиво.

Наше строительство во многом отличается от строительства Запада. Возможности стандартизации, массового изготовления строительных элементов заводским путем у нас неограниченны. В этом наша сила, но в этом же и сложность.

Как сочетать стандартизацию и красоту?

Живописность города — вопрос очень сложный. Один из красивейших, живописнейших городов мира — Прага, на зеленых холмах которой мирно уживаются готика, барокко и ультрасовременный дом из стекла и бетона, строилась столетиями. Случайность, незаданность архитектурного пейзажа Праги великолепна: от крыш и колоколен Старого Места и Малой Страны, когда смотришь на них с Градчанского холма, невозможно оторваться. Но нельзя же искусственно создавать случайность. Хорошо гористым городам, там сам рельеф помогает архитектору. А на ровном месте?

Римляне очень гордятся своими нынешними окраинами, где десятками возводятся новые жилые корпуса. Что ж, жить там, может быть, и удобно (я был в двух-трех квартирах, они действительно удобны и благоустроенны), но какая все-таки скука вокруг. Как утомительно однообразие...

Спасение, мне кажется, в одном. На помощь стандартизирующейся архитектуре должны прийти цвет, живопись, скульптура, зелень, малые формы. В этой области уже есть если и не очень большой, но все же заметный сдвиг. Монументально-декоративное искусство постепенно начинает дружить с архитектурой. Один из наиболее удачных примеров, на мой взгляд, новый киевский автовокзал (архитекторы А. Милецкий, И. Мельник, Э. Бельский, художники В. Мельниченко, А. Рыбачук). В нем найден свой прием — не банальный, свежий. Все три этажа вокзала, стены его и колонны — это мозаика. Черная, из глазированной керамической плитки стена, на ней цветные горизонтальные полосы — движение! — абрисы несущихся куда-то автомобилей. То тут, то там,

точно аппликация, маленькие панно сгрифитто — дорога, шоссе, городская улица с фонарями, мчащиеся тебе навстречу автомашины. Колонны облицованы мозаикой из зеленой майолики — тут тоже мелькнет вдруг автобус, неожиданно среди геометрических линий вырастает маленький каштан в цвету... Если вы попадете когда-нибудь на этот вокзал, зайдите еще в ресторан и взгляните на стены. А потом в детскую комнату, если вас пустят. Какие там милые и забавные рисуночки. И к занавескам на окнах тоже присмотритесь: они сделаны по специальному заказу. И зайдите в номера для приезжающих — ручаюсь, что вы отложите свой отъезд по крайней мере на сутки.

Возможно, я несколько захваливаю вокзал — строители его мои друзья,— но, ей-богу же, когда строят не только со знанием дела, но и с любовью (Ада Рыбачук и Володя Мельниченко ночами сами клеили мозаику на колоннах, а архитектор Милецкий до сих пор бегает на вокзал проверять, как стоят кресла в зале ожидания и не украли ли керамику в номерах, а ее тоже делали по специальному заказу) — при этих условиях трудно плохо построить. Энтузиастов в архитектуре хватает. К этому бы еще материал получше, подобротнее, и было бы чем хвастаться... А вот с теорией все-таки плоховато. Впрочем, существует Академия строительства и архитектуры, там есть специалисты, которые этим занимаются. Пожелаем же им успеха.

Был вечер. Мы стояли над Ниагарским водопадом. Он шумел и брызгался. С противоположного, канадского берега прожектора делали его то розовым, то зеленым,

то голубым, фиолетовым, белым. Было очень красиво, а в общем обидно. Водопад подчинили туристам, и он покорно, терпеливо выполнял свою работу. Невдалеке сиял огнями Ниагара-Фолс — безликий, скучный город все тех же туристов.

Мы собирались уже в гостиницу (предстоял еще визит в Буффало, к какому-то зубному врачу, это входило в расписание), когда к нам подошел высокий человек в пиджаке с поднятым воротником.

— Я почув руську мову,— сказал он.— Вы руські?

— Русские.

— А можна з вами побалакати? Я украінець. Деметр Корінець. Давно не чув руську мову...

Он вытащил пачку сигарет.

— Прошу.

Я вынул коробку «Запорожцев».

Он заулыбался.

— О, запорожці!

— Берите,— сказал я.

Он двумя пальцами попытался аккуратно вынуть одну папиросу.

— Нет, всю.

— Як всю?

— Так, всю.

— Всю коробку?

— Всю коробку.

Бог ты мой, как он обрадовался! Положил папиросу обратно, вынул носовой платок, завернул в него коробку и положил ее в боковой карман пиджака. Нет, курить он их сейчас не будет. Только в особых случаях. Будет хранить как память. Ведь это из Киева! Подумать только, па-

пиросы из Киева. Запорожцы! Ведь он тоже запорожец. Все украинцы запорожцы. Ну, не все, большинство...

Он проводил нас до гостиницы. Усиленно затягивал нас в бар. Посидим, потолкуем. Он вмиг сбегает домой, переоденется, он сейчас прямо с работы, не успел переодеться. Но в бар идти мы не могли, надо было ехать к зубному врачу. Как он жалел! Да и я жалел. Посидели бы, потолковали бы...

Я уже не помню, где он работал. Кажется, по торговой части. Работой недоволен. По ту сторону, в Канаде, лучше. А мы были в Канаде? Нет? Только поездом проезжали из Чикаго? Если мы хотим, он возьмет такси, и через три минуты мы будем в Канаде. Оттуда и вид на водопад красивее, и бары дешевле. Ну, подождет немного зубной врач, не умрет...

Но в Канаду нам ехать нельзя было — строго-настрого запретил Тадеуш Осипович.

Мы распрощались с Коринцем у входа в гостиницу. Ему ужасно не хотелось домой. Подумать только, за сорок лет впервые встретиться с человеком из Киева, из его любимого Киева. Он никогда там не был: он родился здесь, но он любит Киев, привет ему большой и уклін, низький уклін...

Мы расстались...

Русский за границей. Украинец за границей. В большинстве своем это трагедия...

В Нью-Йорке я встретился с женщиной, с которой когда-то был знаком. Последний раз мы виделись за несколько лет до войны, в 1938 или 1939 году. Во время

войны вместе с десятилетним сыном она пережила оккупацию. Муж был на фронте. Отступая, немцы угоняли местное население. Ее с сыном тоже загнали в эшелон. Где-то их разбомбили. Потеряли друг друга. Сын сложными путями пробрался домой. Мать исчезла.

И вот мы встретились с ней в Нью-Йорке. Оба не очень помолодели за эти годы и все же узнали друг друга. Мы сидели в Централ-парке. Она рассказывала о своих мытарствах. Почему она не вернулась домой? На этот вопрос всегда трудно ответить. Побоялась. Тогда, после войны, столько всякого говорили. Освободили ее американцы, вот и попала в Америку. О близких ничего не знала. Писала. Никто не ответил. Вероятно, уже другой адрес.

Она работает. Неплохо зарабатывает. И друзья здесь есть. Но она хочет домой. У нее там сын, внучка. Может, она им будет не в тягость. Будет нянчить внучку.

Я был у нее дома. На стенке фотография сына — совсем еще мальчик, а сейчас уже тридцать лет,— виды Киева, Владимирская горка, Днепр, все это вырезано из американских украинских журналов. Угостила меня борщом, настоящим украинским борщом.

Мы прощались в небольшом кафе в центре Нью-Йорка. Я торопился в гостиницу, меня уже ждали, через час отходил автобус на аэродром. Она писала письмо сыну. Никак не могла кончить. Все хотелось еще что-нибудь написать. «Сейчас, сейчас, одну минутку...»

Мы попрощались. Я спрятал конверт в карман и вышел на улицу. Обернулся, помахал рукой. Сквозь стек-

лянную дверь хорошо видна была внутренность кафе. Она сидела за столиком и плакала. Я на всю жизнь запомню этот ясный осенний вечер, маленькое нью-йоркское кафе, раскачивающуюся стеклянную дверь, столик и сидящую за ним плачущую женщину. Увижу ли я еще когда-нибудь ее? Увидит ли она своего сына?

Все это трагедия. А сколько их на белом свете... Людям, помнящим свою родину, особенно тяжело.

Как-то я получил письмо из города Перт, Западная Австралия. В нем лежало аккуратно отпечатанное приглашение на свадьбу одного молодого человека, которому, когда я видел его в последний раз, было года полтора. Потом пришло другое письмо — с фотографией улыбающихся молодоженов. Рядом с женихом его мать, дочь известного киевского художника, с которой в незапамятные времена я учился вместе в театральной студии.

Война разлучила дочь с родителями, разогнала в разные концы света. Родители сейчас в Киеве, дочь в Австралии. Пятнадцать лет никто друг о друге ничего не знал. И вдруг письмо. Письмо из южного полушария на старый киевский адрес, который чудом не изменился. «Не спрашивайте, почему не писала, все очень сложно. Пишу наугад, не знаю, живы ли вы». Что же послужило толчком к написанию этого письма? Через пятнадцать лет... Фантастическая история. Бывшая киевлянка, начинавшая постепенно уже забывать свой родной город, как-то, зайдя в книжный магазин города Перт (города, о существовании которого я, например, до самого недавнего времени не имел никакого понятия), обнаружила на полке... Нет, этому поверить нельзя: на полке стояла книга — мемуары ее отца, изданные в Киеве издательством «Мистецтво» в

1959 году... Она не верила своим глазам. На первой странице портрет отца, постаревшего, поседевшего, но отца, отца... И она написала письмо.

С тех пор исчез покой. Все мысли только о Киеве. «Пришли мне все, что только есть о Киеве. Открытки, альбомы, фотографии. Опиши, как выглядят сейчас улицы. Что изменилось за эти годы. Все, все, все опиши...» Одна мечта — вернуться назад. Но как? И денег нет, и былой энергии, и, что самое страшное, не окажется ли она сейчас чужой у себя на родине? А сын? Он вырос в Австралии, привык к ней, стал австралийцем, сейчас вот и женился на австралийке. Как все сложно, как бесконечно все сложно. «Пишите, пишите почаще. Каждое письмо из Киева — радость. Самая большая радость...»

С фотокарточки, сдержанно улыбаясь, смотрит на меня двадцатипятилетний молодой человек в черном костюме, с галстуком бабочкой. Вид у него весьма респектабельный, но, по словам матери, это только вид: за свои двадцать пять лет он успел уже переменить с десяток профессий — работал на золотых приисках, в сельскохозяйственной авиации, пек хлеб, чинил радиоприемники, собирал и разбирал холодильники, командовал оравой мальчишек в каком-то магазине, торгующем моторами. Последнее его увлечение — мотоцикл. Конечно же налетел на столб и расквасил всю физиономию. Но сейчас ничего, зажило. «Парень он хороший, не жалуюсь, только вот учиться не хочет. Россией он очень интересуется и советский строй ему нравится, но боится, если туда приедет, что его заставят учиться, а это его нисколько не соблазняет. Предпочитает работать. Здешняя молодежь только и ждет, когда ей стукнет четырнадцать лет, а тог-

да бросает школу и идет работать — в магазин, бюро, в гараж, на фабрику, девушки — в госпитали. Все тут стремятся заработать, скопить, приобрести авто, жениться. Зачем специальность, когда можно и так заработать? Вот и мой такой же. А вообще он парень хороший. И товарищ хороший. Сюда приходил «Витязь». На второй день он уже со всей молодежью команды был на «ты». Впрочем, он тебе сам обо всем напишет».

И действительно, написал. Письмо из двадцати строк начинается так: «Не знаю «выкать» или «тыкать», но я думаю, что это большой роли не играет — так что давай «тыкать». Кончалось же словами: «К следующему разу постараюсь побольше накарякать. Сердечный привет маме, всем нашим, а тебе (зачеркнуто) крепко жму руку».

Сейчас он смотрит на меня с фотокарточки и слегка улыбается. Рядом с ним молодая жена в подвенечном платье, с букетом цветов в руках. Снято в городе Перт, Западная Австралия. Бывает же такое...

В Брюсселе, когда мы вылезали из самолета после шестичасового перелета из Нью-Йорка, нас встретил приветливый, улыбающийся, грузный мужчина, сразу же представившийся:

— Мамонов, Александр Васильевич.

Это был гид авиакомпании «Сабена», предложивший нам свои услуги на те два дня, которые мы должны были провести в Бельгии в ожидании самолета из Москвы.

Мне трудно найти слова, чтоб передать то внимание и ту заботу, которыми нас окружил сын бывшего русского адмирала. Больше всего ему хотелось, чтоб мы не

скучали и чтоб за эти два дня как можно больше успели посмотреть. Кроме достопримечательностей Брюсселя он показал нам музей Конго (километрах в двадцати от Брюсселя) и даже умудрился свозить в Антверпен — в город чаек, умирающих в гавани. На обратном пути из Антверпена, хотя было уже довольно поздно, он остановил автобус на каком-то перекрестке дорог и, весело подмигнув, сказал: «А что, если нам заехать в Ватерлоо?» И мы поехали в Ватерлоо. Панорама знаменитого сражения была уже закрыта, но Александр Васильевич куда-то скрылся, кому-то что-то сунул, и через минуту все двери перед нами были открыты. Панорама оказалась ниже среднего, сувениры — бюстики Наполеона — еще того ниже, самого поля сражения мы так и не увидели — полил проливной дождь,— но Александр Васильевич сиял с головы до ног: все, что можно было выжать из этого дня, он выжал.

Наутро, перед нашим отлетом в Москву, он торжественно явился со своей женой и вручил каждому из нас на память по шелковому платочку с видами Брюсселя и по крохотной золоченой статуэтке «Манекен-Пис» — знаменитой брюссельской скульптуры, поставленной в честь знаменательного события в жизни одного из наследных принцев: бедняжка долго мучился камнями в мочевом пузыре и вот наконец освободился от них. Очаровательная струйка малыша вот уже сколько лет собирает толпы любознательных туристов.

Александр Васильевич отнюдь не гид-профессионал. У него есть антикварный магазин, благодаря ему он и живет, а гидом работает только из любви к русским. «Только так я и могу вас увидеть, поездить с вами, по-

говорить, порасспросить». Узнав, что я когда-то был архитектором, пообещал прислать интересующие меня книги. Не успел я приехать домой, как из Брюсселя пришел большой пакет — великолепно изданный том работ Ле Корбюзье. А еще недели через две — другой, еще более великолепный. Разве не трогательно? Спасибо, Александр Васильевич! Может быть, вы когда-нибудь все-таки посетите свою бывшую родину — обещаю, мы постараемся отплатить вам тем же вниманием, той же заботой.

Заговорив о Мамонове, никак уже не обойдешь молчанием уважаемого нашего Тадеуша Осиповича, с которым мы не расставались целых две недели. Жили мы с ним в общем дружно, хотя ко мне лично он относился с некоторой подозрительностью, не лишенной, правда, оттенка юмора. Почему-то он считал, что у меня хитрые глаза и что вообще положиться на меня в серьезном деле нельзя. Тем не менее отношения у нас были самые дружеские.

Он появлялся каждое утро свежевыбритый, подвижной, улыбающийся, в неизменном своем галстуке бабочкой и, обходя наши столики в ресторане, говорил бодрым голосом:

— Сегодня, друзья, у нас маленькая перемена. Вместо Модерн-арт мы поедем сначала в Мэтрополитен-музеум, а потом...

Подымался легкий шумок: у всех были какие-то собственные планы, которые приходилось на ходу менять. Потом шла небольшая торговля о способе транспортировки к очередному музею — кто хотел пешком, кто метро, кто автобусом, но все в конце концов утрясалось, и под похлопывание в ладоши Тадеуша Осиповича — «да-

вайте, давайте, времени мало» — мы отправлялись туда, куда нам надо было отправиться.

По дороге Тадеуш Осипович давал объяснения. В основном они сводились к трем положениям: 1) старые дома разрушаются, новые строятся; 2) негритянского населения в этом городе столько-то, и сейчас оно из трущоб перебирается в благоустроенные дома и 3) всякий памятник какому-нибудь деятелю, не сидящему на коне, назывался памятником Колумбусу. В этом третьем он настолько нас убедил, что мы уже просто говорили: «Вот дойдем до того Колумбуса — и там сделаем небольшую остановочку».

Подобно Ивану Ивановичу, он не любил нарушения расписания и ненужных, лишних вопросов. Как-то мы ехали по 5-й авеню. В окно я увидел знакомые очертания какого-то здания.

— Тадеуш Осипович, что это?

Он пренебрежительно махнул рукой.

— А это музей одного Соломона. Мало интересного...

Так мы обнаружили Музей Гуггенхейма, в который ему ужасно не хотелось нас пускать — «опять растеряемся, опять опоздаем к обеду, и вообще там мазня». К чести Тадеуша Осиповича нужно сказать, что в вопросах искусства он стоял на позициях самого ортодоксального искусствоведа нашей Академии художеств.

Расставание наше было грустно. Тадеуш Осипович вдруг обиделся. Подошел к нам, ко мне и двум моим приятелям, когда мы сидели на аэродроме Айдл-уайлд в ожидании самолета в Европу и, потеряв вдруг обычно свойственное ему чувство юмора, произнес маленькую тираду:

— Откровенно говоря, я не только огорчен, но и удивлен. Вы не первая советская группа у меня. И всегда в день расставания мне преподносят бутылку «Столичной». Вы знаете, я не пью, но я люблю прийти в свою контору, показать бутылку и сказать: «Вот как отблагодарили меня мои советские туристы». Вы первая группа, которая не преподнесла мне водки. Мне очень обидно.

Сказал, круто повернулся и ушел. Потом, уже у выхода на летное поле, он, не глядя в глаза, жал всем руки и сдержанно произносил:

— Счастливого пути.

Дорогой Тадеуш Осипович! Бог его знает, встретимся ли мы когда-нибудь. Адреса вашего я не знаю, поэтому позвольте мне здесь сказать вам несколько слов. Мне очень жаль, что вы на нас обиделись. Но, честное же слово, виноваты вы сами. Не подойди вы к нам со своей горькой речью, мы б устроили вам очень трогательное прощание: мы его даже слегка срежиссировали. У меня к тому же была заготовлена книга для вас с уже написанной, на мой взгляд очень остроумной, надписью. А вы подошли и все разрушили. Зачем? Ай-ай-ай... Кроме того — пусть это только останется между нами,— ведь один из наших товарищей преподнес вам все-таки бутылку коньяку. И, кажется, неплохого коньячку, армянского, четыре звездочки, а может, даже и КВ...

Ну, да ладно уж, что старые обиды вспоминать. Спасибо вам за компанию, Тадеуш Осипович. Привет вашей жене... А может, еще и увидимся, кто его знает. К тому времени, надеюсь, старые кварталы будут уже полностью разрушены, новые возведены, негры перейдут из

трущоб в благоустроенные квартиры, а Колумбусов станет чуть поменьше: кстати, говорят, в путеводителях точно указано, где, кому и какой памятник поставлен...

Нижеприведенный разговор, оставленный мною специально под занавес, произошел в той части Нью-Йорка, где уже нет небоскребов и реклам, в районе Лексингтон-авеню и 125-й улицы, недалеко от Гарлем-ривер, в одном из небольших салунов.

Это был последний вечер в Америке. Захотелось провести его в одиночестве. Я вышел из отеля, прошел по уже начинавшему пустеть Бродвею, дошел до Грэнд-Централ-стэйшэн, спустился в метро, сел в поезд и, решив проехать десять остановок, вышел на 125-й улице.

Двенадцатый час. На улице никого. Темновато. Чем-то похоже на Москву Тверских-Ямских улиц. Редкие фонари, какие-то заборы. Иду куда глаза глядят. На углу двух нешироких улиц обнаруживаю салун. В нем тоже пусто. В дальнем углу за столиком два пожилых небритых человека в синих комбинезонах пьют пиво. За стойкой на фоне длинных полок с разноцветными бутылками очень красивая молодая негритянка шоколадного цвета. По эту сторону стойки, облокотившись на нее, двое парней: один — постарше, в кожаной короткой курточке, другой — помоложе, негр, в очень яркой ковбойке. Все трое о чем-то негромко разговаривают. Играет музыка, что-то джазовое с синкопами.

Подхожу к стойке, кладу доллар и подымаю один палец. Не прекращая разговора, красивая негритянка наливает мне неполный высокий стакан виски. Я отношу

его на пустой столик у витрины, возвращаюсь и беру еще кружку светлого пива и крохотный бутербродик с хэм-ветчиной.

Сижу за столиком, посасываю пиво, курю «Беломор»: на сигареты уже денег нет, надо оставить на метро. На меня никто не обращает внимания. Двое пожилых в комбинезонах, расплатившись, ушли. Двое других все еще разговаривают. Я рассматриваю развешанные плакаты — рекламу виски «Белая лошадь», мартини, кока-кола. Сижу один в Нью-Йорке, в салуне, пью виски.

Негр прощается с красивой барменшей и уходит. Парень в курточке задерживается, подсчитывает деньги. Потом берет еще кружку пива и, оглядевшись по сторонам, подсаживается к моему столику. Барменша вытирает стойку.

Подсевший — он немолод, у него седина на висках и глубокие складки возле рта — молча пьет пиво и курит. Докурив и ткнув сигарету в пепельницу, вдруг подымает глаза на меня. В них легкое удивление.

— «Беломор»? — спрашивает он, указав глазами на окурок в пепельнице.

— «Беломор»,— говорю я.

Вынув пачку, щелкаю пальцем по ее донышку.

— Лейтенант Патрик Стэнли,— говорит парень в курточке.— «Летающие крепости». Стрелок-радист. Аэродром Полтава.

На столе появляются еще две кружки.

Патрик Стэнли... «Летающая крепость»... Аэродром Полтава... Так, выходит, мы с тобой вместе воевали? Ты в воздухе, я на земле. А сейчас вот сидим на окраине Нью-Йорка и пьем пиво. У вас хорошее пиво, крепкое.

И холодное. Чего смеешься? Больше водку любишь? Правильно. Где научился? У нас, конечно? В госпитале? Нет, в госпитале ты научился спирт пить, медсестры приносили — сознайся, что так. Я тоже лежал в госпитале, знаю. Ты в Полтаве, я в Баку. Так-то... Вот уж сколько лет прошло. А сейчас чем занимаешься? Чинишь телевизоры? Что ж, дело неплохое. Неплохое-то неплохое, но денег все-таки не хватает. Впрочем, их всегда не хватает. Миллионерам тоже не хватает. А тут еще сын. Семнадцать лет а ему уже машина нужна. За двести — триста долларов можно купить подержанную, вполне приличную, а ему, нет, обязательно новая нужна. Учиться, дурак, бросил, устроился в магазин. Зачем, говорит, учиться, когда и без ученья можно зарабатывать деньги... Забавно, я вот тоже получил от одной знакомой письмо из Австралии — ее сын теми же словами говорит: зачем учиться, когда можно работать... Да, с молодежью сейчас сложно. Впрочем, отцы всегда ругают своих детей. И то не так, и то не этак, мы были лучше. А в общем, вероятно, такими же были. Ну ладно, давай еще по стаканчику. Нет, уж разреши я заплачу, ты все-таки гость. Вот приеду к вам, тогда ты будешь угощать, а здесь я хозяин... Да, очень хочется в Россию поехать. Вот подкоплю немного денег и махну с женой в Полтаву. Э, нет, лучше без жены. А то встречу еще там Клаву — медсестра там была такая, Клава,— нет, один поеду, без жены. Правильно я решил? А по дороге в Киев к тебе заеду. Ты кем там работаешь? Архитектором? Что ж, неплохо. Вероятно, прилично зарабатываешь, раз сюда приехал. Самолетом туда и обратно, думаю, не дешево. Ну что, еще по одной? Не смотри на нас так, Бэтси, это последняя, сейчас уйдем. Эх, жаль, что завтра улетаешь, а то посидели бы у нас

вечерок, посмотрели бы, как живет американец вроде меня. А как тебе Америка? Понравилась? Нет, только правду говори. У нас, например, газеты о вас много врут, а я не верю. А ваши? А вообще, черт, обидно. И кто ее придумал, эту холодную войну? Была горячая — дружили, началась холодная — ссоримся. Кому это нужно? Тебе? Ведь вы хорошие ребята, знаю. И мы неплохие. Чего мы не поделили? Берлин? Очень мне нужен этот Берлин. И воевать из-за него не хочу. И вообще воевать не хочу. Навоевался. И не хочу, чтоб Джим воевал. Пусть лучше уже машину покупает и катает в ней свою девушку. А парень первоклассный, честное слово. Эх, жаль все-таки, что ты завтра уезжаешь. А то пошли бы втроем куда-нибудь и — как это у вас в России говорят — погуляли бы, да? Можно, конечно, сейчас что-нибудь взять у Бэтси и пойти ко мне, жена уехала к родителям в Балтимор... Ну, ладно, ладно, знаю, тебе завтра ехать, мне тоже рано вставать. Жаль. Джима не увидишь, тебе бы он понравился. Он даже несколько русских слов знает — «спутник», «лунник», «давай-давай», «водка». Хороший парень. Нет, не пьет еще. Ну так, с товарищами там немножко. Он у меня спортсмен, хоккеист, хорошо плавает... Уходим, уходим, не сердись, Бэтси, можешь закрывать свою лавочку. Запомни только сегодняшнее число — первый раз у тебя русский был. Это не каждый день случается...

На улице уже совсем пусто. Нам не хочется расставаться, поэтому мы идем пешком до следующей станции метро, тут оно ходит всю ночь.

Эх, Патрик, Патрик. Много лет назад мы с тобой вместе воевали, ты в воздухе, я на земле, а сейчас вот вместе шагаем по гулким ночным улицам Нью-Йорка.

И нам друг с другом хорошо, не хочется расставаться. Вот приезжай с Джимом к нам в гости, я тебе много интересного покажу. По музеям я тебя особенно водить не буду, а с хорошими ребятами познакомлю. Оторву тебя с Джимом от твоей туристской группы, и поедем мы к одному моему другу. Когда-то мы вместе лежали в Баку в одном госпитале, а сейчас он работает электросварщиком. Ты даже представить себе не можешь, как он тебе и Джиму обрадуется. И не потому, что вы американцы, а потому, что вы славные ребята. И он славный. Сразу же сдружитесь. Он немножко будет красоваться (ребята-то ребята, но все-таки американцы, не хочется в грязь лицом ударить), крутить телевизор, хвалить свою жену и дочек, хвалить меня, своих друзей, свою работу. Потом появятся эти самые друзья, начнется беготня в «Гастроном», пока он еще не закрыт, посыплются вопросы, все будет хлопать тебя и Джима по спине (а ручки, должен сказать, у друзей нелегкие), потом Джим с кем-нибудь из ребят помоложе, поставив локти на стол и сцепив ладони, начнут соревноваться в силе — «а ну, давай, давай!» — и все будут кричать, хохотать, а потом обязательно петь песни, и в третьем часу ночи мы безрезультатно будем ловить такси, и, слегка пошатываясь, думаю, что побольше, чем сейчас, побредем по ночному Киеву вот так, как бредем сейчас по Нью-Йорку, только будет нас немного побольше, и уж, наверное, кто-нибудь затянет «Хотят ли русские войны», и вы с Джимом в ответ будете кричать: «Американцы тоже не хотят!» — и будет весело и хорошо и, так же как сейчас, не захочется расставаться...

Мы доходим до метро. Спускаемся вниз. Поезда уже ходят редко. Закуриваем по сигарете. На скамейке у ав-

томата с жевательной резинкой кто-то спит, поджав ноги. Негр в синем комбинезоне подметает перрон. Уже второй час ночи.

Приходит поезд. «Ну, будь здоров, Патрик. Привет твоему Джиму».

Я вхожу в вагон. Трогаемся. Поезд въезжает в туннель.

Из Нью-Йорка в Брюссель мы летим всего шесть с половиной часов, напрямик, без всяких залетов в Манчестеры и Шенноны.

Скрылся Нью-Йорк со своими огнями, потом и полоска берега с огнями пореже. Принесли ужин. Потом мы опускаем ручки у сидений и ложимся спать. Выключается свет. Только в овальных плафонах тихо сияют искусственные созвездия.

Я долго не могу заснуть. От усталости, от обилия впечатлений за эти две недели, от мысли, что летишь над Атлантическим океаном. Вспомнился чудесный фильм «Путешествие на воздушном шаре». Вот так бы полетать над Америкой, Францией, над всем земным шаром. Не в космическом корабле в заоблачных высотах, а как в фильме Ламориса — с чудаковатым дедушкой и внучком на высоте пятидесяти метров, над лесами и лугами, над замками и соборами, боясь зацепиться за башни Нотр-Дам, между фабричными трубами и отвесными скалами Монблана, над Ла-Маншем, над Лазурным берегом. И спуститься где-то в деревне, где празднуют свадьбу, или на крохотной площади маленького провансальского городка... А потом опять вверх, выпуская дым из каких-то странных, как у архангела Гавриила, труб. И лететь,

лететь, лететь, слегка покачиваясь в допотопной корзинке.

Лежу и думаю.

Думаю о том, что видел и чего не увидел, о громадной стране, к которой чуть-чуть только прикоснулся, о небоскребах Нью-Йорка, о Деметри Коринце, о сталелитейном цехе на заводе Форда в Дирборне, где мне вдруг почудилось, что я стою в цехе на «Красном Октябре» в Сталинграде (тут же вспомнилось, каким он был в сорок втором году, когда через него проходила линия фронта,— страшный, разбитый, искореженный...), о своем споре с Володей, о шести солдатах морской пехоты, водрузивших знамя на острове Иводзима, о Патрике Стэнли...

Патрик Стэнли... «Летающие крепости»... Стрелок-радист... Как жаль, что мне не удалось с тобой встретиться, что всю эту историю с ночной поездкой, с салуном, с красивой негритянкой, с пачкой «Беломора», что все это я придумал. Не было салуна, не было негритянки, не было Патрика. Было только желание, чтоб так было. Чтоб посидели вот так в салуне, повспоминали бы войну, выпили бы по стопочке, прошлись бы по ночным улицам. Чтоб где-то действительно существовал Джим, хороший парень, хотя он и не хочет учиться (а ведь существует, существует...), и чтоб он с отцом приехал в Киев, и мы пошли к моему другу, и пели бы там песни, а потом шли по притихшему ночному Киеву мимо Голосеева, по Красноармейской, Крещатику, до Днепра и там, усевшись на кручах, встретили б восход солнца... Как хотелось бы, чтоб так было.

Погасли созвездия в овальных плафонах. Тихо прошла стюардесса по проходу, хорошенькая, в синей пилоточке:

— Летим над Парижем. Через час Брюссель.

Я выглядываю в иллюминатор. Светает. Ничего не видно: облака, сплошные облака. Над Европой, очевидно, дождь.

А через два дня Москва. Снег, морозец. И друзья. Вот они стоят, машут шапками: «С приездом!» Сейчас начнутся объятия, поцелуи. А потом вопросы. Вопросы, вопросы, сто тысяч вопросов. И на все надо будет ответить. Ох, нелегко...



# МЕСЯЦ
# ВО ФРАНЦИИ

## 1

У Парижа свои капризы, своя безвкусица, свои обманы зрения...

И у Парижа — увы! — бывают часы, когда его клонит ко сну (порой и Гомеру случается спать).

Безумие Парижа, перебродив, оказывается мудростью.

*В. Гюго*

День начинается так. Проснувшись, делаю небольшую прогулку километра на три-четыре. Выйдя из отеля, сворачиваю сразу же налево и через аркады Лувра, потом через мост Карусель выхожу на набережную Вольтера. Дальше — вдоль Сены, мимо закрытых еще букинистических лотков до небольшого моста О-Дубль, где сворачиваю налево и, минуя Нотр-Дам, по Аркольскому мосту

выхожу на правый берег Сены, к площади Отель-де-Виль. Дальнейший путь опять же вдоль Сены, на этот раз уже по ее течению. Дойдя до Лувра, сворачиваю направо и по рю Риволи до моего отеля уже рукой подать. Иногда я совершаю прогулку в другую сторону — через площадь Согласия до Эйфелевой башни и обратно. После прогулки иду в ванную и, как говорят радиодикторы, приступаю к водным процедурам.

Вся прогулка отнимает не больше четырех-пяти минут. Быстрота ее объясняется тем, что совершаю я ее не ногами, а глазами. Над моим диваном висит громадный — два на полтора метра — план Парижа и это первое, что я вижу, проснувшись утром. План этот не обыкновенный — улицы, кварталы, площади — план этот — плод двадцатилетнего труда художника Пелтье, умудрившегося нанести на него все дома Парижа. Все до единого. И не просто нанести, а дотошно нарисовать в аксонометрии, с птичьего полета. Я не представляю, как это можно сделать, но это сделано. Кропотливейшим образом нарисованы все жилые дома, дворы, церкви, соборы, дворцы, вокзалы, мосты, парки и бульвары с деревьями, памятниками, отдельные скульптуры, лестницы, спуски к Сене. Если сесть в противоположный конец комнаты и взять бинокль, создается полная иллюзия, что ты летаешь над городом в самолете. Впрочем, есть даже и преимущество: с самолета надо догадываться, что под тобой, а здесь всюду надписи.

План этот, приведший меня в восторг в одном из парижских домов, принесли на аэродром, когда мы летели в Москву. Всю дорогу он очень мешал: скользкий, завернутый в целлофан, он все время выскальзывал из рук и тыкался кому-то в спину. Сейчас, наклеенный на полотно,

он висит у меня на стене, вызывая всеобщее восхищение и зависть.

Я с детства люблю карты и планы. Вероятно, потому, что больше всего в жизни мечтал быть путешественником. Лавры Ливингстона и Миклухо-Маклая не давали мне покоя. По картам маленького карманного атласа Юнкера я составлял захватывающие маршруты через Гималаи в Индию, по непроходимым зарослям Центральной Африки, вдоль берегов Ориноко и Амазонки. Осуществить их в жизни мне так и не удалось: пришлось ограничиться Кавказом, Крымом в студенческие годы, а в войну долгими походами через Украину, с востока на запад и с запада на восток. Атлас Юнкера пришлось сменить на войсковую двухверстку, на план Сталинграда, с которым почти полгода не расставался. К сожалению, он, мятый, с продранными углами, с разноцветными стрелками и цифрами, не сохранился. Зато сохранилась маленькая вырванная из немецкого офицерского атласа карта Европейской части России, на которую я наносил линию продвижения наших войск и которую бережно хранил в левом боковом кармане гимнастерки.

Такую же страсть к планам и картам, я знаю, испытывает и Паустовский, но и его и меня в этом увлечении перекрыл мой фронтовой друг, лейтенант сапер Обрадович. Когда ранней весной сорок четвертого года мы освободили станцию Апостолово, я вечером того же самого утомительного дня застал его в одной из хат низко склонившимся над столом при свете керосиновой лампы. Оказывается, он рисовал план будущего, восстановленного Апостолова. Пробил новые улицы, организовал административный центр, перенес в другое место вокзал, который сейчас пылал, подожженный немцами. Впрочем, Обрадо-

вич по образованию был архитектором, и, хотя занятие его в тот вечер не могло не вызвать улыбку, я его понял.

Итак, по утрам я делаю зарядку — пробежку по набережным Сены. Вечером же, когда все кругом затихает и даже телефон устает, я совершаю, оторвавшись от книги, прогулки по другим местам Парижа. В основном по его юго-западу, по району Исси-ле-Мулино, он ближе всего к моей голове. Для того же, чтоб попасть на Монмартр или плас Пигаль —самые подходящие для этого часа места,— приходится становиться ногами на диван, что, как известно, не рекомендуется. А Исси-ле-Мулино я знаю уже довольно хорошо. И район парка Монсури, где я провел свое раннее детство, и Университетский городок, Монпарнас, куда перекочевали с оккупированного туристами Монмартра художники и где собираются строить сейчас новый ультрасовременный квартал в районе вокзала... И все это я теперь восстанавливаю в памяти благодаря мосье Пелтье, его египетскому труду, его плану. К нему мы еще вернемся, когда заговорим о прошлом и будущем Парижа. Сейчас же о настоящем.

Жили мы в самом центре города, в Отель-дю-Лувр. Прямо от него идет широкая, короткая и прямая авеню де л'Опера — витрины, витрины, банки, отели, рестораны и опять же витрины: направо — рю де Ришелье и Комеди Франсез, налево — Лувр.

В те дни, когда утра были свободны, я устремлялся прямо к Сене. Все теперь знают ее по кинокартинам — неширокую, спокойную (это не буйная, вся сотканная из водоворотов Рона), миролюбивую Сену, закованную

в гранит, перехваченную доброй полусотней мостов. Она рассекает Париж на две неравные части, на Rive droite (Правый берег) и Rive gauche (Левый берег). Иностранец не сразу ощущает разницу между этими берегами, вернее, частями города. Парижанин же очень точно знает разницу (и даже маленькое соперничество) между ними. Правый берег — это развлечения, театры, торговля — commerce de luxe. Левый — студенты, художники, артисты, он победнее, но серьезнее. И разделение это — сейчас, может быть, уже несколько условное — существует восемь веков, с тех пор как король Филипп-Август, «первый урбанист Парижа», расширил границы Парижа за пределы островов Ситэ и Сан-Луи. Тогда же и началось соперничество. Когда в 1912 году Марсель Пруст предложил своего «Свана» издательству «NRF», он, между прочим, сказал: «Этот дом Левого берега вряд ли будет доверять писателю с Правого берега». Но эти тонкости знает только парижанин, нам же, чужестранцам, остается просто восторгаться красотой Сены — нам неведомы ее коварные качества.

Особенно хороша Сена вечером, перед самым заходом солнца, когда Париж затягивается легким розоватым туманом и Сена, становящаяся тоже розовой, отражает в себе берега и склонившиеся над нею столетние вязы и платаны. Ночью же в ней горят фонари мостов и набережных, а в праздники тихо колеблются, освещенные прожекторами, отражения Лувра, Нотр-Дам, Эйфелевой башни... Но и утром она не менее хороша. Даже в пасмурный декабрьский день, свинцовая и слегка матовая, она повторяет в себе арки каменных мостов, и в этой сдвоенности изображения — тоже свое обаяние Сены. Так же, как в вязах над самой водой. Они, бедняжки,

правда, стареют, сохнут (газеты пишут, что убивают их в основном выхлопные газы автомашин), их срубают, и, распиленные на части, они лежат печальные, безмолвные на берегу реки.

Мы как-то сидели вечером на таком поверженном гиганте, сидели и курили. Это был чуть ли не первый вечер в Париже, когда все еще казалось странным, неправдоподобным, когда не верилось, что ты в Париже. Невдалеке от нас какие-то ребята разжигали из сухих сучьев костер. Он потрескивал, отбрасывая длинные мятущиеся тени. Натаскав запасы хвороста, ребята улеглись и, накрывшись плащами, уснули. Перед этим чего-то поели, выпили вина, а бутылку бросили в воду — она медленно проплыла мимо нас. На противоположном берегу тоже зажегся костер — один, другой, третий. Кто эти ребята? Кто те, на том берегу? Гиды говорят: ну, это из тех, что не хотят работать. Я совсем не уверен, что это так, но вот лежат, поджав колени к подбородку, а рядом потрескивает и стреляет костер...

Стоял декабрь, не было рыболовов, без которых в другое время года Сена немыслима. Но влюбленные были. Без них, без этих парочек, Сена не выдержала бы, высохла. Их много — склонившихся, подпирающих стенку, примостившихся на срубленных стволах, хоронящихся в тени мостов, целующихся и шепчущихся под аккомпанемент гитар и мандолин из крохотных транзисторов... Вот проплыла баржа — широкая, плоская. И на ней тоже парочка. И тоже транзистор...

Где-то пробили часы. Прогудел пароходик — маленький речной пароходик с длинной трубой. По верхней набережной бесшумно несутся машины. А над всем этим на черно-розовом от городского зарева небе мерно кру-

жится луч прожектора с верхушки Эйфелевой башни. Это, очевидно, для самолетов.

Недавно я увидал в «Юманите» фотографию некоего неизвестного художника у своего мольберта на набережной, у самой Сены. И печальная подпись под ней: «Париж, кажется, скоро потеряет одно из своих очарований». А рядом статья «За 13 минут 13 километров». Оказывается, сейчас разрабатывается проект автомобильной дороги от моста Наций до моста Отей, по правому берегу Сены. Где-то она будет подземной, где-то на столбах, а где-то прямо по набережной... Парижанин вздыхает: оно конечно, хорошо за тринадцать минут тринадцать километров, ну, а как же быть с влюбленными, с художниками?

Букинисты на набережных...

Без них Сена тоже не была бы Сеной. Сотни их длинных ящиков-лотков, прикрепленных к каменным парапетам набережной, тянутся на добрых два-три километра, начиная от улицы Бонапарта вдоль набережной Малакэ, Конти, Гранд-огюстен, Сен-Мишель, Монтебелло (по левому берегу) и от Отель-де-Виль (ратуши) до моста Пон-Нёф по правому.

Можно провести целый день возле этих лотков. Невозможно оторваться от самих букинистов, можно подумать, что их выбирал специально какой-нибудь кинорежиссер. Это почти всегда старики и старухи. Старики в допотопных плащах, накидках, в каких-то длинных, до колен, блузах. Старухи, преимущественно злые и сварливые, из тех, что держат дома целые семейства кошек и котов, сидят в соломенных креслах и что-то вяжут. Одна из них торговала орденами — этот товар на набережных тоже есть. Я скромно спросил, сколько стоит наиболее пышный и блестящий. Старуха сверкнула на меня

злющими глазами-щелочками и огрызнулась: покупатель посолиднее торговался с ней за орден Почетного легиона наполеоновских времен. Между прочим, не лотки, а целые магазины, торгующие орденами, я видел в тихом дворе Пале-Рояля. И не один, а штуки три-четыре рядом. Там можно купить все — полный набор георгиевского кавалера, орден Бани, Золотого руна, кайзеровские, гитлеровские, любой Гватемалы или Никарагуа. Я стоял и смотрел на кресты, звезды, пальмовые ветви, дубовые листья, золотые цепи, муаровые ленты, покоившиеся на алом бархате, и думал о том, сколько интересных и никому не известных историй лежит и поблескивает за витриной. И никому эти истории не нужны. Но ордена эти и ленты зачем-то продают. И покупают. А кто их покупает? И для чего? Неужели в Париже столько коллекционеров и таких чудаков, как я, которым захотелось бы вдруг поразить своих друзей на Шереметьевском аэродроме блеснувшим из-под плаща экзотическим орденом неведомого старинного княжества? Неужели на этой торговле можно сколотить состояние? Очевидно, да...

В северо-западном районе Парижа есть так называемый Блошиный рынок — Marché de puce. Это нечто вроде обычных толкучек, с той только разницей, что там не толкутся, а ходят по маленьким уличкам, состоящим из рундуков и открытых магазинчиков. И продавцы там не случайные, а постоянные. Купить там можно все. Я не говорю о всякой одежде, которая, не уступая качеством, в два-три раза дешевле, чем в центре. Речь идет о вещах, которые совершенно непонятно кому могут пригодиться. Вы можете, например, свободно купить рыцарские доспехи (все честь честью, шлем с забралом, панцирь, на-

коленники, щит; копья только, кажется, не было) за три тысячи новых франков, или корабельный штурвал метра полтора в поперечнике за девятьсот франков, или медный, жюльверновских времен водолазный скафандр — не помню уже за сколько. Много русской боярской одежды, очевидно театральной, от русских эмигрантов. Кому все это надо и в таком количестве — непонятно. Но раз продают, значит, покупают. Рынок...

Но вернемся на набережную и пороемся в книгах. Их тут много. И очень разных. Много старья, нужного и ненужного, много забывшихся уже бестселлеров и разной полицейской дребедени, но есть и хорошие издания, интересные мемуары, старинные гравюры, увражи, альбомы. Очень много карт и планов — преимущественно старинных с гербами, картушами, на пожелтевшей бумаге. И ройся в них, сколько тебе влезет, никто тебя не осудит, не помешает. Вряд ли здесь найдешь какую-либо особую библиографическую редкость (для этого есть другие букинисты на рю Бонапарт или Сен-Пэр, например), но интересного все же много. Меня, например, интересует все, что пишется о Сталинграде. И я нашел несколько номеров коллаборационистского иллюстрированного журнала «Siqnal», издававшегося немцами на французском языке. Я впервые увидал в нем Мамаев курган сверху, глазами немецкого аса.

Сидевший рядом с ним или за его спиной в пикировщике «Ю-87» корреспондент «Signal» очень эффектно снял с воздуха наши позиции и горящий город. А потом ас пьет коньяк и весело улыбается — славно поработал. В журнале о нем целая статья.

К слову, о Сталинграде. За месяц до Парижа я был в Лейпциге на кинофестивале. Был у нас там, при нашей

делегации, переводчик — студент Лейпцигского университета Вилли. Это был славный, деликатный юноша лет двадцати, очень волновавшийся, что недостаточно быстро и точно переводит. Мы все его полюбили. Расставшись, я подарил ему свою книгу «В окопах Сталинграда». Он посмотрел на меня как-то странно и сказал:

— А вы знаете... Я до сих пор не хотел вам говорить — мой отец убит был в Сталинграде...

Опять Сталинград... Всегда я в него попадаю. Вернемся же в Париж, с которым у меня связаны самые первые воспоминания.

Родился я в Киеве, но первые годы своей жизни провел за границей. Мать кончила школу, а затем университет в Швейцарии, в Лозанне. Потом работала в Париже, в госпитале. Там же застала нас война. В 1915-м — мне было тогда четыре года — мы вернулись в Россию и осели в Киеве.

Не могу сказать, чтоб о Париже тех лет я имел исчерпывающее представление. Основные воспоминания связаны с парком Монсури, где в компании двух других русских мальчиков — Тотошки и Бобоса — я бегал по дорожкам и лепил из песка бабки. Нянькой нашей был Анатолий Васильевич Луначарский — он жил этажом ниже нас, на рю Роли, 11. Мы мирно лепили бабки, возможно, даже и дрались, а он рядом на скамейке писал свои статьи и тезисы для очередной лекции. Тотошка, сын Луначарского — Анатолий, погиб в Отечественную войну: он был фронтовым корреспондентом и, хотя ему это было категорически запрещено, отправился с новороссийским десантом. Оттуда он не вернулся. До войны мы с ним раза два встречались. С Бобосом же — теперь его зовут уже Леонидом Михайловичем Кристи, он известный кинодо-

кументалист — мы впервые после парка Монсури встретились только через сорок восемь лет, зимой прошлого года в Москве. Нас очень развеселила парижская фотокарточка тех лет, где мы трое и еще одна девочка, моя двоюродная сестра, стоим рядышком — четырехлетние и очень серьезные. Оба мы — и я и Бобос — со стыдом признались друг другу, что почти совсем забыли французский язык, хотя именно на этом языке мы начали складывать свои первые фразы.

Должен сказать, что в этот свой приезд (до этого я был в Париже дважды, но в общей сложности не больше двух суток) я обнаглел и с французами говорил только по-французски. Это было чудовищно, но галантные французы уверяли меня, что все понимают. Возможно, это объясняется тем, что я, хоть и забыл слова, сохранил почему-то произношение.

Между прочим, у русских, долго проживших во Франции, даже если они говорят по-русски совершенно правильно, появляется характерная интонация, чисто французская манера говорить. Дело даже не во французских словах, вплетающихся в речь, таких, как синема́, авион, арондисман («я живу в шестом арондисмане», то есть районе), или не очень русское «не так ли?» — «n'est ce pas?», которым французы заканчивают почти каждую вопросительную фразу. Дело именно в интонации, очень забавной, но сразу же дающей тебе понять, с каким русским ты говоришь — москвичом или парижанином.

Французский язык... Говорят, у него очень трудная грамматика и какие-то там сложности с неправильными глаголами. Кажется, это действительно так, но, когда слушаешь его (особенно парижан), сразу становится веселее. Даже когда они кричат и ругаются между собой — и то

приятно слушать. Сцепились в автомобильном заторе два таксиста, обливают друг друга отборной бранью, а я слушаю, наслаждаюсь. Не знаю, отчего это происходит: возможно, от интонации — всегда вверх, а не вниз, а возможно, от самого характера французов, в общем легкого, живого, порывистого. При всех своих горестях француз старается не терять юмора. А может, и не старается — само собой получается. В этом счастье француза. Он знает, что юмор спасителен. Он скрашивает невзгоды, помогает жить. И вообще без него скучно. И француз шутит, иронизирует над всем в жизни — над женой, любовницей, другом, самим собой, даже над генералом Шарлем де Голлем.

Как-то я у себя в номере устроил короткое замыкание. Как и почему — до сих пор не могу понять, но так или иначе свет погас. Я позвонил, и через пять минут появился монтер — парнишка лет двадцати с лишним, с перебитым (как выяснилось потом — от бокса) носом, совершенно рыжими волосами и глазами собирающегося нашкодить школьника. Весело насвистывая, он починил, что надо, и в вознаграждение попросил разрешения закурить «папирос рюсс».

Так познакомился я со своим тезкой Виктором Ружэ, ставшим для меня с этого момента образцом французской легкости и беззаботности.

— О-ля-ля, — весело говорил он, давясь дымом советской папиросы, но не бросая ее, — жизнь не такое уж дерьмо, как многие думают. Нос красивее у меня, конечно, не станет и на Брижит Бардо рассчитывать тоже не приходится, но кончится эта проклятая зима — и весь мир будет мне завидовать.

Я заинтересовался. В ответ он предложил, если у ме-

ня будет время, съездить в воскресенье посмотреть одно из интереснейших мест в Париже.

Время, конечно, нашлось, и в воскресенье в девять утра мы уже сидели в вагоне метро. Я не все понимал, что он рассказывал на своем парижском жаргоне, но все же уловил, что он работает электромонтером на стройке какого-то многоэтажного каркасного дома, что в нашем отеле он вроде как «подхалтуривает» — заболел гостиничный электрик, а один из портье друг Виктора, — что у него есть девушка по имени Моника и что в прошлогоднем первомайском номере «Юманите» была его фотография, когда у него был еще не перебитый нос.

После метро мы долго еще шли по каким-то парижским окраинам и наконец вышли к Сене. Кто видел когда-нибудь фильм «Столь долгое отсутствие», навсегда запомнит хибару-ящик, в которой жил герой картины. К такому же ящику подвел меня и Виктор.

— Вот, — сказал он, — моя вилла!

У виллы не было никакого замка. Он что-то раздвинул, и мы на четвереньках влезли внутрь. Кругом вырезанные из журналов фотографии, на земле два тюфяка — вот и все.

— Ты тут живешь? — несколько смутившись, спросил я.

— О нет. Сейчас нет. Сейчас у друзей. Сегодня у одного, завтра у другого. Зато летом... Лучшего места не сыщешь в Париже. Воздух, река. Можно рыбу удить. И так приятно, лежа на животе, следить за проплывающими баржами. Моника тоже любит на них смотреть. Неужели вам здесь не нравится?

И все это он говорил просто, весело, предвкушая приближение апреля, до которого было еще добрых три месяца.

Больше я Виктора не видал. Вернулся заболевший электрик, а мы уехали на юг. Но сейчас, когда в Москве уже настал апрель (дай бог, в Париже он теплее), я часто вспоминаю своего тезку и веселую его усмешку — весь мир мне будет завидовать! Дай-то бог! Легко и весело жить с таким характером.

Париж...

Думаю, что нет на земле человека, которому бы не нравился этот город. А если иногда и встречается, то это либо кокетничающий своим нигилизмом сноб, либо человек, у которого с Парижем связаны какие-нибудь неприятности, либо дурак. (Я со стыдом вспоминаю сейчас вырвавшуюся у меня фразу на обратном пути в Париж после увлекательного путешествия по тихому, несуетливому Провансу. «Ох, опять надо в Париж ехать...» — сказал я, вздыхая, и тут же испугался, хотя речь шла не о самом Париже, а о его утомительной для нас суете. И все же я стыжусь этой фразы — я прошу прощения у Парижа.)

Париж — один из красивейших и обаятельнейших городов мира. Я говорю «один из...», потому что на земле, вероятно, есть тысячи красивых и обаятельных городов, но именно в Париже эти качества — красота и обаяние — сплавились столь прочно, что они уже неотделимы. Париж красив, ослепителен и в то же время прост, весел, непосредствен. Ансамбли Лувра, Тюильри, площади Согласия поражают своей законченностью; монмартрские же улички и переулки Порт-де-Лила тесны, красивы, сияют облупленными брандмауэрами, но, ей-богу же, я затрудняюсь сказать, что милее моему сердцу. В ресторане «Отель-дю-Лувр» официант во фраке подает незна-

комый нам изыск в виде устриц или улиток в глиняных горшочках, в крохотном же кабачке на Муфтар ты жуешь длинные, хрустящие парижские булки с колбасой, запивая их эльзасским пивом, — и опять же непонятно, где лучше. Нет, в кабачке, конечно, лучше: вокруг разговоры, споры, хохот, а за стойкой толстая хозяйка, приветливая, все видящая, все слышащая — точь-в-точь с картины Тулуз-Лотрека или Эдуарда Манэ. Мы как-то обедали в ресторанчике мадам Луизетт на Блошином рынке. Я глядел на нее и не мог оторваться — немолодая, живая, с негаснущей сигаретой во рту, она все время что-то разливала, отсчитывала, перекидывалась шутками, замечаниями, подходила к столикам, смеялась, кого-то отчитывала, опять возвращалась к своей стойке, опять разливала. Хозяйка, владычица... Говорят, ее весь рынок побаивается. И любит. Узнав, что мы русские, она пожелала с нами сфотографироваться.

Наш читатель, знакомясь с теми или иными зарубежными очерками, часто задает себе вопрос: почему так много пишется о ресторанах и кабачках? Неужели другой темы, другого места для общения нет? Увы, но это так. Если хочешь общаться с французами — ресторана и кафе тебе не миновать. (Статистика утверждает, что в девяностые годы прошлого столетия в Париже было тридцать тысяч отелей, ресторанов, кафе и винных погребов. Думаю, что сейчас не меньше.) Во Франции не принято приглашать к себе в гости. Даже на семейные торжества. Один русский, проживший в Париже тридцать пять лет, говорил мне, что за все время он был только два раза в гостях. Да, француз не любит приглашать к себе домой. В Париже не забежишь по дороге к товарищу — это считается бестактным, там принято встречаться в ресторанах.

По любому поводу — просто так посидеть, почитать газеты, заключить сделку, провести деловой разговор. Писательница Натали Саррот говорила мне, что работать может только в небольшом ресторанчике возле своего дома. Дома мешают, отрывают от дела, а здесь тихо, спокойно, никаких телефонов.

Традиция встречаться в ресторанах имеет свои корни. Еще в XVIII веке, перед самой революцией, якобинцы и близкие им друзья — адвокаты, журналисты, художники — собирались в ресторанах, предпочитая их дворянским, аристократическим салонам. По тем же причинам и в XIX веке, особенно в шестидесятых годах, художники стали встречаться и устраивать свои выставки не в аристократических враждебных им салонах, а в кафе и ресторанах. Это были годы рождения и становления импрессионизма — движения, взбунтовавшегося против академизма, салонной живописи эпохи Наполеона III. Все прогрессивное в искусстве собиралось именно там, за маленькими столиками на бульварах. Особенно популярен был тогда «Тамбурин» на бульваре Клиши, где часами проводили свое время в спорах и дискуссиях за стаканом вина и Ван-Гог, и Писсарро, и Тулуз-Лотрек, и многие другие — короче говоря, весь молодой, строптивый, ищущий новых путей художественный Париж.

Париж немыслим без художников, как без Нотр-Дам или Эйфелевой башни. Они составная часть города, его пейзажа. На набережных, в парках, на мостах или просто посреди тротуаров они сидят или топчутся вокруг своих мольбертов, ни на кого не обращая внимания. Больше всего их, конечно, на площади Тертр, на Монмартре. Но там уже коммерция. Там за десять новых франков в пятнадцать минут сделают твой портрет, там можно

купить любую картину, написанную в любой манере, кроме абстрактной — у туриста абстракционизм не в почете. За свои деньги он хочет приобрести добротную вещь, которую можно привезти домой и, показав друзьям, сказать: «Вот на этом месте я был». И монмартрские художники учитывают это.

На этой самой площади Тертр — маленькой квадратной площади возле собора Сакре-Кёр, купола которого фигурируют чуть ли не на всех полотнах работающих здесь, на свежем воздухе, художников — мы как-то познакомились с бородатым, симпатичным македонцем. Он показал нам свои полотна, в общем довольно славные, хотя более или менее похожие на соседние, потом познакомил со своим другом, тоже из Югославии. Друг оказался очень разговорчивым, приветливым, веселым, но почему-то картин своих нам не показал, хотя мы и просили его об этом. Он мялся, переводил разговор на другую тему. Потом уже, когда мы с нашим македонцем оказались, как и следовало этого ожидать, в кафе («Нет, не это — это для туристов; спустимся по той лесенке, и я вам покажу настоящее монмартрское кафе...»), он нам сказал, что парень этот, его друг, в общем-то не столько пишет, сколько организует сбыт картин. И нам стало ясно, что все эти ребята со шкиперскими бородками, в измазанных краской блузах и пожилые длинноволосые мэтры с черными бантами, что все они, или почти все, не просто так пишут свои картины и продают любителям, а, очевидно, объединены в какие-то группы, артели или имеют своего «маршана», продавца, которому и отваливают какую-то толику своего заработка. Впрочем, точных сведений у меня нет.

Париж немыслим без художников. Он любит их. И они

его. Пожалуй, нет на свете города, которому столько посвящено было бы полотен... Первыми известными художниками, изобразившими Париж, были братья Лимбург. Две их миниатюры, именуемые «Блаженные часы герцога де Берри», хранящиеся в музее Конде в Шантийи, воспроизводят с документальной точностью, как говорят знатоки, Париж XV века — Лувр и королевский замок с церковью Сен-Шапель на острове Ситэ. Те же Ситэ и Нотр-Дам середины XV века мы видим и на миниатюре Фукэ, хранящейся сейчас в Нью-Йорке. Все на них очень точно, очень подробно, но в обоих случаях архитектура является в основном фоном, на котором разворачиваются жанровые и религиозные сцены.

Последующий век не был самым счастливым для Парижа. Искусство миниатюры при Людовике XII доживало свои последние дни. Франциск I перебрался со своим двором в замки Иль-де-Франса и Лауры, и французская живопись на какое-то время посвятила себя портрету. Следующий, XVII век был отдан, так сказать, на откуп фламандцам и голландцам. Создав у перекрестка Круа-Руж свою маленькую колонию, они принялись за пейзажи Парижа, перенеся в них дух и атмосферу своей родины. С присущим им мастерством они писали старый Лувр, Сену с какими-то баржами и плотами, мрачную Нельскую башню, тесные площади, но все это было очень голландским, очень фламандским. И все же только благодаря им — Зееману, Абрахаму де Вервету и другим — мы знаем, как выглядел Париж, вернее, центр Парижа — все та же Сена и Ситэ — тех лет.

По картинам Жан-Батиста Рагнэ (его прозвали парижским Каналетто) и других художников того времени мы узнали куртуазный Париж XVIII века. На этих полотнах

он, правда, не всегда точен — в угоду моде тех лет истинный облик города иной раз заслонялся живописными руинами и пышными, часто вымышленными, в стиле Пиранези сооружениями. Говоря нашим современным языком, перед нами Париж несколько «подлакированный» — тогда любили пейзажи с пышными садами, идиллическими парками или, наоборот, с эффектными пожарами, клубами дыма, языками пламени. Иными словами, по этим картинам мы можем судить не столько о Париже, сколько о манере и вкусах той эпохи. Настоящий же Париж — его дух, характер, небо, воздух, люди — заиграл всеми своими красками только в живописи XIX века, вернее, его второй половины. В эти годы Парижу, несомненно, повезло. Можно с уверенностью сказать: не было тогда художника, которого бы он не пленил. На Западе, во всяком случае, да и у нас, пожалуй, тоже. Их и не перечислишь, этих художников. Это и Клод Монэ, и Сейра, и Синьяк, и Писсарро, и Эдуард Манэ, и Валлотон, и Ренуар, и Матисс, и Ван-Гог, и певец Монмартра Утрилло, и непревзойденный, на мой взгляд, Альбер Марке... Пожалуй, только Гогена и Сезанна нет в этом списке. У первого мы знаем только одну «парижскую» картину — «Сена у моста Иена» (она висит сейчас в Лувре, и когда я ее увидел, то подумал, что это Марке: так не похожа она на Гогена), второй же прожил в Париже недолго и большую часть своих картин написал в Экс-ан-Прованс.

Мне мало до сих пор что-либо говорило имя Иоганна Бартольда Йонгкинда — по-настоящему я его узнал в Париже. Голландец по происхождению, он поселился в Париже, но именно он первый, еще до импрессионистов, сумел уловить истинный дух его. О нем хорошо в свое время сказал Эмиль Золя: «Йонгкинд понял, что Париж

живописен даже в мусоре своих улиц. Он пишет церковь Сен-Медар и тут же уголок новых, только что пробитых бульваров. Перед нами весь квартал Муфтар с его маленькими лавочками, жирной, грязной мостовой и бледно-серыми стенами. Мне нравится эта картина — громадное небо в тучах и запах парижского дождя...»

Йонгкинд не был ни барбизонцем, ни импрессионистом, он находился где-то между ними, но в его парижских пейзажах мы, пожалуй, впервые ощущаем и видим не только архитектуру города, но и воздух, освещение, аромат, «запах парижского дождя».

Об импрессионистах, которым Париж обязан очень многим, писать вряд ли стоит — о них столько уже писалось, — хочется сказать только несколько слов о двух «самых парижских» художниках — Утрилло и Марке. Они очень не похожи, эти два художника, но оба, пожалуй, больше всех любили Париж, больше всех его знали. Так, во всяком случае, кажется мне, когда я разглядываю их картины. У Мориса Утрилло нет парадного Парижа. У него Монмартр, самые обыкновенные, самые, казалось бы, непривлекательные улички, какие-то дворы, лестницы, стены, крыши. И написаны они как будто очень просто, и краски неярки, и композиции как будто никакой нет (на самом деле она у него очень крепкая), и небо серое, и стены серые, но под его кистью все эти стены и крыши приобретают такую художественную законченность, они так правдивы, что внешняя их непривлекательность превращается в нечто другое, в то, что мы и называем красотой. Впечатление такое, что художнику не было никакой необходимости выбирать какую-нибудь особую точку, он мог сесть со своим мольбертом в первом попавшемся месте — любой закоулок для него всегда таил в себе

нечто прекрасное, и мы, глядя на его картины, ощущаем это с не меньшей силой.

Я взбирался по крутым лесенкам Монмартра, смотрел оттуда сверху на крыши Парижа, и каждый раз я вспоминал Утрилло. Иногда мне даже казалось, что я в этом месте уже был. Нет, не был — просто виноват в этом Утрилло.

Альбера Марке мы знаем лучше, чем Утрилло, — несколько лет тому назад его работы очень широко были представлены на выставке в Пушкинском музее. У Марке совсем другой Париж. Это не узкие монмартрские улички — это просторы, Марке любил море, морской пляж, порт, Сену. Он много раз писал Сену. И очень часто с одной точки, из своего окна. Окно выходило на Пон-Нёф — самый старый мост Парижа, хотя и называется он Новым. И каждый раз Сена у него другая. То в тумане, то в зимней дымке, то в серый пасмурный день, то ночью с огнями и черными расплывающимися силуэтами домов. Марке не любил детали, все у него обобщено, все как будто грубо. И все как будто сделано наспех. Мазок — и человек, мазок — и фонарь, три мазка — и дерево. Ничего не прорисовано, никаких деталей, какие-то общие массы — и вот перед тобой живой Париж. Тот самый, который ты видел вчера, позавчера, а может, увидишь завтра. Я не знаю, почему Марке любил писать из своего окна, — может, из-за болезни, может, просто не любил работать на шумных парижских улицах, но какое счастье, что он снял квартиру именно здесь, у самой Сены, на углу улицы Дофин и набережной Конти. Поселись он в другом месте, и мы не имели бы его сюиты, его песни о Пон-Нёф, не любовались бы изгибами Сены и заснеженными тротуарами набережной Гранд-

Огюстен, просвечивающим сквозь голые ветви деревьев мостом Сен-Мишель (опять же один только мазок), затуманенными башнями Нотр-Дам — одним словом, Парижем, каким он был в тот зимний пасмурный день 1934 года, когда Марке задумалось подсесть к окну.

Я стою перед пейзажами Марке и Утрилло — двух столь не похожих друг на друга художников, ни по манере, ни по пристрастиям — у одного к захудалым уличкам, у другого к широким, воздушным просторам Парижа, — смотрю на их картины и задаю себе вопрос: а есть ли у нас свой московский, ленинградский, киевский Марке, свой Утрилло? Ленинграду в этом отношении повезло — Остроумова-Лебедева, Добужинский, Бенуа. А Москве? Иной раз идешь по ее улицам и удивляешься: почему вот здесь не примостился художник?

Был когда-то художник Иван Павлов, гравер. Я помню его еще в детстве, и в основном почему-то по отрывному календарю. Вот Павлов знал и любил Москву. И не мог с ней расстаться — с ее покосившимися деревянными домиками, ампирными колоннадами, мезонинами. Запечатлевал не без грусти своим резцом старую, уходящую Москву. За это ему и спасибо.

Знаем мы и другую Москву — Москву ныне здравствующего Пименова. Это уже Москва сегодняшняя, строящаяся, с широкими улицами, новыми домами, потоком автомашин. Эта новая Москва не исключает, не перечеркивает старую, до сих пор еще живую и дорогую всем нам.

Не повезло моему родному Киеву. Просто диву даешься, как могло случиться, что такой колоритный, своеобразный город не имеет своего «певца». А Киев ведь сам просится на полотно. Где вы найдете такие горы,

такие вьющиеся вверх и вниз улички, такие днепровские откосы, такие дали, такое разнообразие крыш, тонущих в зелени. Мы, правда, помним Киев Лукомского, но это Киев церквей и золотых куполов, Киев далекого прошлого... А сегодняшний?

Но вернемся все же к Парижу. Выйдем-ка мы с вами из отеля («Бонжур, мсье, — скажет нам любезный портье, — вам пока еще ничего нету»), купим в киоске свежие номера газет и, свернув направо, зайдем перекусить в находящийся у входа в отель небольшой бар. Шурша газетами, выпьем чашечку-другую кофе с хрустящими булочками, здесь они называются «круасанами», и, взяв на дорогу пачку «Голуаз» — самые дешевые, крепкие, но не вызывающие кашля сигареты, — отправимся в путь.

Куда же пойти? Пожалуй, лучше всего совершить мой любимый утренний разминочный маршрут по плану Парижа. Тогда давайте свернем налево и нырнем под арки Лувра. В этом крыле Лувр не музей, а министерство финансов. Филиал министерства, какие-то его канцелярии, до последнего времени находился еще и в левом крыле, выходящем на набережную, в так называемом Павильон де Флор. Но сейчас это уже музей: как раз в день нашего приезда длительная борьба между музеем и министерством закончилась победой искусства.

Между прочим, как-то из окна моего номера — а оно выходит на маленькую квадратную площадь, плас дю Пале-Рояль, всю заставленную машинами, — я видел демонстрацию инвалидов и участников войны. Окруженные полицией, с плакатами в руках, тысячи людей про-

шли по авеню де л' Опера и довольно долго простояли у министерства финансов — делегаты добивались приема у министра. Требовали они увеличения пенсий. Министр делегатов не принял. Полицейские, потоптавшиеся рядом на улице Риволи, сели в свои машины и уехали. По авеню де л' Опера опять открылось движение. Море голов и плакатов, заполнившее маленькую площадь, постепенно стало растекаться по окрестным улицам.

Но сейчас, утром, и на площади, и на улицах Сент-Оноре и Риволи тихо, даже машин еще мало. Потом их появится несметное количество. Через Риволи не так-то легко будет пройти, а между четырьмя и семью Париж превращается в сплошной автомобильный затор, и, если ты торопишься, надо идти пешком или спускаться в метро. От плас де ла Конкорд (площади Согласия) до Лувра минут двадцать ходьбы, на машине в эти часы вы промучаетесь не меньше сорока минут. Проблема транспорта в Париже почти неразрешима — миллион, если не больше, автомобилей. Проблема стоянок и гаражей тоже невероятно сложна — машины вереницами стоят вдоль тротуаров, найти место для стоянки совсем не просто.

Но сейчас мы совершенно спокойно проходим под арками Лувра и попадаем в объятия двух его длиннющих крыльев, на площадь Карусель. В центре ее Триумфальная арка, воздвигнутая в честь наполеоновских побед 1805 года, за ней кроны Тюильрийского парка, а еще дальше — Елисейские поля, но сейчас их не видно: мешает парк.

Когда-то на месте Лувра был замок, заложенный еще Филиппом-Августом, с круглыми башнями, подъемными мостиками, высоким донжоном посредине. Теперь от

замка не осталось ни следа,— мы знаем, как он выглядел, только благодаря «Блаженным часам герцога де Берри»,— и на месте замка гигантское здание музея, в прошлом — королевского дворца.

В него мы не зайдем, он еще закрыт. Взглянем только налево, в сторону Кур Карэ — Квадратного двора. Вот у того подъезда, у Башни Часов, юный Д'Артаньян был вызван на дуэль Атосом, Портосом и Арамисом, а несколько позже люди кардинала в черных камзолах пытались помешать ему передать королеве алмазные подвески, подаренные ею герцогу Бекингэмскому. Но Д'Артаньян проскочил вот в ту дверь, видите — слева, и Ришелье был одурачен, а Д'Артаньян упал в объятия Констанции Бонасье...

Какие люди! Какие чувства!

— Защищайся, несчастный,— вскричал Атос и обнажил шпагу. Клинки скрестились.

(Да, при кардинале Ришелье дуэли были запрещены, но мушкетеры нарушили запрет. Мы запрета не нарушаем, а иной раз ох как хочется. Бросил бы перчатку: «Завтра в шесть утра, у Ново-Девичьего. Выбор оружия за вами...»)

...Гвардеец кардинала со стоном упал на траву. Алая струйка крови появилась на его губах. Атос вытер шпагу и, не взглянув на свою жертву, вскочил на коня. Благородное животное вмиг перенесло его на другой берег Сены к монастырю Гранд-Огюстен, где в таверне «Золотой лилии» давно уже ждали и беспокоились его друзья...

Увы, монастыря сейчас уже нет, сохранилась только набережная Гранд-Огюстен, самая древняя в Париже, а вместо «Золотой лилии» — ресторан «Лаперуз». А на набережной, по которой промчался Атос,— только буки-

нисты. Но сейчас еще рано, их «буат» закрыты на замки. Откроются они не раньше десяти.

А вон в том угловом доме окно, из которого рисовал Марке. Правее — тот самый Пон-Нёф, Новый мост, которому минуло уже триста пятьдесят лет. Кроме своего возраста он знаменит тем, что на нем впервые появились тротуары, которых до этого в Париже не было. Облицовку моста обновляли неоднократно, конструкция же старая, XVI века. Говоря о каком-нибудь бодром старике, парижане острят: держится, как Новый мост.

Мы стоим как раз у въезда на него. Смотрим на Сену, на проплывающие мимо баржи и соображаем, куда же направиться дальше. Пойдем налево, к Нотр-Дам.

Когда я впервые подходил к этому собору, одному из старейших и красивейших соборов Франции, я чувствовал легкую дрожь волнения. Передо мной был памятник безвестных гениальных мастеров, воздвигнутый более семисот лет тому назад на месте многих других церквей, в том числе и галло-романского храма, которому теперь было бы две тысячи лет. В общей сложности собор строился сто восемьдесят лет, считая разного рода достройки, и, хотя мы относим его к памятникам готического искусства, это не совсем так. Собор Парижской богоматери — образец переходного периода от романского стиля к готическому. В основном он строился от 1163 до 1250 года, на рубеже этих двух эпох.

«Таким образом,— писал о нем Виктор Гюго,— романское аббатство, философическая церковь, готическое искусство, искусство саксонское, тяжелые круглые столбы времен Григория VII, символика герметиков, единовластие папы, раскол церкви, аббатство Сен-Жермен-де-Преи и Сен-Жак-де-ла-Бушри — все расплавилось, смешалось,

слилось в Соборе Парижской богоматери. Эта главная церковь, церковь-прародительница, является среди древних церквей Парижа, чем-то вроде химеры: у нее голова одной церкви, конечность другой, торс третьей и что-то общее со всеми».

Я не видел Реймского и Шартрского соборов — гордости Франции,— но я видел Миланский и Сан-Стефано в Вене, а теперь вот Нотр-Дам. Я затрудняюсь сказать, какой из этих трех производит наибольшее впечатление. Думаю, что все-таки Нотр-Дам, хотя, возможно, тут играют роль связанные с ним литературные и всякие другие ассоциации и воспоминания. Впрочем, вряд ли нужны сравнения. Собор прекрасен сам по себе, прекрасен своей величественностью, изяществом и простотой (насколько она возможна в эпоху средневековья), своими башнями, украшенными резьбой порталами, аркбутанами, контрфорсами, химерами, своей благородной темно-серой окраской, о которой Виктор Гюго сказал, печалясь, что время многое отняло у собора: «Но оно же придало его фасаду тот темный колорит веков, который претворяет преклонный возраст памятника в эпоху наивысшего расцвета его красоты»[1].

[1] Нынешний министр культуры Франции Андрэ Мальро придерживается иной точки зрения. По его инициативе старинным парижским зданиям придается их первоначальный вид — патину времени уничтожают пескоструйными аппаратами. Уже побелели, потеряли свою рельефность (от всяких атмосферных явлений выступающие части здания всегда светлее основной массы) и стали похожи на молодящихся дам преклонных лет Бурбонский дворец, Квадратный двор Лувра, церковь Мадлен, Отель Крийон и морское министерство на площади Согласия, большая часть домов на рю Рояль. Неужели и Нотр-Дам постигнет та же участь? Впрочем, парижские таксисты (а они, как и наши, все знают) абсолютно спокойны: через годик-другой, говорят, все опять потемнеет, жаль только денег.

В ночь под рождество мы приглашены были на мессу в Нотр-Дам. Наши хозяева достали нам приглашения на эту пышную церемонию, которые не так-то легко получить, и не только достали, а провели через епископский подъезд, где нас встретил с поклоном пожилой любезный прелат. Вслед за ним мы проследовали под пристальными, оценивающими взглядами сотен глаз довольно длинный путь от бокового входа до предназначенных для нас почетных мест у самого алтаря и сели на свои скамейки. Здесь кое-где еще были свободные места, остальная же часть собора и хоры были заполнены до отказа. Орган исполнял фуги и прелюдии Баха. Мощные аккорды доносились откуда-то сверху, точно с неба, и заполняли собой весь храм, все его пределы. Иногда орган стихал, и в музыку сотен его труб вступал невидимый хор. Мы невольно почувствовали торжественность момента и места, где находились,— места, где сто шестьдесят лет тому назад Наполеон, взяв из рук папы Пия VII корону, сам возложил ее себе на голову...

Потом началась служба. Служившего мессу красивого, немолодого, с умным лицом епископа стали почему-то бесконечное количество раз облачать в роскошные одежды. С великим умением и старательностью надевали на него ризы и кружевные одеяния, и я невольно стал следить за тем, как он просовывает руки в рукава, а голову в отверстие ризы. У обслуживающего его кюре или прелата — не знаю в точности, как эта должность называется,— было чрезвычайно земное, городское, деловое выражение лица и такие современные очки без оправы, что чувство торжественности постепенно начало меня оставлять. Ко всему часы показывали уже один-

надцатый час, а пришли мы в восемь, а до этого мы провели довольно-таки длинный и утомительный день, глаза невольно начали слипаться.

Но самое сложное ожидало нас впереди.

Началось причастие. Епископ, сопровождаемый прелатом в очках, стал раздавать облатки. Медленно и важно приближался он к нам. Все вокруг стали на колени и высунули языки. Разной длины и цвета и в таком количестве, что мне стало даже как-то не по себе. Епископ неторопливо крестил коленопреклоненных и клал им на кончик языка облатку. Та же участь ожидала и нас...

Епископ приближался. Я насторожился. Мягкой, почти беззвучной походкой, весь в шелку и кружевах, он подошел ко мне. Немного утомленное, интеллигентное лицо его было замкнуто и непроницаемо. На какую-то долю секунды он задержался, нарушив плавность своего движения, скользнул серьезным, несколько вопрошающим взглядом по моему лицу и сомкнутым губам и прошел мимо. Меня обдало запахом тонких духов и чего-то еще, еле уловимого. Я почувствовал на себе косые взгляды соседей. Около полуночи мы покинули собор. Большинство молящихся осталось: месса еще не кончилась. Но епископ тоже удалился. Мы прошли мимо его роскошного, сияющего никелем и лаком лимузина. Немолодой шофер в красивой форме открывал ему дверцу. Мне показалось, что епископ несколько осуждающе посмотрел на нас. Впрочем, вероятно, мне это только показалось — в конце концов, мы ведь никакого этикета не нарушили, а если даже и нарушили, то все же меньше, чем Наполеон, отнявший в этом же соборе у папы Пия VII корону.

Нотр-Дам — сердце Парижа. Бронзовая плита в самом центре площади и есть та точка, от которой ведут счет километры всех национальных дорог. Остров, на котором высится собор, называется Ситэ и напоминает в плане корабль с острым носом: отсюда и герб Парижа — корабль с надутыми парусами. Двухтысячелетняя история Парижа полна великих и драматических событий. Пересказывать их здесь не будем. Скажем только, что для нас Париж не только столица Франции и один из крупнейших очагов мировой культуры, для нас он родина великих революционных традиций. Начиная с 1357 года, с восстания оппозиционных королю кругов, руководимого Этьеном Марселем, Париж всегда первым выходил на улицу, всегда кипел, бурлил, сражался на баррикадах, свергал королей, проливал кровь, свою и чужую, привлекал к себе все передовое, протестующее, ищущее. Подолгу жил в нем Герцен. Именно в Париже познакомились и подружились Маркс и Энгельс. Несколько раз бывал и жил в Париже Ленин.

С того времени Париж, говорят, несколько «ожирел». Впрочем, болезнь эта не новая — зародилась она еще при Третьей республике, если не раньше. Тенденция к «ожирению» появилась уже после поражения революции 1848 года. Так называемый «средний француз» хочет тишины и покоя. Конечно, не все французы аполитичны и стремятся к покою: волна забастовок, охватывающих иногда всю страну и парализующих ее жизнь, с достаточной убедительностью свидетельствует, что это совсем не так, но все же о тяге к тишине и покою мне многие говорили во Франции.

Один довольно бойкий журналист, не правый и

не левый, а так себе, серединка на половинку, уверял меня:

— Парижанин любит обсуждать и осуждать, но не очень любит вникать. Газеты он читает ежедневно, но относится к ним скептически. Каждый гнет по-своему, говорит он, и каждый в чем-то убедителен, но я не хочу, чтоб меня убеждали. Вас интересует, как относится француз — государственный служащий или мелкий буржуа — к действительности? А по-разному. В основном в зависимости от цен на продукты, от того, вздорожал или не вздорожал сегодня уголь и бифштекс. Об этом говорят в кафе, за столиками, иногда очень даже темпераментно, а думают о другом — скорее бы воскресенье, скорее бы сесть в свое «дё шво» и мотнуть куда-нибудь километров этак за сто от Парижа, поваляться на травке, поудить рыбку, стрельнуть в фазана... Кстати, что вы делаете в ближайшее воскресенье? Хотите в Шартр? Это и близко, и собор там знаменитый, и ресторанчик я там знаю — таких цыплят вы в жизни не ели...

Предложение было соблазнительным: Шартрский собор — краса и гордость Франции, но я им не воспользовался. И даже не потому, что собеседник мой был утомительно разговорчив и, как мне кажется, относился как раз к той категории парижан, о которой говорил сам, а просто потому, что не захотелось уезжать из Парижа, из города, о котором сказал Виктор Гюго в нелегкое для Парижа время: «У Рима больше величия, у Трира больше старины, у Венеции больше красоты, у Неаполя больше прелести, у Лондона больше богатства. Что же есть у Парижа? Революция».

Гюго сказал это сто лет тому назад. Он не мог пред-

видеть будущего. Он пережил горе Парижа, захваченного пруссаками, но вряд ли он мог предположить, что пройдет совсем ничтожный срок, и его любимый Париж дважды еще подвергнется нападению все того же восточного соседа. В 1914 году Париж отстояли, в 1940-м он пал. Франция была оккупирована. Оккупирована, но не покорена. Годы Résistance, Сопротивления навеки войдут в историю Франции, как вошли 1830, 1848, 1871 годы.

Мы, познавшие, как никто другой, все ужасы войны, гордимся тем, что в рядах участников Сопротивления были и наши солдаты, наши офицеры, бежавшие из плена и снова взявшиеся за оружие, что душой Сопротивления были потомки парижских коммунаров, французские коммунисты. Они были всегда впереди, на самых опасных участках. Этого не вычеркнешь. Нет авторитета большего, чем завоеванного кровью... Это поняли Пикассо, Матисс, Лежэ, Жолио-Кюри, Ланжевен, которые в самые напряженные годы пришли к компартии.

Мы прощаемся с Нотр-Дам. Пересекаем площадь. Двадцать лет назад ее камни в последний раз обагрены были кровью парижан. Последние, засевшие на колокольне собора эсэсовцы открыли пулеметный огонь по участникам собравшегося на площади митинга. На сохранившейся фотографии тех лет мы видим ее, усеянную телами. Сейчас она тиха и спокойна — ничто не напоминает о кровавых днях лета 1944 года.

Было бы время, мы обошли бы с вами весь остров Ситэ. Обязательно побывали бы в мрачной крепости

Консьержери. Это, пожалуй, одно из самых мрачных зданий в мире. В его казематах были заточены и жирондисты, и посадивший их туда Дантон, жертва Робеспьера, и сам Робеспьер, а за ним и судившие его судьи, до этого королева Мария-Антуанетта, ученый Лавуазье, поэт Андре Шенье, Шарлотта Корде — убийца Марата. Побывали б мы и на Гревской площади (теперь она называется Отель-де-Виль), где в средние века собирались и шумели безработные (отсюда и французское слово «grève» — забастовка), а позднее на эшафоте рубили головы,— но что поделаешь, за один раз всюду не побываешь. Поэтому, взяв такси, отправимся на плас де л' Опера.

Здесь мы рассчитаемся с такси и зайдем в маленькое кафе на углу бульвара Капуцинок. Возможно, мы даже еще и не проголодались, но в двенадцать часов — а сейчас уже двенадцать — парижане обязательно должны подкрепиться, и лучшего места, чем это недорогое кафе, чтоб поглядеть на них, мы не найдем. По узенькой лесенке мы взберемся на второй этаж и займем столик у витрины — так мы будем видеть и улицу и кафе.

Бульвар Капуцинок и следующий за ним Итальянский (вернее, бульвар Итальянцев) — это центр «шикарного» Парижа, и, как сказано в путеводителе Мишлен, «история этих бульваров — это история мод». Когда-то, при Людовике XIII, по нынешним Большим бульварам проходили стены городских укреплений. При Людовике XIV стены были снесены и на их месте проложены «променады», впоследствии ставшие называться бульварами,— излюбленное место прогулок парижского света. Именно здесь, на широких тротуарах бульвара Итальянцев, великосветские фланеры демонстрировали последние моды, а в

знаменитых кафе «Тортони», «Мезон Доре» и других писатели, художники, артисты и всевозможные дельцы назначали свои встречи, делились последними новостями, заключали сделки. Именно здесь — заядлым курильщикам это будет интересно — в 1835 году впервые вошло в моду курить публично, на улице, в кафе — раньше это считалось предосудительным. И все-таки не только фланерами и кафе знамениты эти места.

Мемориальная доска на доме № 14 по бульвару Капуцинок сообщает нам, что в подвале этого дома 28 декабря 1895 года братья Люмьер впервые публично демонстрировали свои фильмы «Выход рабочих с завода» и «Прибытие поезда» — смешные, прыгающие фильмы, положившие начало современному кинематографу. А напротив этого дома, чуть правее, за сорок семь лет до этого раздались первые залпы и пали первые жертвы революции, свергшей Луи-Филиппа. Бульвару Капуцинок есть что вспомнить...

Сейчас на площади и на бульваре особенно оживленно. И в нашем кафе тоже. Все столики заняты. Тесно невероятно. Везде — на спинках стульев, на подоконниках, иногда на коленях или просто под столом — лежат пальто. Хорошенькие официантки, балансируя подносами, ловко лавируют среди тесно составленных столиков. А над всем этим непрекращающийся гул голосов — никто молча не ест, все разговаривают, смеются, шутят, хвалят и осуждают друг друга, знакомятся, не обращают ни на кого внимания и в то же время, быстрым взглядом скользя по тебе, сразу же дают тебе оценку.

Одеты все просто, но — парижане остаются парижа-

нами — всегда со вкусом и красиво. Ничего кричащего, но и тусклого нет. Какой-нибудь яркий шарфик или перчатки — и все сразу начинает играть. Большинство девушек в штанах, особые модницы даже в кожаных. И в кожаных курточках на молниях. Впрочем, говорят, что мода уже проходит, перекочевывает в провинцию — в Авиньоне, например, «кожаных» девушек куда больше, чем в Париже. Прически разные, но самое модное сейчас — это парики. Один раз — не помню уже где — я просто обомлел. За соседним столиком сидела красивая, по-мальчишески растрепанная брюнетка. А через несколько минут, когда я на нее взглянул, она оказалась вдруг соломенно-яркой блондинкой. Оказывается, ей просто стало жарко в парике.

Народу в кафе много, но обслуживают вас молниеносно. Не успел заказать, как официантка уже приносит аппетитный бифштекс, свежую булочку и обязательный графин вина. Без вина французы не обедают. В энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона (сведения, правда, не очень свежие, за 1887 год) утверждается, что на каждого парижанина за прошедший год пришлось по 184,7 литра вина, 7,48 литра сидра или грушовки и 11,22 литра пива. Иными словами, ежедневно парижанин выпивает (учитывая, что женщины и дети пьют все-таки чуть меньше) полторы, а то и две бутылки вина.

Попутно о Брокгаузе и Ефроне и сведениях, которые я там почерпнул, читая статью, посвященную Парижу. Очень странно, например, сейчас, во второй половине XX века, читать, что крепостная стена окружает город по обоим берегам Сены и состоит из военной улицы, вала, рва и гласиса, 94 бастионных фронта и 66 потерн, а окон-

ченная в 1878 году новая линия фортов состоит из семи первоклассных фортов, каждый на 1200 человек команды и 60 тяжелых орудий, 16 фортов второго разряда на 600 человек команды и 24 орудия и около 50 батарей и редутов на 200 человек и 6 орудий каждый. Все это, как утверждает словарь, «делает Париж недоступным для полной осады и бомбардировки».

Как странно читать сейчас эти наивные строки после того, как гитлеровцы без боя заняли Париж в 1940 году. «Да, но зато он остался цел,— говорят некоторые французы,— немецкие снаряды и бомбы не нанесли в эту войну ни одной раны Парижу». Да, Париж остался цел, и мы этому рады не меньше парижан, но стоит ли забывать вишийскую политику тех лет, политику предательства и сотрудничества с Гитлером? Кстати, во Франции сейчас в определенных кругах опять заговорили о Петене и вспоминают о нем как о герое, взявшем на себя весь позор предательства, чтоб спасти Францию от разрушения. Это напомнило мне рассуждения сектантов-иудаистов, которые утверждают, что Иуда был самым верным учеником Христа, сознательно принявшим на себя позор предательства, чтоб ускорить вознесение Христа на небо. Утверждается даже, что слова Христа: «Один из вас сегодня предаст меня» — звучали не как горькое предсказание, а как прямой приказ, который, мол, Иуда и выполнил. Что же касается Петена, то за его политику французы заплатили очень дорогой ценой — ценой крови сотен расстрелянных французов, ценой концентрационных лагерей и Орадур-сюр-Глан...

Вот о чем невольно задумываешься даже двадцать

лет спустя в центре города, который сейчас так оживлен, красив и безмятежен...

Но пора уже домой. Расплатимся внизу, у кассы, и пойдем в отель. Там нас уже ждут — надо начинать «трудовой» день.

Существенным элементом этого «трудового» дня были приемы и встречи. Нас троих — К. Паустовского, А. Вознесенского и меня — пригласило в декабре 1962 года во Францию общество французских литераторов. Председатель этого общества мосье Шабанн и «ведавшая» нами «по линии» министерства иностранных дел мадам Ланшон в первый же день вручили нам отпечатанную на машинке «программу» нашего пребывания. Программа была достаточно насыщена. Пожалуй, не было в ней ни одного дня без какого-либо приема или, как французы говорят, «reception». Они бывают разные.

Бывают торжественные, в каком-либо ресторане, где все сидят за красиво убранным столом и по очереди произносят любезные тосты. Бывают попроще, где все толкутся с рюмками и бутербродами в руках под непрекращающиеся вспышки фоторепортерских блитцев. Бывают и более интимные, на чьей-нибудь квартире,— здесь народу поменьше, репортеров совсем нет и можно даже снять пиджаки.

Так, за накрытыми столами, где в более, где в менее официальной обстановке, мы познакомились со старейшими французскими писателями Франсуа Мориаком и Андрэ Моруа, с писателями группы «нового романа», с кинорежиссером Ф. Росиффом.

На одном из таких reception нас представили некоей мадам Барбизон, пожилой даме с недовольным лицом. Через несколько дней, взглянув в нашу программу, я увидел, что мы должны идти к ней на встречу с парижскими студентами.

И вот в большом особняке мадам Барбизон на Монмартре нам был продемонстрирован, так сказать, еще один вид приема, вид, который должен был, очевидно, относиться к разряду дружеских, непринужденных встреч. В большом двухэтажном салоне с внутренней лестницей и балконом собралось много молодежи. Поначалу, когда мадам Барбизон знакомила всех со всеми и пыталась руководить парадом, было как-то натянуто и скучно. Потом, когда все расселись кто куда, многие просто на пол, и Вознесенский прочитал свои стихи, а Паустовский провел нечто вроде беседы, скованность постепенно стала проходить. Когда ж она совсем исчезла и в разных концах двухэтажного зала завязались какие-то оживленные дискуссии, нам вдруг дали понять, что надо «закругляться». Кажется, хозяину дома, довольно мрачному мужу мадам Барбизон — весь вечер он промолчал, переходя от группы к группе,— вся эта кутерьма попросту надоела, и его потянуло ко сну. Уходить было жаль: только-только завязались какие-то дружеские отношения, но что поделаешь. Мы ушли.

Для чего все это было сделано, я так и не понял. Студенты были из разных учебных заведений, двое даже из военных училищ, но по какому принципу они были здесь собраны, мне не совсем ясно. Впрочем, студентам, по-моему, тоже. И вообще, встреться мы с этими же ребятами не в особняке богатого и быстро устающего фабриканта, мужа мадам Барбизон, а хотя бы на том же

Монмартре, в каком-нибудь захудалом бистро, все было бы гораздо проще, веселее и интереснее...

И все же, как бы официален или не совсем удачен, как в данном случае, ни был бы прием, всегда найдется на нем человек, с которым интересно познакомиться, поговорить, поспорить. На одном из таких приемов я встретился с очень известным во Франции поэтом Пьером Эммануэлем. Мы, к сожалению, мало знали друг о друге, но нам интересно было поговорить и очень хотелось продолжить разговор у него на родине, в Провансе, в небольшой деревушке Эгальер. Но пути наши как-то разминулись — в Эгальер мы попали за несколько дней до его приезда туда. Очень рад я и знакомству с Натали Саррот — французской писательницей, русской по происхождению. Это человек удивительной простоты, естественности и деликатности, с которой на пятой минуте знакомства чувствуешь себя старым другом. На своей маленькой машине «deux chevaux» («две лошади»), неказистой на вид, но дешевой и самой любимой парижанами, она возила нас на Блошиный рынок, каждый закоулок которого ей известен, бродила с нами по набережным Сены, усиленно приглашала на рождество к себе в деревню, но тут, как всегда, помешало расписание. Очень хотелось мне также посидеть вместе с ней, правда за разными столиками, в ее «творческом» ресторанчике и написать там какой-нибудь крохотный рассказик, неважно какой, но чтоб внизу можно было написать: «Декабрь, 62 г. Париж». Но тоже не получилось.

Кстати о «рабочих столах». Мы осматривали Мальмезон, загородный дворец Наполеона, купленный ему Жозефиной специально для отдыха. Водил нас по двор-

цу милейший и галантнейший хранитель музея, рассказывал истории каждого кресла, каждого подсвечника, каждой безделушки, бережно хранящейся под стеклом. Когда мы зашли в кабинет-библиотеку, ту самую, из которой опальный император в 1815 году, попрощавшись со своим братом Жозефом и Гортензией Богарнэ, отбыл на остров Святой Елены, милейший хранитель музея указал нам на изящный красного дерева с золотом стол и сказал:

— Вот за этим столом император работал. Здесь, в Мальмезоне, он не только отдыхал, но и работал. И всегда в одиночестве: он не любил, чтоб ему мешали. Здесь, в тиши этого кабинета, разрабатывался мирный договор с Испанией, составлялись предварительные условия перемирия с Англией, конкордат с Ватиканом. Здесь же, за этим столом, император работал над кодексом ордена Почетного легиона. О, это очень знаменитый стол...

И тут я в шутку сказал:

— Вот поработать бы за этим столом...

Любезнейший хранитель музея на это только улыбнулся и сказал:

— Пожалуйста, когда вам будет угодно. Только предварительно позвоните мне...

Как-то вечером мне было сказано, что надо пойти в книжный магазин «Глоб»: там, мол, состоится подписывание книг — очень распространенное у французов «мероприятие», о котором заранее даже сообщается в газетах. Меня это занятие почему-то всегда смущает: стоишь, глупо улыбаешься и не знаешь, что надписывать,

но отказаться было бы нелюбезно, и я поехал. Просидел я полчаса за столом, поулыбался, понадписывал, поотвечал на вопросы о тиражах, гонорарах, Солженицыне, а когда запас книг иссяк и вокруг стола поредело, я с ужасом обнаружил, что в углу на диванчике сидит мой дядя. Бог ты мой, в этой суете я совсем забыл, что мы условились с ним здесь встретиться. А еще ужаснее, что нам и поговорить-то не удастся: в семь часов у мадам Луазо встреча с писателями, а сейчас уже без пяти. Черт знает что, ничего не успеваешь, вечно опаздываешь...

С дядей мы не виделись и не подсчитаешь сколько. Он профессор геологии, с незапамятных лет живет в Швейцарии, а я в этой стране был последний раз лет этак около пятидесяти тому назад. Узнав, что я в Париже, дядя позвонил из Лозанны ко мне в гостиницу, и мы условились, что я встречу его на следующий день на Лионском вокзале. Конечно же мы оба долго не могли в густой толпе обнаружить друг друга, я дважды бегал на привокзальную площадь и, только потеряв уже всякую надежду найти, увидел его стоящим на том самом месте, на котором недавно стоял я. Почему-то я думал, что он должен быть с усами, а оказалось — совсем бритый.

Потом мы сидели с ним в некоем датском ресторане на авеню де л'Опера («Сходим туда, это недалеко, и там неплохо кормят»,— сказал дядя) и пили с ним датскую водку из бутылки, вмороженной в глыбу льда. (Несколько дней спустя, когда мы с моими новыми парижскими друзьями искали, где бы пообедать, я небрежно сказал: «Я знаю одно местечко — датский ресторан, это недалеко, и там неплохо кормят». В тот момент я чув-

ствовал себя настоящим парижанином.) Так мы сидели и разговаривали о разных разностях. Он рассказывал о своей жене, моей тетке, ей недавно делали глазную операцию; о Лозанне, в которой прожил почти всю свою жизнь,— она очень изменилась за последние годы; о новом туннеле под Монбланом — дядя крупный специалист в этом деле; о том, что из-за массы дел почти нет времени ходить по горам, а он это очень любит. Так мы сидим и ведем негромкий разговор. Кругом тихо и чинно. Людей почти нет, только за столиком в углу сидит какая-то пожилая пара, очевидно муж и жена, оба в толстенных очках и очень похожи друг на друга. Говорят, это бывает при очень долгой семейной жизни.

Все это происходило в четыре часа дня 13 декабря 1962 года.

А ровно двадцать лет тому назад, в этот же самый день — а если быть совсем уж точным, то не 13, а 15 декабря 1942 года,— я тоже пил водку и тоже очень холодную, ее вынимали из сугроба. Но разливали ее не в хрустальные рюмки с монограммами и коронами, а в алюминиевые кружки и закусывали не устрицами и датским сыром, а тушенкой. В тот вечер в Сталинграде мы отмечали мое повышение в чинах — присвоение звания капитана. И было совсем неплохо. Мой связной Титков раскалил вымоченными в керосине кирпичами докрасна нашу печурку, стол ломился от яств — тушенки и чеснока и даже трех апельсинов, принесенных конечно же командиром разведвзвода, в углу шульженковским голосом хрипит патефон, и только отдаленные глухие разрывы напоминают о том, что где-то в полутора километрах у водонапорных баков сидят немцы. Но сегодня нам не до них: сегодня помкомвзвода Казаковцев торжест-

венно вручил мне собственноручно сделанные им из латуни выпуклые, блестящие «шпалы», и я навсегда расстался с красными лейтенантскими кубиками на своих петлицах. Это событие немалое, и никто не имеет права нам мешать. «Э-э, Титков, будут спрашивать из штаба, скажи, что я на передовой. Поставь там у входа кого-нибудь из наших. А заодно притащи-ка еще из сугроба...»

Кто думает, что в Сталинграде был только ужас, ад и стиснутые зубы, тот ошибается. Было и то, и другое, и третье, и не у всех выдерживали нервы, но было еще одно — солдат всегда найдет, как использовать тишину на переднем крае, как скоротать долгие часы ожидания перед началом задания, как приукрасить, хоть малость, жизнь, которая неизвестно сколько еще продлится. В подвале мясокомбината за час до атаки на злосчастные баки комбат-1 Беньяш устраивал концерты самодеятельности, и, скажу, совсем неплохие: тенор, бас, частушки под баян, двое чечеточников, и даже фокусник не хуже Кио, разве что без лилипутов. К комбату-2 Котову все ходили слушать пластинки Утесова, Руслановой и даже Собинова и Неждановой. Любители прекрасного пытались в меру своих сил украсить свой земляночный быт — приклеивали к стенкам фотографии, вырезанные из журнала картинки. В одной землянке, помню, висели даже репинские «Запорожцы» в самой настоящей раме. А командиру полка майору Метелеву — мы его все любили — саперы обшили весь блиндаж толстыми глянцевитыми кусками картона. Солдаты притащили его откуда-то из-за тридевять земель, чуть ли не с «Баррикад», и майор зажил во дворце — картон был расписан под мрамор. Когда же кончилась в Сталинграде стрельба, имен-

но в его землянке было прорублено первое на весь фронт окно, и с соседних полков приходили смотреть на это чудо XX века...

Тот памятный вечер 15 декабря закончен был по всем правилам фронтовой традиции — вылезли из землянки на морозный воздух и дали залп из пистолетов и автоматов прямо в небо, по звездам. А потом разошлись по домам, по своим землянкам и завалились спать. Засыпая, я, вероятно, думал о том, как хорошо, что никто нас не потревожил, что неплохо все-таки «обмыли» свеженькую «шпалу», что Титков как метрдотель оказался на высоте, но вряд ли я мог тогда предположить, что двадцатилетие этого знаменательного события я буду отмечать в парижском ресторане на авеню де л'Опера в компании со своим дядюшкой-профессором, приехавшим из Лозанны.

Переводчицей у нас была Ольга Леонидовна — веселая, подвижная, очень экспансивная дама, живущая во Франции с ранних лет: родители вывезли ее из России совсем еще маленькой девочкой. Ей, ее энергии мы обязаны очень многим. Ей же я обязан и осуществлением своей давнишней мечты — встрече с кумиром моей юности Ле Корбюзье.

— Завтра в одиннадцать утра вас примет Корбюзье,— выпалила она, с трудом переводя дыхание от волнения, счастья и крутой лестницы, по которой бежала, чтобы поскорее сообщить мне эту радостную новость.— Я только что звонила ему, и он разрешил прийти к нему завтра ровно в одиннадцать в его мастерскую на рю де Севр...

Я не буду повторять, чем для нас был Корбюзье в студенческие годы. О его творчестве, о нашей переписке с ним в те годы я уже писал в предыдущих очерках. Скажу только, что для меня встреча с ним, одним из крупнейших архитекторов мира, «отцом конструктивизма», была если не самой, то одной из самых завлекательных приманок нашей поездки во Францию.

За день до визита мы были на выставке Корбюзье в Музее современного искусства. Большая часть выставленных работ мне была известна. Но представлены они были очень широко и подробно, с эскизами, зарисовками, макетами, со всей кухней зарождения и развития первоначальной мысли. Это была в какой-то степени итоговая выставка многолетней деятельности Корбюзье. В четырех или пяти залах музея разворачивается весь сложный, интересный, противоречивый, но всегда заполненный поисками путь большого и очень интересного художника.

Я сказал «художника», а не «архитектора» не случайно. И не потому, что Корбюзье в прошлом вместе с Озанфаном писал плоскостно-декоративно-условные натюрморты, а потом много времени уделял «tapisserie» — стенным коврам, тоже условно декоративным, а потому, что понятие «художник» шире понятия «архитектор», а сам Корбюзье вечно был раздираем противоречиями, в нем самом все время шла борьба между инженерией и пластикой, между разумом и чувством, «рацио» и «эмоцио». На одном полюсе — дом в Марселе (или более знакомый нам Центросоюз на улице Кирова в Москве), на другом — капелла Роншан. Эти два (или три) взаимоисключающих творения — предельная рациональность одного и абсолютная иррациональность другого —

и есть его лицо — лицо мастера, лицо художника. В непрекращающейся внутренней борьбе, неуспокоенности, вечном поиске весь Корбюзье.

...Мы с Андреем Вознесенским зашли в хмурый, неприветливый, замкнутый городскими стенами двор. Поднялись по такой же мрачной лестнице на второй этаж и попали в узенький коридор-прихожую. Кто-то сидевший там попросил нас минуточку подождать, вышел, потом вернулся и сказал:

— Пожалуйста, вас просят.

Не без трепета шагнули мы в еще более узенький коридорчик, ведший в большую мастерскую, но до нее не дошли, а свернули налево в крохотную с узким окном в углу комнату. Из-за стола навстречу нам поднялся Корбюзье.

(Точно так же в 1938 году мне было сказано: «Пожалуйста, вас просят», только не на французском, а на русском языке в особняке Леонтьевского переулка. Но тогда я трепетал чуть побольше: я шел на экзамен к Станиславскому. Между прочим, сидя у Корбюзье, я вспомнил Станиславского — в них есть что-то общее: рост, большие красивые руки, галстук бантиком, но главное — какое-то неуловимо ощутимое величие, не имеющее никакого отношения к важности. Просто ты чувствуешь, что перед тобой великий человек — великий даже при своих слабостях.)

У Корбюзье большое умное лицо с резкими складками возле рта, редкие, гладко зализанные назад седые волосы, очки в толстой оправе и, как я уже сказал, очень большие, с длинными сильными пальцами руки, на которые все время смотришь — они чуть-чуть дрожат. Он немного глуховат, переспрашивает. Больше любит гово-

рить, чем слушать. К нам отнесся с большим вниманием, но без особого любопытства.

После первых общих фраз я задал вопрос: помнит ли он нашу переписку тридцатых годов, переписку с молодыми советскими студентами, которые клялись ему в вечной любви и задали ему несколько вопросов, на которые он любезно и очень интересно ответил. Нет, он не помнит ничего. Я сказал, что, если его это интересует, я могу прислать фотокопии его писем. Он поблагодарил, но особого интереса опять-таки не проявил. Тогда я поинтересовался тем, как он смотрит сейчас на один из своих ответов, в котором он говорил, что его нисколько не интересует архитектура церквей, что надо заниматься архитектурой и планировкой городов, что это куда важнее, а теперь вот он создал капеллу Роншан, доминиканский монастырь Сен-Мари-де-ла-Турет? Чем это можно объяснить?

Он прямого ответа не дал, а стал говорить о том, что проблема современного города до сих пор не решена, что любой большой город не в силах выбраться из тупика, в который его загнал автотранспорт, и что цель его жизни — вывести город из этого тупика. Он говорил долго, интересно, не давая себя перебить, а если нам это где-то удавалось (мне все же хотелось вернуться к поставленному вопросу), ловко обходил наши сети и развивал свои собственные мысли. Он говорил о городах-сателлитах; о транспортных артериях, вливающихся в город, которые привлекли сейчас особое его внимание; о том, что французские власти не идут ему навстречу в решении самых насущных проблем; что за свою жизнь он много уже настроил в разных концах света и меньше всего во Франции, второй его родине: Корбюзье по про-

исхождению швейцарец, настоящая фамилия его Жаннере.

Я сказал о Советском Союзе, где идет сейчас грандиозное жилищное строительство и где его талант и знания могли бы очень пригодиться.

— Нет,— сказал он решительно.— Я трижды просил у Сталина разрешения работать у вас или хотя бы приехать к вам. И трижды он мне отказал.

— Но Сталина уже нет...

— А у меня времени нет. Я не могу ждать тридцать лет. С этим тоже надо считаться. Я не молод, я поставил перед собой определенные задачи и должен их выполнить. На остальное у меня не хватит времени.

— Но разве вас, архитектора больших масштабов, не интересует размах нашего строительства? У нас такие возможности... Мы уже отказались от декоративной, эклектической архитектуры, мы ищем новое, современное.

— Это очень хорошо. Я желаю вам успеха. Но у меня свои планы. Хорошо бы хоть с ними справиться.

Но все же хотелось примирить обиженного старика с нами. Может, он хочет, чтоб ему высылали наши книги, журналы, монографии по архитектуре?

Он улыбнулся и указал на солидную стопку журналов, возвышающуюся в углу комнаты, прямо на полу.

— Видите эту гору? Это я ежедневно получаю столько. И я их выкидываю. Я их не читаю. У меня нету времени. Я его экономлю. Каждую минуту экономлю.

Мы поняли это как намек и стали приподыматься со своих стульев. Но он посадил нас и опять стал говорить о проблеме городов. Сказал, что совсем недавно вышла

его книга на эту тему и что мы можем ее приобрести в таком-то магазине. Он забыл адрес магазина, позвонил своей секретарше, и та принесла нам — нет, не книги, как втайне надеялись мы,— а только адрес. (На следующий день Корбюзье сам позвонил Ольге Леонидовне и сообщил, что адрес оказался неправильным, вот новый... По-видимому, ему очень хотелось, чтоб эти книги у нас были, но пошел он почему-то по несколько осложненному пути.)

Разговор постепенно стал выдыхаться, возвращаться к одному и тому же — проблеме города, и мы (шел уже второй час нашего визита), чтоб оживить его, попросили разрешения сняться вместе с ним.

Он категорически отказался.

— Нет, нет,— решительно сказал он.— Я ни с кем не фотографируюсь. Не надо.— И после краткой паузы добавил: — Вместо этого я вам лучше...

Он взял листок бумаги и быстро, тремя-четырьмя штрихами нарисовал «модюлор». Модюлор — это придуманные им архитектурные пропорции, связанные с пропорциями человеческого тела. Нечто вроде золотого сечения. Графически это фигура человека, пересеченная на разных уровнях горизонтальными линиями, членящими фигуру человека на определенные взаимозависимые отрезки.

Он нарисовал человека, подписался своим знаменитым «L. C.» и преподнес мне. Потом хитро взглянул на Андрея Вознесенского и вместо человечка нарисовал орангутанга. Андрей торжествующе посмотрел на меня — обскакал!

Перед уходом Корбюзье завел нас в свою мастерскую. В ней работало человек десять молодых архитек-

торов, он к ним нас не подвел, а подвел к большой ученической черной доске, разрисованной мелом, и сказал:

— Вот тут все начинается...

Мы с уважением посмотрели на доску и стали раскланиваться. Рука у него крепкая, совсем не стариковская. На прощание он вдруг потрепал меня за чуб и сказал с той же лукавой улыбкой, какая у него появилась, когда он рисовал орангутанга:

— Когда-то и у меня такие вот волосы были, а теперь...— Он рассмеялся и, слегка подталкивая нас в спину, проводил до выхода.— Спасибо, что пришли. Не обижайтесь на меня. Мне еще так много надо успеть сделать.

Мы спустились вниз по темной, мрачной лестнице.

Весь день у меня не проходило какое-то ощущение горечи. Почему? Человек прожил большую, интересную жизнь, достиг предельных высот и всемирной славы, прижизненно стал классиком архитектуры, о нем пишут тома исследований, здания его красуются во всех концах мира — и во Франции, и в Японии, и в Германии, и в Индии, и у нас, в Москве, по его даже не осуществленным проектам учится молодежь, да и сам он, несмотря на возраст, полон еще сил, планов, намерений. Что же еще надо человеку? И почему меня не покидает чувство горечи? А потому, что у этого семидесятипятилетнего человека сил куда больше, чем от него требуют. И вообще от него ничего не требуют — ему заказывают. Католическая церковь заказала или, скажем мягче, предложила ему спроектировать капеллу Роншан — он согласился. «Меня в архитектуре интересует все. Эта задача мне тоже показалась интересной, я и взялся ее осуществлять».

Доминиканский орден предложил построить монастырь — он опять согласился: тоже интересно. Но никто не предложил ему, как в Бразилии Оскару Нимейеру (кстати, ученику Корбюзье), построить целый город. А ведь это мечта Корбюзье. Построить город на определенное количество жителей, продуманный во всех деталях, город-образец, город будущего «Ville radieuse» — «Лучезарный город», о котором он столько лет грезил. Почему французское правительство, канонизировавшее его за капеллу Роншан, не предложило ему ни разу такого проекта? Мне говорили потом, что правительству, мол, нет никакого интереса строить такие города: зачем тратить на это деньги, что город Бразилиа Нимейера строился с определенной целью — привлечь промышленников и предпринимателей к богатому и дикому краю, где заложена столица Бразилии, что в свое время Корбюзье сделал проекты Ла-Рошаль-Палисс, Алжира, Сен-Дие, но тогда у правительства не было денег, а сейчас появились другие заботы.

Противоречит ли сам себе Корбюзье — вот вопрос, который меня больше всего интересует. Пожалуй, да. Об этом я уже говорил — раньше и несколькими страницами выше. И в то же время нет. Функция, назначение — вот что лежит в основе всех творений Корбюзье. В марсельском доме — удобство жилья, в Центросоюзе — удобство рабочего места, в павильоне Филиппс на Брюссельской выставке — стремление привлечь к себе внимание, в капелле Роншан — настроение, та же цель, что и у строителей Нотр-Дам. Нам могут быть далеки эти настроения, мы можем их не разделять, но то, что с поставленной перед собой задачей — в капелле Роншан создать для молящихся ощущение чего-то мистически

возвышенного — Корбюзье блестяще справился, этого не отвергнешь[1].

Функция, назначение здания — основа архитектуры. Когда функции изменяют или искусственно подменяют ее другой — жилой дом делают, как дворец, гостиницу, как храм, станцию метро, как церковь с куполом, а единственная цель высотного здания — быть высотным,— тогда архитектуры нет. Есть здание, карнизы, колонны, шпили, но нет архитектуры. У Корбюзье она всегда есть.

И все же он противоречив. Нет, это не то слово. Настоящий художник не противоречив, он ищет. А значит, и может ошибиться. В поисках нового может отказаться от уже найденного. Он не догматик. В этом Корбюзье опять-таки похож на Станиславского. Автор знаменитой «системы Станиславского» больше всего боялся, что она может превратиться в догму, в евангелие. Он тоже искал, отвергал, бросался в крайности, опять возвращался, опять отвергал и больше всего боялся застоя, окостенения. Я помню еще бесконечные очереди на «Три сестры», «Вишневый сад», «Царя Федора», помню ощущение счастья, которое мы испытывали, добившись у администрации пропуска на ступеньки бельэтажа, а недавно, когда я проходил по Камергерскому мимо театра, два человека предложили мне купить у них билеты.

Впрочем, театр не архитектура, у него свои законы.

---

[1] В этом месте читатель может упрекнуть меня в том, что в предыдущем очерке я давал несколько иную оценку капелле Роншан. Это верно. Но дело в том, что, хотя я не видел капеллы в натуре во Франции, я видел небольшой цветной фильм, посвященный ей, и после просмотра понял, что первая моя оценка была не совсем верна. Тем не менее я оставил ее в предыдущем очерке неизменной, так как в то время, когда он писался, я был именно такого мнения и не считаю себя сейчас вправе это место исправлять.

Но у всех видов искусства есть один, общий для всех закон — не застывать, не топтаться на месте, идти вровень со своим веком, а может быть, даже чуть-чуть впереди. И Станиславский и Корбюзье родились в XIX веке, но оба они стали великими реформаторами XX века. И оба искали правду. В театре — это правда переживаний, правда воплощения чувств, в архитектуре — это правда конструкции, исходящей из назначения и подчеркивающей функцию здания.

«А где же идея?» — скажут мне. Разве не она является основой всех основ? Ну конечно она, кто ж спорит. Но идея сама по себе существовать не может. Она требует своего воплощения в определенных формах. Демократические Афины нашли эти формы в периптере Парфенона, императорский Рим — в роскоши и богатстве Форума, средневековье — в готике соборов, Возрождение — в творениях Браманте, Брунеллески, Виньолы, Микеланджело. Наш русский ампир нашел свои формы в образцах великого прошлого. Нашел свои формы даже современный фашизм: немецкий — в Нюрнбергском ансамбле «Партайтаге» и имперской канцелярии, итальянский — в монументальнейшем и безвкуснейшем из всех существующих стадионов Форо Муссолини (ныне Форо Олимпико) и римском комплексе так и не открывшейся всемирной выставки. «Величие, сила и суровая простота!» — вот лозунг этой бесчеловечной архитектуры, в которой не было ни величия, ни силы, ни суровой простоты.

Сейчас мы ищем формы, которые соответствовали бы нашей современной эпохе. Идея ясна — архитектура должна быть демократичной, не замкнутой, не отгораживающейся, а привлекающей к себе, удобной, функцио-

нальной, продуманной, архитектурой для народа, а не для единиц и учреждений. Идея ясна, а формы все еще нет. Только нащупываем. Переносить с Запада готовые формы нам не к лицу. Капелла Роншан не найдет у нас своего места, а вот автор ее нашел бы, уверен в этом.

Ле Корбюзье никогда уже не прочтет этих строк и не узнает, что влюбленные в него когда-то студенты, став взрослыми, в него веры не потеряли и только немного огорчаются, что талант одного из крупнейших мастеров современности использовался не теми, кому он был бы гораздо полезнее.

Ле Корбюзье не зря так много говорил о трагедии современного города. Проблемы его очень сложны. Как нового, строящегося, так и старого, веками сложившегося. Париж особенно остро переживает это сейчас. В нем три миллиона жителей (в Большом Париже — шесть миллионов), вопрос жилья до сих пор не разрешен, а строить в самом городе уже негде. В тупик зашел и транспорт: парижские улицы не выдерживают напора машин, воздух отравлен выхлопными газами. А жить где-то надо и передвигаться тоже.

Парижские газеты наперебой пишут о будущем своего города. Статьи, проекты, прогнозы, дискуссии, споры, обвинения, а в общем-то перспективы весьма расплывчаты. Много споров идет вокруг HLM — жилищной строительной организации, поддерживаемой коммунистами и прогрессивными элементами Парижа, организации, которую хочет прибрать к своим рукам правитель-

ство. Много пишут и о методах самого строительного процесса — каждый день во Франции погибает не менее одного строительного рабочего, а последняя катастрофа на бульваре Лефевр, где рухнуло двенадцатиэтажное здание, стоила жизни четырнадцати рабочим. Все это тревожит, волнует парижан. Проблемы жилья, транспорта, водоснабжения, свежего воздуха, воскресного отдыха — как их разрешить?

При Наполеоне III префект Парижа Османн довольно решительно перекроил план города. Он прорубил сквозь запутанную сетку узеньких уличек старого города широкие, прямые авеню и бульвары. Город значительно благоустроился, а заодно и Наполеон III несколько успокоился — он больше всего боялся бунтов и мятежей, а широкие бульвары куда труднее перегородить баррикадами, чем кривые, тесные переулки. Стоило это громадных денег, но затраты оправдали себя — Париж стал тем Парижем, каким он есть сейчас.

Сегодня охотников тратить такие суммы нет. Знаменитый проект Ле Корбюзье «Вуазен» (полная реконструкция центра Парижа — гигантские небоскребы среди сплошного парка) так и остался проектом. Что же делать?

Как и всегда в таких случаях, начали с пригородов. Сейчас вокруг Парижа в небольших городках-поселках, на расстоянии пяти — десяти — двадцати километров строится пятьдесят новых жилищных комплексов. Размеры их разные — от шестисот до четырнадцати тясяч квартир. Многие из них еще строятся, некоторые уже готовы. В общей сложности это обеспечит жильем от шестисот до восьмисот тысяч населения. В какой-то степени это облегчит квартирный кризис (именно в какой-то, так как

процент непригодных для жилья домов доходит в Париже до тридцати процентов), но ни в какой степени не решит, а, наоборот, усложнит проблему транспорта — как минимум сто пятьдесят тысяч новых машин вольются в поток парижских улиц.

Наиболее крупные из этих комплексов возводятся в Гаржле-Гонесс, Витри-сюр-Сен, Шатенэ-Малабри, Масси-Антони, Буасси-су-Буа, Сен-Дени, Сарсель. Наиболее интересные архитектурно, на мой взгляд, два относительно небольших массива (на тысячу пятьсот и тысячу семьсот квартир) в пяти километрах на восток от Парижа — в Бобиньи и Пантэн. Авторы этих проектов Эйо и Ведр попытались избежать обычного однообразия таких массивов. Их ансамбль состоит из прихотливо извивающихся лент корпусов, не выше шести этажей, и разбросанных среди них вертикальных круглых и крестообразных башен в двенадцать — тринадцать этажей. Это придаст массиву определенное разнообразие и живописность, особенно если смотреть на него с самолета — самой выгодной точки, как считает один из известных французских архитекторов, Марсель Лодс.

«Совершенно необходимо,— пишет он в журнале «Арштиектюр д'ожурдюи»,— чтобы все руководители — министры, члены правительства, работники муниципалитетов и строители — архитекторы, инженеры, урбанисты — большую часть своего времени проводили в самолетах. Градостроительная и архитектурная композиция требует, чтоб ее рассматривали именно сверху, с самолета. Только оттуда можно оценить ошибки чаще и красоты реже современных строений, так как исчезают детали и четко читается общая композиция».

Так вот, общая композиция всех этих массивов очень хороша, особенно в Бобиньи и Пантэне, но что о них говорят сами жители — не знаю; возможно, им тоже надо почаще летать на самолетах. Но это так, в шутку, а если серьезно говорить, то современному, по всем правилам построенному городу куда как далеко по красоте и живописности до безалаберных, хаотично застроенных, а потому если и не всегда удобных, то в большинстве своем живописных городов прошлого. Тут нынешним архитекторам придется еще крепко подумать. То, что так хорошо в макете — белые пластмассовые кубики на черной полированной доске и зеленые губки, изображающие зелень,— далеко не так привлекательно в натуре. Очевидно, архитектуру надо воспринимать все же не с самолета, а с тротуара.

Пригороды пригородами, а город тоже хочет строиться. И строится, и реконструируется, что-то сносит, что-то возводит, решает тысячи головоломок. В Париже много новых, ультрасовременных зданий. Но их как-то не ощущаешь — они тонут в Париже прошлых веков. При всем своем железобетоне, алюминии и стекле, они по-своему приспособились к соседним зданиям и стесняются выпирать наружу. И это совсем не плохо. Но милой этой застенчивости скоро придет конец. Парижу мало уже слишком прижившейся Эйфелевой башни (на нее давно никто не сердится, а что было, когда ее возвели!), мало здания радиоцентра и ЮНЕСКО (кстати, очень деликатно вписавшегося в окружающий ансамбль), Парижу захотелось небоскребов. И он вскоре их получит.

В шести точках Парижа появятся новые кварталы, и самый большой из них — в конце оси Конкорд — Эту-

аль — порт Нейи, на другом берегу Сены, в районе плас де ла Дефанс (площади Обороны) или, как французы называют круглые площади, Рон-пуан де ла Дефанс (rond point — круглая точка).

Это парадные ворота Парижа. Сквозь них, по прямому, как стрела, семикилометровому проспекту, состоящему из четырех авеню — генерала де Голля, Нейи, Великой Армии и Елисейских полей,— приезжий попадет в самый центр Парижа — к Лувру.

Реконструкции первой очереди (зона № 1) подлежат авеню генерала де Голля, плас де ла Дефанс и прилегающие районы. Первый камень в виде построенного уже громадного выставочного здания Национального центра индустрии и техники, парусное перекрытие которого держится на трех точках, уже заложен. Напротив, по другую сторону площади, должен появиться ансамбль из четырех вытянутых параллелепипедов, самый высокий из которых так называемый «Тур-синьяль» («Башня-сигнал»), достигнет ста восьмидесяти метров. Здесь будут бюро, отели, Дворец конгрессов. Вдоль авеню — жилые дома не очень большой этажности, в виде замкнутых прямоугольников. За ними, несколько отступя,— высотные призмы различных учреждений и бюро. Расположено все довольно просторно, друг на друга не налезает, много зелени, воздуха, различных спортивных площадок, внутренних озелененных дворов.

Но самое интересное в проекте — это решение транспортной проблемы. Под авеню генерала де Голля от моста Нейи до выхода с плас де ла Дефанс сооружен будет туннель длиной в один километр для скоростного транзитного транспорта. Над ним второй — для разворотов и поперечного движения. На поверхности авеню

движение только пешеходное. Площадь Дефанс тоже трехэтажная. Ко всему этому под жилыми зданиями — подземные стоянки на двадцать тысяч машин.

Для строительства всего этого ансамбля учреждена компания на общественных началах, совет которой наполовину состоит из представителей местных и муниципальных учреждений, наполовину из правительственных.

Общее впечатление от проекта, в особенности когда смотришь на его макет (а в будущем с самолета), очень эффектное. Авторы его — архитекторы Эрбэ, Озелль, Камю, де Мэйи и Зеэрфусс.

С другими реконструируемыми районами дело посложнее. Дефанс фактически находится за чертой города, пять же остальных — Богренелль, Саблонниер, Процессион, Мэн-Монпарнас (15-й арондисман) и северо-восточный участок вдоль каналов — расположены в самом городе. Правда, с исторической и архитектурной стороны эти районы особой ценности не представляют — тут в основном промышленность и наиболее ветхий жилищный фонд города,— но все же это уже город, да еще Париж, к внешности своей, несмотря на преклонный возраст, относящийся с большим вниманием.

Не испортят ли небоскребы Париж? Не окажутся ли они чужеродными? Не нарушат ли силуэт? Смогут ли сосуществовать, хоть и на большом расстоянии, купол Пантеона и стеклянная башня нового Монпарнасского вокзала? На это пока трудно ответить, но думаю, что да! Никакой город, даже Париж, не должен отрекаться от своего века. Парижу это особенно не к лицу. А в общем, поживем — увидим. Меня сейчас куда больше интересу-

ет не площадь Дефанс, а Новый Арбат — ведь он со своими небоскребами вырастет в самом центре Москвы. Не без тревоги (возможно, и необоснованной) смотрю я сейчас на Ялту, раскинувшуюся в своей чаше у подножия Яйлы, на маленькие ее домики среди кипарисов и платанов. Скоро и здесь появятся небоскребы — высокие, стеклянные, совсем не крымские. И станет Ялта похожей на Гавану...

К самому концу поездки у меня появился друг. Звали его Никой. Лет ему было семнадцать или восемнадцать. Мать у него русская с примесью греческой крови, отец украинец. Родители из России очень давно — сам он и его два брата родились во Франции. Старшего я не видел — он отбывал воинскую повинность, с младшими же подружился. Алик, худенький, застенчивый, немного стесняющийся своего русского языка, больше помалкивал. Ника, веселый, хитроглазый, смешливый, бойко говорит по-русски и мастер на все руки. Алик скорей мечтатель, и взгляд у него какой-то задумчивый, в себя. Он рисует. Сейчас увлекается керамикой — разные вазочки, горшочки, тарелки, кувшины. Сам формует, обжигает, расписывает — очень талантливо. К чему лежит сердце у Ники — я так и не понял. Оба они уже не учатся, где-то работают, что-то развозят, а в основном, по-моему, ищут работу.

За два дня до отъезда Ника меня спросил:

— У вас сегодня опять какой-нибудь прощальный прием?

— Как будто нет, свободно.

— Может, сходим тогда куда-нибудь?

— Например?

— Вечерний Париж посмотрим хотя бы.

— Точнее.

— Хотите в студенческий ресторан? Были когда-нибудь?

— Нет.

— Пошли.

Со студентами контакт возник мгновенно. Не успели мы подсесть к столику, за которым сидело несколько ребят, как еще двое или трое подтащили свои стулья. В кафе было шумно, тесно, стульев не хватало, только встанешь — стул моментально исчезал. Решили рассчитаться и всей компанией двинуть к Пьеру, благо живет он в двух шагах по Буль-Мишу, через Ситэ, на набережную Межиссери.

Пьер, очевидно, слегка побаивался своей консьержки, а может, несколько злоупотреблял поздними приходами, поэтому подыматься по лестнице нам велено было молча и на цыпочках. Где-то на пятом или шестом этаже лестница превратилась в винтовую, потом в узкий темный коридор, и наконец беззвучный поворот ключа — и мы у Пьера.

Не знаю, как для других, но для меня прочитанное и полюбившееся в детстве или юности живо и сейчас. Как старых знакомых узнавал я места, где никогда не был, но о которых читал. Знакомой мне когда-то показалась лестница в доме, где жил Раскольников возле Сенной площади, кабинет и аскетическая с железной кроватью спаленка Чехова в его ялтинском доме. Знакомой оказалась и комната Пьера...

Именно в такой комнате должен жить парижский студент. Под самой крышей, в мансарде, с наклонной стенкой, с развешанными по стенам картинками и фотографиями, с колченогим столом и обязательно с окном, выходящим на крутые парижские крыши, трубы и бегающих по крышам котов. А вдали должен быть виден купол Пантеона, или Инвалидов, или башня Сен-Жак, или еще что-нибудь в этом роде. Сейчас ночь, никаких куполов не видно, но я знаю, что они должны быть.

И разговор в этой комнате в этот ночной час должен быть именно таким — безалаберным, перескакивающим с темы на тему, веселым, со смехом, с песней, с какими-то не очень острыми, но поминутно вспыхивающими спорами о политике, об искусстве, о чем-то своем, студенческом, нам непонятном. А часам к двум выясняется, что стол пуст. Но тут происходит нечто неожиданное. Стол пуст,— значит, надо... Но студенты мои переглядываются, пожимают плечами. В Париже? Сейчас? Разве что найдешь? Несколько озадаченные, потолкавшись, порывшись в карманах, все же уходят. Минут через десять, слышим, скрипят ступени. Являются сияющие: в руках кулечки с нарезанной ломтиками жареной картошкой. Вид победителей.

— И это все? — В глазах Ники нескрываемое презрение. — Des parisiens! Парижане!.. — И подмигнув мне: — Доказать им?

Через несколько минут мы с Никой уже в «чреве Парижа» — на центральном рынке. Это достопримечательнейшее место ночного Парижа. Именно ночью здесь все кипит. Табунами стоят, подъезжают и отъезжают громадные тупорылые грузовики. Здоровенные ребята сгружают ящики с овощами, фруктами, зеленью. На при-

лавках вырастают горы ананасов, бананов, артишоков, яблок, цветной капусты, спаржи, вороха салата, несметное количество винограда всех цветов и сортов. Тут же приносят красно-розовые телячьи, воловьи, бараньи туши. На специальных рундуках мясники в окровавленных фартуках аккуратно раскладывают сердца, печени, почки, легкие — то, что у нас в Киеве называется потрошками... Как живут люди в окрестных домах — не представляю: машины гудят, грузчики кричат, продавцы кричат, жизнь в самом разгаре, рестораны полны...

В одном из них, где все, как положено, в этот час едят луковый суп, Ника отводит в сторону пожилого официанта. О чем-то они шепчутся, и не проходит и трех минут, как Ника возвращается с оттопыренными карманами.

Торжествующие, мы покидаем «чрево Парижа», минуем самое опасное место — консьержку — и ощупью, в полном мраке, чтоб не привлечь к себе внимания, добираемся до своей мансарды. Пьер и вся его компания ошеломлены. Пять ноль в нашу пользу — у парижан тоже есть такое выражение.

Я вспоминаю сейчас этот вечер — один из самых веселых и непринужденных в Париже. Никаких салфеточек, вилочек, ножичков, никаких тостов, никакой натянутости — все просто, естественно, по-студенчески, как у нас. Только почему-то все говорят по-французски и за окнами не Трифоновский переулок, а какая-то рю де Сен-Жермен л'Оксеруа, а на стенке не Гагарин, а то ли Жан-Поль Бельмондо, то ли знаменитый велосипедист, кумир парижан.

В комнате не продохнешь от дыма. Окурки плавают

в тарелке. Соседи, не сомневаюсь, ворочаются с боку на бок: консьержка далеко и шепотом никто не говорит. Спорим об Алжире, о новом искусстве, еще о чем-то. Пьер поет песенки — у него не плохо это получается, настоящий шансонье. Ника сияет от счастья: «Правда, хорошо?» Хорошо...

На прощанье обязательный обмен адресами. Чтоб не перепутать всех, я записываю в записную книжку: Эдуард Буник (который в очках), Макс Делэтр (похожий на Фернанделя), Мишель Делорм (с бородой), Мейдуб Абдель-Вахаб (Бургиба!), Мишель Вомэ (неразборчиво), Пьер Пиньо (хозяин комнаты, шансонье — и почему-то нарисован цветок). А вдруг где-нибудь когда-нибудь еще встретимся...

К слову сказать, обмен адресами вовсе не такое уж бесполезное дело. В Италии, в городе Прато, на ткацкой фабрике нас водил и показывал ее молодой симпатичный парень Бруно. Из разговора выяснилось, что он пишет стихи. Как только выйдет книжка, обязательно пришлет. Что ж, очень мило, спасибо, буду ждать... И вот месяца три-четыре спустя кто-то звонит в дверь. Открываю. Стоят трое. «Вот какой-то иностранец вас разыскивает». Смотрю — Бруно. Двое других — наши киевляне, к которым он обратился за помощью. Оказывается, он проездом в Киеве с молодежной делегацией, привез обещанную книжечку,— вот, пожалуйста. Ну разве не приятно? Бруно был накормлен обедом и снабжен коробкой пластинок. «О! Диско руссо! Грацие! Спасибо!»

Другой случай. Сережа Здрок. Он не итальянец и не француз, а чистокровный украинец из Волынской области. Познакомились мы с ним в Германии в 1958 году.

Он был прикомандирован ко мне, так сказать, в качестве ординарца, когда я ездил туда с нашей делегацией на празднование сорокалетия Советской Армии. Это был славный и очень трогательный паренек. Когда я поздно возвращался с очередного юбилейного «мероприятия», он всегда ожидал меня у проходной или озабоченный бродил по двору казармы. «Два рази вже підогрівав ужин, а ви все не йдете. Все прохололо. А борщ такий смачний... підогріти ще?»

Расставаясь, я вручил ему громадную плюшевую скатерть, пару рубашек (он скоро должен был демобилизоваться, в хозяйстве пригодится) и гигантского фаянсового не то тигра, не то льва, на которого он с восторгом поглядывал. (Все эти презенты вручались членам делегации во время торжеств в каждом полку, в каждом батальоне.) Через год или полтора я получил от него очень обстоятельное письмо, написанное прекрасным почерком, на чистейшем украинском языке, в котором сообщалось, что у него все в порядке, на работу устроился, женился и извиняется, что с таким запозданием пишет. А еще через год другое письмо, совсем уж трогательное...

Одним словом, я верю в записывание адресов — это не только акт вежливости. Верю, что и на этот раз не зря записал адреса двух Мишелей, Пьера, Эдуарда, Макса и Мейдуба, хотя провели мы вместе всего лишь несколько часов в прокуренной комнатенке на набережной Межиссери.

Есть такое слово — «контакты». Я не очень люблю это слово (почему-то вспоминается контактный и неконтактный больной), но понятие, им выражаемое, мне дорого.

Существует великое множество разновидностей таких контактов. Конференции, съезды, конгрессы, фестивали, обмен делегациями, профессорами, студентами, все виды гастролей, спортивные соревнования, банкеты, приемы — и все они приносят свою пользу,— но самый, на мой взгляд, дорогой, самый ценный, самый полезный вид контакта — это самый простой: сесть рядом и поговорить. Так сидели мы с ребятами на мансарде, так неделю или полторы спустя сидели в маленькой квартирке мадам Оби на рю Луи Давид, 70, в районе Порт-де-Лила, таком знакомом нам по фильму «На парижской окраине». Мадам Оби — коридорная второго этажа отеля «Лувр». Немолодая уже, сдержанная, приветливая, содержавшая мой номер в идеальном порядке, она как-то сказала: «А почему бы вам не навестить как-нибудь в свободное время меня и мою дочь? Мы были бы очень рады. Добираться до нас просто — на метро до Порт-де-Лила, а там два шага». Эти два шага мы, правда, проколесили на такси не меньше получаса (почему-то мы взяли такси, а не поехали, как велено было, на метро): никто не знал улицы имени знаменитого французского художника, и только в каком-то бистро мы обнаружили ее на замусоленном плане в полуквартале от того места, вокруг которого колесили.

Во Франции, как я уже писал, не принято приглашать. А если уж в исключительных случаях приглашают к себе домой, то обставляют это с великой торжественностью, готовясь за много дней, долго и старательно отбирая приглашенных. Мадам Оби нарушила эти каноны. Все было очень просто.

Всего нас было шестеро — двое гостей и четверо хозяев: мадам Оби, ее дочь Кристиан, работающая на фаб-

рике, сын Кристиан Жерар и племянник Франсуа. Мы сидели за круглым столом, пили вино, ели какие-то незатейливые, но вкусные вещи и чувствовали себя непринужденно, как у старых знакомых. Время от времени кто-нибудь из хозяев вставал и подкидывал в калорифер брикет: для парижан выдался сегодня невероятно морозный день — минус десять градусов, и хозяйка все беспокоилась, что мы мерзнем.

Никаких особо высоких проблем мы не решали, мальчики рассказывали о своем учении, Кристиан — о работе на фабрике. Собственно говоря, даже не рассказывали, а просто говорили друг другу, а заодно и нам, о каких-то последних своих событиях, происшествиях, волнениях. В меру говорили о дороговизне, об Алжире, о прекратившихся уже взрывах «пластик», в меру о нас, о Советском Союзе, о его достижениях, трудностях. Ни в чем — ни в разговорах, ни в поведении — не было ничего нарочитого, ничего демонстративного (вот, мол, как мы хорошо живем или, наоборот, как плохо), ни в чем не было искусственности, преувеличенной вежливости или внимания — говорили, как говорилось, держались, как держится. Скажу откровенно: когда я ехал сюда, у меня было какое-то подсознательное (а может, и сознательное) желание специально ознакомиться с тем, как живет небогатая французская семья, какие у нее интересы, какие потребности. Да простят меня мадам Оби, и Кристиан, и Жерар с Франсуа, но это чисто профессиональное любопытство. Но я не смог задать ни одного «профессионального» вопроса: удивительная естественность и непринужденность этой «небогатой французской семьи» не позволили мне это сделать. Кстати, естественность, непринужденность и, главное, внутреннее досто-

инство в сочетании с веселостью и беззаботностью поразили меня еще в Викторе Ружэ — парижском электромонтере, том самом, который показывал мне свою «виллу» на берегу Сены. В этом молодом рабочем, чинившем пробки в богатом отеле, не было и тени заискивания, взгляда снизу вверх — он был самим собой и уважал себя. То же чувствовалось в семье Оби. Да, многим представителям высшего света, многим так называемым интеллигентам, владельцам больших квартир и длинных машин не мешало бы перенять спокойное достоинство и врожденное изящество в отношении с людьми у мадам Оби — коридорной отеля «Лувр», широту интересов у Кристиан — фабричной работницы (она поразила меня количеством прочитанных книг) и ненавязчивую любознательность у двух шестнадцатилетних мальчишек — Жерара и Франсуа.

Я их больше не видел — ни Жерара, ни Франсуа. Месяца через три я получил от них письмо. От Жерара подлиннее, от Франсуа приписочка. Несколько теплых слов и от Кристиан. Жерар просит прислать ему русские книги по металлургии и какое-нибудь издание о советской молодежи. Ну и конечно же мечтает приехать в Советский Союз, спрашивает, как можно это организовать.

Приехать к нам в гости мечтают многие. Но особенно тронул меня Ника. Мы с ним «дружили» не более недели. Гуляли по Парижу, осматривали здание ЮНЕСКО, ездили вместе с ним и Аликом к моим друзьям в Севр, вместе бегали в поисках различных сувениров — зажигалок и шариковых карандашей — для москвичей и киевлян. Перед самым отъездом он приволок мне старый чемодан для книг, которыми я оброс в Париже, и заодно

принес роскошный подарок «для кого-нибудь из молодых русских ребят, думаю, они обрадуются»,— две пары изумительных, застиранных ковбойских штанов, в которых скачут на «белых гривах» камаргские гардианы — узкие, в обтяжку, одна пара в мелкую клетку, а другая белая (вернее, была когда-то белой) с черными тесемками лампасов. Мой московский друг, четырнадцатилетний Павлик, увидев их, пришел в восторг и сразу же стал натягивать на себя. Увы, он оказался крупнее Ники и Алика, штаны трещали по швам, не хотели натягиваться, а потом оказалось, что их невозможно снять. Павлик решил в них спать, предвкушая эффект, который они произведут на следующий день в школе, но злые и ничего не понимающие в ковбойских делах родители почему-то воспротивились.

Рано утром 28 декабря Ника и Алик очень быстро и ловко упаковали мои чемоданы (даже дважды, так как в самую последнюю минуту выяснилось, что я потерял самую нужную справку, и пришлось все выворачивать наружу), потом снесли их вниз к машине и аккуратно всунули в багажник. Мы попрощались, а через месяц мой приятель привез из Парижа от Алика очень славную керамическую тарелочку, а от Ники пачку сигарет «Голуаз» и письмо.

Вот несколько заключительных строк из него.

«Я больше не могу написать, потому что мрачные мысли начинают лезть в голову. Мне больно жить в Париже. Я сейчас плакаю. Все говорят, что стыдно плакать в моем возрасте, но мне не стыдно. Мне стыдно жить во Франции. Мое место не здесь, а у нас. Раньше, чем мы познакомились, у меня Родины не было. Теперь есть, от этого все труднее стало...

Посылаю папиросы (сигареты). Когда ты захочешь вспомнить обо мне, возьми одну «Голуаз» и кури. Привет от Алика.

Ника».

Я уже не раз писал о русских за границей, о сложной судьбе людей, по различным причинам оказавшихся за пределами своей родины. В Париже мне пришлось часто с ними встречаться. В один из первых же дней мне предложили выступить в клубе «Жар-птица». В определенные дни клуб этот, почетным председателем которого был Николай Черкасов, арендует большой зал Восточного музея Гимэ, и там либо демонстрируются советские фильмы, либо устраивается встреча с кем-либо приехавшим из Советского Союза — артистом, режиссером, писателем.

Мне приходилось выступать перед различными аудиториями, но никогда еще не приходилось выступать перед эмигрантами. И должен сказать, что, выходя на большую, совершенно голую сцену, на которой сиротливо торчал микрофон на длинной ножке, я слегка волновался. Кто эти люди, что сидят передо мной? Их много, зал наполнен до последнего ряда. Больше пожилых, молодежи поменьше. В первом ряду внимательно глядевший на меня господин в пенсне, подтянутый, прилично одетый. Кто он такой? Лет ему семьдесят, никак не меньше. Значит, в семнадцатом году было лет двадцать пять. И был он, возможно, офицером, белым офицером, воевавшим с «товарищами». А может, и присяжным поверенным, которого не устроили новые порядки,— кто его знает? А сейчас? На шофера он не похож. Может, преподает где-нибудь русский язык... А кто вот тот человек, во втором

ряду, моего возраста? У него простое, довольно приятное лицо, расстегнутый ворот, какой-то значок в петличке. В эту войну ему было лет тридцать. Воевал ли он? И на чьей стороне? А может, значок на его груди — значок Сопротивления? Может, он бежал из плена вместе с французскими партизанами, взрывал поезда, а потом... Бог ты мой, сколько передо мной биографий, одна сложнее, запутаннее другой, сколько разбитых жизней, искалеченных душ, сколько князей и графов со звучными фамилиями (впрочем, вероятно, их уже немного) — есаулов и хорунжих, пересевших с коней на такси, сколько запуганных вражеской пропагандой перемещенных лиц, так называемых «дипи», сколько власовцев, раскаявшихся и нераскаявшихся, сколько рабочих завода «Рено», мечтающих о станке на заводе Лихачева, сколько молодых людей, собирающих деньги, чтоб подписаться на «Огонек», и сколько членов народно-трудовых союзов, заилийских и терских землячеств, братств кавалеров ордена святого Георгия.

И вот сидят они все в этом громадном зале, семидесяти- и двадцатилетние, бывшие москвичи, петербуржцы, ростовчане, кубанские и донские казаки, и смотрят на стоящего перед ними посреди пустой сцены человека, приехавшего из Москвы, и ждут, что же он им скажет, а он стоит перед ними и тоже думает: что же он им скажет? И начал он им говорить о Сталинграде, каким он был двадцать лет назад и каким стал сейчас, о Москве, о своем родном Киеве, о фронтовых друзьях, о новом поколении писателей, рожденных войной, о Солженицыне, о театре «Современник», о нашей молодежи...

Такой внимательной, такой тихой и так сосредоточен-

но слушающей аудитории я еще не встречал. Потом уже, заманив меня в какой-то закуток за сценой, устроители вечера говорили мне, что далеко не все из сидевших в зале так уж симпатизируют Советскому Союзу, и тем не менее никто из этой категории людей не позволил себе ни одного недружелюбного жеста, ни одного вопроса. Зато в закуточке вопросов было много. Они сыпались со всех сторон.

Я невольно вспомнил в тот вечер другую встречу, с другими русскими, в другой стране. Там, в зале, тоже стояла тишина, но передо мной сидели не печальные старики в пенсне и люди неизвестной мне профессии, а молодые вологодские, курские, орловские ребята в защитных гимнастерках, волею судеб тоже оказавшиеся далеко от своих домов, в незнакомой Германии. Сидели они тоже тихо (часть из них, скажем правду, слегка похрапывала после утомительного дня занятий), а потом бурно аплодировали — все-таки гость, нельзя не поблагодарить. А потом благодарили сидевшие за столом президиума начальники-командиры и заканчивали, как правило, словами: «А теперь, дорогой Виктор Пантелеймоныч (или Илларионыч, или Аполлоныч), не откажите откушать солдатских щец...» И хотя выступать мне приходилось по два, а то и по три раза в день, в различных полках и батальонах, отказываться никак нельзя было. И вот тут-то, в полковой или батальонной столовой, за длинным, покрытым клеенкой столом, уставленным тарелками с винегретом, капустой и огурцами, начинал выливаться на бедного докладчика водопад вопросов, ничуть не меньший, чем здесь, в «Жар-птице». До чего же тоскует по родине русский человек, даже тот, который знает, что через год-два вернется домой. И

как его интересует все, что делается дома. И как радуется он каждому человеку, приехавшему оттуда, из России.

Рассказывая о своей встрече с эмигрантами в «Жар-птице», я заговорил вдруг о советских солдатах в Германии. Почему? Что может быть общего между теми и другими? Общего нет ничего. Но и те и другие — русские, и тех и других тянет на родину.

Сережа Здрок, два года прослуживший в Германии, к моменту нашего знакомства доживал там последние дни. Тосковал ужасно.

— Все о доме думаю,— говорил он.— Брожу и думаю. Там старики. Помочь им надо. И вообще... Другое тут все. И люди, и дома, и крыши. Собаки и те другие — шерсть на морде длинная, глаз не видно.

А вот Ника... Можно ли сказать, что вокруг него все и все «другие»? Конечно нет. Он самый настоящий парижанин. И родился во Франции, и является подданным ее, и любит Францию, а вот о России говорит «у нас», а не «у вас». И «плакает»...

И еще судьбы... Пятеро балалаечников в «русском» ресторане недалеко от бульвара Сен-Мишель. Поют преимущественно «Очи черные...» и другие песни дореволюционного репертуара. Сидящие в ресторане французы и иностранцы (русских мало) усиленно им аплодируют.

Для французов и приезжих туристов это экзотика («la balalaika russe»),— такая же экзотика, как этажом ниже, где танцуют твист или что-то в этом роде в сопровождении бразильских гитар и индийских барабанов. Для меня же это трагедия лишенных родины людей.

В перерыве один из балалаечников — немолодой, с усталым, гладко выбритым лицом — подошел к нашему столику.

— Вы из Москвы?

— Из Москвы.

Он помялся:

— Если у вас есть время... я хотел вас спросить. Очень сложный вопрос... Может, вы мне поможете...— Он опять замялся.— Я хотел бы уехать отсюда, вернуться на родину. Это возможно?

Что я ему мог ответить?

С таким же вопросом подходили потом и другие. Только двое не задали этого вопроса — один француз (хотя тоже косоворотка и тоже «Очи черные...»), другой совсем молоденький, кудрявый, очень цыганистый. Он грустно смотрел на нас, а потом на ломаном русском языке спросил:

— Можно вам «Землянка» петь?

И запел «Землянку». Потом «Темную ночь». Пел хорошо, все в зале затихли. Слушали. И я слушал. «А до смерти четыре шага...» Самая любимая солдатская песня... Сколько раз слушал я ее, сколько раз пел. И в землянке, и в теплушке, и в госпитальной палате, а вот сейчас мысленно подпевал неведомому мне парню в шелковой придуманной косоворотке в «русском» ресторане, набитом французами, в центре Парижа, на бульваре Сен-Мишель.

Когда мы уходили, он подошел и, несколько смущаясь, спросил:

— Можно я вам позвоню в отель? Меня зовут Марк Лутчек. Мне надо много поговорить.

Он несколько раз потом звонил, но все не заставал меня...

И еще одна судьба. Тоже певец. Высокий, плечистый, в ладно сидящем фраке, самодовольный, эстрадно-развязный, дарящий улыбки направо и налево.

А потом он сидел за столиком, обхватив голову руками.

— Вы думаете, мне не стыдно? Не горько? Я знаю, кто я. Я клоун. Смейся, паяц... А я ведь учился в Харьковской консерватории. И, говорят, неплохо учился. Потом угнали немцы. Мальчишкой еще. Да разве все расскажешь? Сейчас я здесь... Пою вот им. А на душе... Кончилась война, многие вернулись на родину. А я струсил, побоялся, прозевал время. Теперь присох, женился... Зарабатываю какие-то деньги. Может, даже больше, чем имел бы в России. Но не нужны они мне, не нужны... Ничего мне теперь не нужно...

Он плакал, а в двух шагах бойкая, вся в перстнях и браслетах пожилая дама объявляла хриплым голосом следующий номер:

— Известная исполнительница старинных русских и цыганских романсов, несравненная Антонина Зарянская. Поприветствуем ее...

Мне как-то неловко и больно было на них смотреть. И на него, и на несравненную Антонину Зарянскую. Но еще больнее видеть Михаила Чехова во второсортном американском фильме, Шаляпина, поющим Дон-Кихота в совсем уж десятиразрядном фильме, читать последние рассказы Ивана Бунина...

Талант, оторванный от родины, гибнет. Ему нечем питаться. Тоска по дому, воспоминания о прошлом, нена-

висть к настоящему — это не лучшая питательная среда для художника. Гнев превращается в брюзжание, идейные споры в мелкую склоку, искусство в средство заработка. История, трудная, героическая, временами трагическая история твоего народа проходит мимо.

— Это неправда,— сказал мне на это один белоэмигрант.— Мы тоже история своего народа. Нас, русских, в рассеянии не так мало. Во всех концах света.

Я не стал спорить. Одна из ее страниц. Причем трагических страниц. Но трагичных для них самих, а не для всего народа.

Это говорил мне Николай Петрович Петропавловский, бывший белый офицер, с которым я встретился в небольшом рыбацком городишке Гро-дю-Руа на Средиземном море.

В вечер нашего приезда мы с переводчицей Ольгой Леонидовной совершили небольшую прогулку по городу. Городок небольшой, с бухтой, превращающейся в канал, идущий дальше до Эг-Морт, с молом, двумя маяками и цепью вытянувшихся вдоль моря больших отелей, сейчас пустовавших — не сезон. К концу прогулки зашли в небольшой рыбацкий кабачок «Petit mousse» («Маленький юнга»). За столиками сидели рыбаки и гардианы в узких белых брюках, французские ковбои, охраняющие в бесконечных равнинах Камарг стада быков для арльских и нимских коррид, пили что-то очень слабенькое и играли в непонятные мне игры. От рыбаков мы узнали, что рано на рассвете они отправятся в море и к двенадцати часам вернутся. Ровно в двенадцать мы были уже в гавани. Друг за другом, накренившись от ветра, возвращались рыбацкие суда. Одно из них пришвартовалось как раз возле нас. Девяносто девять про-

центов людей любит фотографироваться. Рыбаки «Санта-Марии» не оказались исключением. Я щелкнул несколько кадров. Все весело улыбались, держа в руках свой улов: каких-то каракатиц, камбалу и прочие «фрюи де мер» — «плоды моря», как говорят французы. Потом всей компанией двинулись в «Пти мусс». Один из рыбаков — немолодой уже, кряжистый, больше похожий на русского, чем на провансальца (кстати, провансальцы говорят по-французски с акцентом плохо знающих язык русских), оказывается, в 1919 году был в Одессе с восставшей потом французской эскадрой, и это нас сразу расположило друг к другу. Я взял пива, рыбаки — оранжад, и тут-то в дверях появился высокий сухощавый господин с авоськой в руках и длинным как палка батоном под мышкой. Одной ноги у него не было, он опирался на костыль.

— Это наш русский,— шепнул, наклонившись ко мне, «одессит».— Других русских здесь никогда не было, вы первый.

Высокий господин подошел к стойке. Лицо его было сурово и неприветливо.

— Здравствуйте,— сказал я ему по-русски.

Он вздрогнул и обернулся.

— А вы кто такой?

— Русский.

— Какой русский?

— Обыкновенный.

— Из Парижа?

— Нет, из Киева.

Он внимательно и недружелюбно смотрел на меня.

— Это неправда.

— Почему же неправда?

— А потому, что советских никогда сюда не пустят. Я улыбнулся.

— Как видите, пустили.

— Не верю.

Я вынул из кармана справку на французском языке, выданную консульством на время поездки взамен паспорта. Он очень внимательно прочитал справку, вернул обратно.

— Невероятно...

Он подсел к нам. Замялся.

— Времени нет. Жена ждет. Обедать пора. Зашел только сигареты купить. А впрочем...— Он повернулся к хозяину: — Дай стакан белого.

Жене пришлось не меньше часа прождать своего мужа.

Николай Петрович Петропавловский в гражданскую войну воевал на стороне белых, против «товарищей». Он часто повторял это слово «товарищи», реже «большевики», потом перешел на «вы», «советские». После гражданской попал в Африку, в иностранный легион. Там и ногу потерял. Теперь живет здесь с женой, получает небольшую пенсию. Есть дети. Уже взрослые. Но живут отдельно. Один сын — тут он слегка поморщился — вроде как коммунистом стал. Бывает же такое...

Судя по всему, человек он был недобрый, а может, нелегкая жизнь и скитания его озлобили. Россию он разлюбил, Францию не полюбил. Отрываясь от разговора со мной, он вступал в какие-то пререкания с рыбаками, обвинял их в лени, в желании только побольше зарабо-

тать. Рыбаки только смеялись,— по-видимому, уже привыкли к старику и его характеру.

В ходе разговора выяснилось, что при всем неприятии им советских порядков, о которых он имел довольно отдаленное представление, кое-что он у нас все же приемлет... Воевали, например, неплохо, ну и промышленность все-таки развили. Спутники, Гагарин...

На прощанье он сказал, тяжело вздохнув:

— Нет, в России я уже никогда не буду. Мы не нужны друг другу. Ни я ей, ни она мне. Буду уже доживать свой век здесь, в Гро-дю-Руа, вот с этими лентяями вместе. В России мне нечего делать...— И, помолчав, добавил: — А вот русскую песню послушал бы, соскучился без нее. Все-таки лучше русской песни ничего на свете нет...— И махнул рукой.— Разве французы поймут? Вот поставить бы им сейчас пластинку — рты поразевали бы. А что, нет? Чего смотрите? Еще как поразевали бы...

Я обещал прислать пластинки. В «Пти мусс» есть турндиск, проигрыватель,— пускай рыбаки и гардианы послушают «Стеньку Разина», «Дубинушку», «Катюшу», «Полюшко-поле...»

Записывая на бумажке свой адрес — «простите, визитными карточками не обзавелся, некому их давать»,— Николай Петрович сказал:

— Прислали бы свою книжку, а? Хоть вы и советский, но воевали русские все-таки неплохо.

Мне стало вдруг жаль старика, как бывает жаль человека, у которого все позади. Хотя и позади-то ничего хорошего не было — одна злоба. Да и от злобы-то этой мало что осталось. Устал ненавидеть. А может, уже и не хочется. Так, тоска одна...

## 2

Привет тебе, царство солнца, окаймленное серебром Роны, фантастическое царство счастья и радости, Прованс, одним именем своим чарующий и весь мир...

*Мистралъ*

Прованс — историческая провинция на Ю. Франции, на побережье Средиземного м., к В. от устья Роны... Площадь ок. 20 тыс. км$^2$. Население ок. 1,5 млн. чел. (1952)... Аграрно-индустриальный район.

*БСЭ, том 34*

...Кроме того, Авиньон славится красотою своих женщин.

*Брокгауз и Ефрон, том I.*

Для меня Прованс — это в первую очередь форт Сент-Андрэ. Я стою на самой вершине форта. Вокруг древние стены с узкими бойницами. У бойниц когда-то сидели люди с арбалетами, со стен лили на врагов кипящую смолу, над головой пролетали камни, пущенные с расстояния в двести метров баллистами и бомбардами. В середине века здесь творилось бог знает что — осады, войны, кровопролития. Сейчас — тишина. Совершеннейшая тишина. Полаяла собака, когда мы вошли в ворота, выглянул из толстой башни привратник — и опять тишина.

Я на самой вершине форта. Вокруг стены и башни, поросшие мхом. За стенами — Прованс. Как на ладони. Бескрайние квадраты возделанной земли. С одной стороны — северо-западной — эти квадраты защищены кипарисами. Кипарисы стоят в виде стен. И стены эти наклонены. Это мистраль их наклонил — царь ветров. В Провансе тридцать два ветра. Самый страшный — мистраль, он переворачивает даже вагоны. Квадраты полей, и кипарисы, и маленькие домики среди них, и вьющиеся дороги, и платаны, и оливы — все это тянется до горизонта. А на горизонте горы, зубчатые горы — Дантель-де-Монмирай. Сейчас они в легкой дымке. С другой стороны — Рона, над Роной — Авиньон. Отсюда он похож на театральный задник. На переднем плане, на крепостных стенах, увитых плющом, идет действие — поют арии, читают монологи, а на заднике средневековый город — замки, башни, колокольни. А над башнями бескрайнее, нежно-голубое, совсем не декабрьское небо. И вообще какой к черту это декабрь — тепло, даже жарко, и трава зеленая, и цветут какие-то желтенькие малюсенькие цветочки.

Покой. Тишина. Откуда-то, очень издалека, доносится колокольный звон. Вечерний звон... Но сейчас не вечер — сейчас яркий, солнечный, декабрьский день. Трудно даже поверить, что три дня тому назад мы мерзли в Париже, потирали озябшие руки, подымали воротники. Носятся ласточки. В декабре — ласточки. А может, это не ласточки? Можно, конечно, спросить у Паустовского — он сидит в двадцати шагах от меня на ступенях часовни и тоже впитывает в себя Прованс,— но не хочется его тревожить, сейчас так тихо, хорошо...

Потом мы спускаемся по крутой уличке вниз, в Вильнев-лез-Авиньон. Она вьется, эта уличка, как уж, и вымощена громадными булыжниками, которым тоже пятьсот лет. Направо и налево крохотные замкнутые дворики, развешанное белье, увитые плющом стены, серо-розовая круглая черепица, какая была когда-то и у нас в Крыму.

Вильнев-лез-Авиньон сейчас тих и провинциален, его посещают только туристы. В XIV веке «город кардиналов» переживал период своего расцвета. Так же, как и Авиньон. В Авиньоне жили папы, на другой стороне Роны, в Вильнев-лез-Авиньон,— кардиналы. Потом папы вернулись в Рим, но многочисленные монастыри продолжали вести свою беспечную, лишенную забот жизнь. Конец этому положила Великая французская революция. Сейчас от былого величия остались только свидетели его — замки, форты, мрачные дворцы и венчающая город квадратная массивная башня Филиппа Красивого.

В Авиньоне предполагалось пробыть один день, мы прожили три. Отель «Европа» возле городских ворот, ведущих к Роне, говорят, самый тихий и располагающий к отдыху во Франции. Только сверкающие розовым и голубым кафелем ванные с обтекаемыми умывальниками и унитазами напоминают о XX веке — все остальное старается тебя отвлечь от него. На стенах в золоченых рамах целуются маркизы и пастушки. У столов изящные изогнутые ножки «Луи Каторз», ящики в шкафах мелодично поют, когда их выдвигаешь, и пахнут XVIII веком. Тихие лестницы освещены фонарями, снятыми со старинных карет. Людей не видно. Безмолвие. Только в разных концах бьют часы — в коридорах, на лестнице, внизу в вестибюле, на колокольне Нотр-Дам-дю-Дом или

Отель-де-Виль на плас де л'Орлож — площади Часов. Спать под этот тихий перезвон на широченных двуспальных кроватях одно блаженство — никаких снов. Впрочем, спится хорошо и потому, что целый день на ногах.

Вчера до поздней ночи мы бродили по берегу Роны. Стремительная, беспокойная река. По-русски она женского рода, по-французски мужского — Le Rhone. Это ей больше подходит. Она неширока, но вся в сплетении русел, водоворотов, бурунов — в ней явно мужская мощь. Дно и берег у нее не песчаные, а из гальки, совсем такой, как на крымских пляжах. Для Франции Рона многоводна — вместе с Дюранс и другими притоками она кормит весь Прованс, но она своенравна и не всегда дружелюбна. Триста с чем-то лет тому назад, обидевшись за что-то на Авиньон, могучие ее волны снесли половину каменного моста Сен-Бенезет, соединявшего «город пап» с «городом кардиналов», и сейчас только три массивные арки недоуменно вонзаются в Рону, обрываясь на ее середине. Это знаменитый мост. О нем сложена песенка, которую поют все французы от мала до велика: «Sur le pont d'Avignon on y danse, on y danse...— «На мосту Авиньона танцуют, танцуют...» Как у нас, говоря о Ташкенте, часто прибавляют «город хлебный», так во Франции не скажешь Авиньон, чтобы сразу же не подхватили: «Sur le pont d'Avignon».

Мы гуляем по берегу Роны. Усевшись на камень под ветвистым, тихо шумящим платаном, смотрим на противоположный берег. Там, как сказочное видение, озаренный лучами невидимых прожекторов, точно изнутри светится древний Авиньон. На черном ночном небе, пересыпанные мигающими от ветра огнями, сияют стены

и башни папского дворца, шпили соборов Сен-Пьер, Сен-Дидье, Сент-Агриколь и самого высокого — Нотр-Дам-дю-Дом. Светятся парки и сады — раскидистые зонты вечнозеленых пиний и клубящиеся кроны безлистых сейчас платанов, точно нежное кружево, рисуются на черном небе. Только проносящиеся по набережной машины и холодный ртутный свет фонарей нового моста нарушают сказочность, неправдоподобность пейзажа.

Возвращаясь, делаем небольшой крюк, чтоб вдохнуть аромат ночных средневековых уличек, идем вдоль глухих городских стен, разговаривая шепотом, чтоб не спугнуть тишины и не привлечь внимания ночного сторожа из папской охраны, который с алебардой и фонарем, наверно, бродит где-то тут же...

— Я боюсь Авиньона,— еле слышно, наклонясь к самому уху, говорит обычно веселая и неунывающая Ольга Леонидовна.— Я боюсь его улиц, дворов, вот этих страшных, темных переходов. Мне почему-то всегда кажется, что оттуда должен выскочить человек с ножом. Тише... Вы не слышите шагов? Вон там, под этим сводом... Давайте подождем... Честное слово, я боюсь Авиньона. Это единственный город во Франции, где разрешено жить преступникам и убийцам. Не смейтесь, это так, уверяю вас, я знаю...

Возможно, это и так, но боюсь, что Ольга Леонидовна несколько спутала столетия. Действительно, в XIV веке, в период величия Авиньона, столица католического мира была средоточием не только духовенства, но и всякого сомнительного люда. В Авиньоне тогда не преследовались еретики, город назывался «землей приюта», и этим пользовались бежавшие из других городов разбойники, контрабандисты, фальшивомонетчики. Бичом

тех лет были и «рутьеры» — шайки полубандитов-полусолдат, бесчинствовавших на больших дорогах и подступавших к самому Авиньону. Папы откупались от них благословением и деньгами.

В Авиньоне сейчас тысяч шестьдесят населения, в XIV веке было сто. Об авиньонском, или, как тогда говорили, вавилонском, пленении пап написаны десятки книг. Это одна из интереснейших страниц истории папства. С 1305 по 1377 год Авиньон был местом престола святого Петра на земле. Папа Бонифаций VIII в результате долгой борьбы французских королей с Ватиканом попал в плен к Филиппу IV Красивому, и в течение семидесяти двух лет на святом престоле восседали папы-французы. В 1379 году Григорий XI перенес папскую резиденцию обратно в Рим, однако распри в среде высшего духовенства не прекращались, привели к «великому расколу», и в течение еще тридцати лет католическим миром правили одновременно двое (а с 1409 года даже трое) пап — в Риме и Авиньоне. Вражда между ними не прекращалась ни на секунду, один другого наперебой предавал анафеме, католический мир сотрясался от междоусобиц и, пожалуй, до сих пор не разобрался еще, кто же был настоящим папой, а кто антипапой...

Сейчас в папском дворце музей. В жизни своей я не видел здания более уродливого. Невероятных размеров, мрачное, нелепое, лишенное каких-либо пропорций, оно господствует над всем городом и если производит все-таки впечатление, то только масштабами и седой своей стариной. Строили его Бенедикт XII и Климент VI — один одну часть, другой другую. Утонченным вкусом ни один из этих пап не отличался, но нагнать страху на верных католиков высоченными глухими стенами и квад-

ратными тяжелыми башнями они все же умудрились. Проходишь сейчас вдоль этих стен — и то как-то не по себе становится.

А вот Эг-Морт — город XIII века, построенный Людовиком Святым как порт для первых крестовых походов,— поразил меня своей архитектурной завершенностью и логикой. Собственно, даже не город, а крепость, стены, окружающие его. Конструктивизм XIII века, конструктивизм чистейшей воды! Имена строителей этих стен никому не известны, но если искать в мировой архитектуре пример практической целесообразности и архитектурной выразительности ее — лучшего образчика не найдешь. Цель сооружения ясна — не впустить врага в город. Для этого вокруг него построены стены и башни. Одна из них повыше и покрепче — с нее хорошо видно во все стороны, в ней жил король, томились пленные. Вокруг стен — ров, через ров — подъемные мосты. Внутри стен — город, плотно сбитая масса домов.

Стены и башни — вот и все. Солидно, на века, из грубого камня. Пять ворот — невысоких, стрельчатых, зажатых между спаренными круглыми башнями. Ни одной ненужной, лишней детали. Бойницы, амбразуры, окна, зубцы, небольшие каменные балконы на кронштейнах — все это для дела, для войны, для обороны, ничего для украшения. А красиво. Мрачно, пугающе, но красиво в своей ясности и целенаправленности. Изумителен угловой донжон — башня Констанс. Это громадный, гладкий, обтекаемый, круглый, с несколькими очень вытянутыми бойницами бункер. Именно бункер, другого слова я не нахожу. Из него сбоку, как будто пробившийся сквозь камень стебель, вырастает круглая с металлическим и решетчатым шатром башенка маяка. (Когда-то Эг-Морт,

что значит по-провансальски Мертвые Воды, стоял на берегу моря, сейчас море отошло и к нему прорыт канал.) С городом донжон связан каменным трехарочным мостом. Лаконизм и законченность форм предельные. Построено это в XIII веке, шестьсот лет назад. Думал ли строитель о красоте? Вряд ли. Думал о прочности, о неприступности, а перед нами произведение искусства.

Такое же впечатление архитектурной завершенности — где ни прибавить, ни убавить — производит и старинное аббатство Монмажур в нескольких километрах от Арля. Величественное, из грубого желтовато-белого камня, с обязательной башней-донжоном, как необитаемый остров (а когда-то это действительно был остров среди непроходимого болота), окруженное кипарисами аббатство, сейчас пустынное, а когда-то пристанище нескольких десятков бенедиктинцев, одиноко стоит среди живописной, ван-гогской долины и презрительно поглядывает с высоты своей тысячи лет на щелкающих фотоаппаратами туристов. И в этом гордом одиночестве — несравненная красота. Красота архитектуры отгородившихся от мира людей. Уловить сущность своей эпохи — главная заслуга художника. Безвестные мастера средневековья умели это делать. Умеем ли это мы?

Но вернемся в Эг-Морт и в нынешнее столетие. Задержимся там на несколько минут. Наша машина въезжает в главные ворота — Порт-де-ла-Гардетт. И сразу же при въезде, на стене первого же дома, мы видим сделанную кем-то надпись очень большими черными буквами: «Освободите Эйхмана!» По сторонам две зловещие свастики.

Что это? Кто это написал? И почему никто не стер? Со дня окончания процесса прошло уже более полуго-

да, а надпись все красуется. Неужели она никого не возмущает — ни мэра, ни жителей этого маленького городишка на юге Франции?

На этот вопрос ответить нелегко. Я сам его себе задаю. Когда мы приехали во Францию, волна оасовского террора отхлынула, взрывы «пластик» прекратились. Алжир стал независимым. «Ультра» поняли свою несостоятельность, говорили нам французы, поняли, что не имеют поддержки в народе, вот и скрылись в глубоком подполье, молчат, пока бездействуют, ждут подходящего момента, какого-то изменения в обстановке. И вообще их не так уж много. Да, оасовцы скрылись в подполье, но надпись-то, требующая освобождения палача миллионов невинных людей, красовалась на самом видном месте — вот что меня поразило.

«О, в этом и есть трагедия сегодняшнего дня,— говорил мне один прогрессивный журналист.— Написали — и черт с ним, считает большинство, чего только на стенах не пишут. Одни пишут, другие не читают... Поверьте, пятьдесят процентов жителей маленького Эг-Морта отнюдь не сочувствуют авторам этой надписи, а сорок девять процентов просто не очень интересуются Эйхманом...»

Вообще об аполитичности, о ненависти к лозунгам, недоверии к обещаниям, об инфляции слова нам во Франции говорили много.

Величие Франции! О нем много говорит Шарль де Голль, президент республики. «Или я, или хаос,— сказал он перед референдумом шестьдесят второго года,— или величие Франции, или анархия...» Большинство проголосовало за де Голля. Политическая неразбериха, ежемесячные смены кабинетов, повышение цен — все это

смертельно надоело. Авось де Голль наведет порядок — проголосуем-ка за него. И проголосовали.

Один француз, с которым я встретился уже в Советском Союзе, сказал по поводу этого:

— Франция сейчас слишком увлечена настоящим, забыла прошлое и не думает о будущем.

— Что значит увлечение настоящим? — спросил я.

— А то, что сытость успокаивает. А мы в общем сыты. Вы скажете мне, что не все одинаково. Согласен. Если б все было благополучно, рабочие не бастовали бы, не требовали повышения зарплаты. И все же, дорогой мой, Франция не думает о завтрашнем дне, не хочет — боится...

И еще один разговор. На этот раз с нашим, русским, советским, хорошо знающим Францию и недавно вернувшимся из Алжира.

— Вот вы говорите об Алжире,— сказал он мне,— о том, что после войны, стоившей стольких жизней, алжирцам удалось все-таки разрешить проблему независимости. Да, Алжир стал независимым. Но ведь экономически он еще слишком связан с Францией. Избавиться от этой зависимости не так-то легко. Нужно создать свою промышленность, воспитать специалистов на место убежавших французов. И еще одна деталь. Десятки тысяч алжирцев уходили, да и сейчас уходят на заработки во Францию. Это самая дешевая рабочая сила. Ну и отношение к ней соответственное... Война кончилась — это, конечно, хорошо, но сложного еще очень много. Да, сложного много... Надпись про Эйхмана убедительное этому доказательство.

Думаю, что Брокгауз и Ефрон все же несколько пре-

увеличили достоинства авиньонских красавиц и явно недооценили арлезианок. Я это понял сразу же, как только мы вошли в крохотную, поразительно уютную таверну возле римской арены (она так и называется «Возле арены») в Арле. Именно там я понял, почему и Мистраль, и Додэ, и Гуно, и Бизе так неравнодушны были к арлезианкам и не обходили их молчанием, как сделали это всеми уважаемые, но в чем-то, по-видимому, очень субъективные Брокгауз и Ефрон.

На подававшей нам милой девушке не было традиционного арлезианского костюма с кружевами и черной наколкой в волосах (увы, это можно увидеть сейчас только в музее Арлатэн), но чтобы быть настоящей арлезианкой, ей вполне хватало собственного обаяния и милой, естественной, ненавязчивой красоты.

Меня часто спрашивают, кто красивее — итальянки или француженки. А бог его знает. Арль когда-то был римским городом, сейчас он французский — иди разберись, кто кого красивее...

Арль — город маленький: в нем нет и сорока тысяч жителей. Но когда-то он был велик и знаменит. Завоевавшие Арль римляне превратили маленькое поселение на берегу Роны в крупный экономический центр. Как писал некий автор V века: «Все, что дает Восток, все ароматы Аравии, блеск Ассирии, плоды далекой Африки, все лучшее, что есть в прекрасной Испании и Галлии, можно найти на рынках Арля в любом количестве и того же качества, что и у себя на родине». Ткачи, золотых дел мастера, оружейники вели бойкую торговлю. Во все концы Европы экспортировалось знаменитое провансальское оливковое (отсюда «прованское») масло и черное густое вино с холмов Роны. Отцы города воз-

двигли Форум, построили громадную арену, античный театр, акведук длиной в семьдесят пять километров. Даже публичные отхожие места строились из мрамора. Город процветал. Арлю подчинилась Испания, подчинилась Бретань.

Нашествие варваров и сарацинов положило конец процветанию. Начался закат. Экс-ан-Прованс перехватил у Арля политическую власть, Марсель — экономическую. Город стал кормиться за счет туристов, руин и былого величия. Только в последние годы он опять воспрял: болотистое устье Роны превратилось сейчас в рисовые поля, Арль стал «столицей риса».

Вот краткая история города, прожившего ни больше ни меньше как двадцать пять веков.

Авиньон, Арль, Ним — города отгремевшей славы. В этом величии прошлого свое обаяние, своя тихая задумчивость мудрых, многое перевидавших на своем веку стариков. «Sic transit gloria mundi»,— говорят они на своем безмолвном языке камней, подобно нашему Новгороду, Владимиру, Суздалю, Ростову Великому. Впрочем, если говорить о сходстве — не историческом, а внешнем,— то Арль скорее напоминает наши южные города с их небольшими беленькими домиками из ракушечника или известняка, с черепичными крышами, акациями, платанами, со смуглыми лицами южан, с оживленным говором. Если Марсель — это Одесса, Крым — Ривьера, Севастополь — Тулон, то Арль скорее всего Херсон.

Бродить по его улицам — одно наслаждение. За исключением Бульвар-де-Лисс и двух-трех не очень шумных центральных улиц с магазинами, на других его улицах тишина и покой. Идешь не торопясь по такой узень-

кой, мощенной камнем уличке — и вдруг перед тобой что-то большое, с арками, колоннами. Оказывается, это римская арена, та самая, где гибли когда-то гладиаторы, а теперь, во время летних коррид, камаргские быки. В средние века арена была крепостью, внутри ее овала лепился целый город с домами, улицами, даже церковью. Сейчас от этого города ничего не осталось, но стены арльского колизея сохранились. Тут нельзя не воздать хвалу реставраторам. Они не обновили арену, не сделали ее стены чистенькими и беленькими, а с великим тактом и вкусом восстановили их, искусственно создав патину времени,— новые, такие же обветренные, иссеченные дождями части здания ничем не отличаются от старых. Работа невероятно кропотливая, но результат поразительный.

Недалеко от арены — античный театр. Амфитеатр сохранился довольно хорошо, от сцены же и орхестры остались только две мраморные колонны и обломки стен. Форум полностью исчез — уцелело только название, которое носит зеленая уютная площадь с памятником поэту Мистралю, и кусок стены с пилястрами, вмонтированный сейчас в фасад гостиницы «Норд-Пинюс», в которой в свое время останавливались Мистраль, Виктор Гюго, Наполеон III, о чем говорят сверкающие медные дощечки на дверях номеров, а сейчас имели честь жить и мы, грешные.

Мы попали в Арль зимой, а не летом. Летом здесь на арене — с мая по сентябрь — устраиваются корриды. Родина боя быков — Испания, но на юге Франции, в Арле, Ниме и еще где-то поближе к испанской границе, это жестокое зрелище пользуется таким же почетом и любовью.

О тавромахии — невероятно сложном искусстве раздражать быка, а затем одним ударом убивать его — мы знаем по романам Бласко Ибаньеса, Хемингуэя, картинам Гойи и нескольким фильмам. Один из них, шедший у нас под названием «Тореадор», довольно точно, с большим количеством документальных кадров рассказывает о жизни знаменитого испанского матадора Прокуньи.

Искусство матадора — искусство смертельного риска. Мало довести до бешенства быка красной мулетой — надо это сделать на предельно близком расстоянии. Самый изящный пируэт матадора (вероника), сделанный на сантиметр дальше положенного от пронесшегося мимо рога быка, вызовет бурю негодования, сотни кожаных подушечек полетят в голову проштрафившегося матадора. Зато изящное спокойствие у самой морды разъяренного быка, ловкий прыжок в сторону и смертельный удар в загривок быка награждаются восторженным ревом тысяч темпераментных глоток. В Испании, говорят, можно не знать Сервантеса или Лопе де Вега — тебе это не поставят в укор,— но никогда не простят, если ты спросишь, кто такой Манолетте или Домингин — матадоры-классики, матадоры-кумиры.

Нет, не удалось нам повидать боя быков. Арена была пуста, быки для будущего сезона подрастали еще на бескрайних камаргских равнинах. Мы проходили с Паустовским мимо заколоченного пустого кафе неподалеку от нашего отеля и только вздыхали: через полгода она будет заполнена самыми что ни на есть живыми тореадорами, подписывающими договоры, заключающими сделки, спорящими о достоинствах быков. Единственное, что нам удалось, это зайти и потоптаться у

пустой стойки «тореадорского» бара при нашей гостинице. На стенах красовались головы «торо» с устрашающими рогами, всякие там мулеты и бандерильи, портреты выдающихся «передовиков корриды» и «мастеров эспады», но кругом было пусто. Мы с почтением пощупали рога быков и сфотографировались на их фоне.

Да, с корридой не повезло. Зато я познакомился с настоящими камаргскими гардианами — провансальскими ковбоями. Такое не всякому выпадает.

Камарг — пустынная, болотистая равнина в развилке двух Рон, Большой и Малой. В самой южной ее части, заливе Ваккарэс,— заповедник. Там живут розовые фламинго, бобры, ползают по песчаному берегу черепахи среди зарослей тамариска, финикийского можжевельника, среди цветущих весной полей нарцисса и асфоделий. Севернее Ваккарэса до самого Арля — болото, равнина. По ней-то и скачут на белых длиннохвостых лошадях (помните «Белую гриву» Ламориса? Это и есть Камарг) лихие гардианы в широкополых шляпах. Они охраняют «манады», стада полудиких быков. «Naciono gardiano» — нация гардианов. Племя веселых, сильных и ловких ребят со своей романтикой, традициями, законами, преданиями.

О легендарных ковбоях дикого Запада мы, захлебываясь, читали еще в детстве, раскрыв рты и замерев от страха, следили за их погонями, скачками, перестрелками, драками в бесчисленных «Королевах лесов» и «Богинях джунглей» двадцатых годов. О французских ковбоях мы ничего не знали. И вот я за одним столиком с ними.

Сезару лет под тридцать. Клоду не больше девятнадцати. На них нет традиционных широкополых шляп, оба в беретах, но штаны, по всем правилам, белые, узкие,

грязные, и полусапожки — низкие, до половины икр. Физиономии медные, обветренные. У Сезара белая полоска шрама на плохо выбритом подбородке — последствие стычки с быком во время «Курс де кокард», провансальской забавы: у быка надо сорвать кокарду, прикрепленную между его рогами. Оба держатся с величайшим достоинством, хотя обоих распирает от любопытства — для них советский человек такая же экзотика, как для меня гардиан. Говорит больше Сезар, Клод — удивительно красивый, стройный парнишка, неожиданно для провансальца светлый и голубоглазый — больше молчит, слушает и в грубовато-изящных манерах старается походить на Сезара.

Познакомились мы в Арле, на Бульвар-де-Лисс. Было довольно поздно. Я зашел в пустоватый уже ресторанчик, в котором мы недавно ужинали и приветливый хозяин которого обещал разыскать и подарить мне многокрасочную роскошную афишу прошлогоднего боя быков. Пока он искал, я пристроился к телевизору — какой-то автомобилист со страшной скоростью мчался по автостраде, накренившись на правый бок, на двух колесах. Рядом со мной кряхтели от восторга Сезар и Клод. Принесенный хозяином плакат познакомил нас.

— Зачем он вам?

— На память об Арле, о бое быков, который никогда не видал.

— Никогда не видали?

— Никогда.

— О-ла-ла, вот это да! Вы из Парижа?

— Чуть подальше.

— Из Бретани?

— Восточнее.

— Из Лотарингии?

— Еще восточнее... Из Москвы.

Недоумение и недоверие. Вытаскивается справка. Ее долго разглядывают, читают. Я роюсь в карманах, не найдется ли какой-нибудь значок. О счастье, есть Гагарин.

— О! Га-га-рин! Формидабль! Манифик!

Веселый спор, кому он достанется. Вынимаются спички. Длинная у Клода — Гагарин ему. Зато спички, советские спички, — Сезару. На коробке нарисованы ульи и написано: «Выносите ульи поближе к дороге». Я перевожу надпись, но никак не могу объяснить, для чего нужны эти манипуляции с ульями. Все смеются. Приветливый хозяин объясняет: «L'ame slave» — славянская душа, загадочная славянская душа...

Ресторанчик закрывается, но хозяин ставит нам бутылку вина.

Мы пьем за Сталинград. Сезару было тогда девять лет, но он хорошо помнит, как немцы вывешивали в те дни траурные флаги. Отец его в войну был ранен, потом попал в плен. Сейчас ему пятьдесят лет, но с седлом не расстается, тоже гардиан. У них в роду все гардианы. У Клода тоже. Вот только старший его брат изменил — стал инженером. В Камарге увлеклись сейчас рисом, роют всякие каналы, вот Аристид и занимается этим.

Увлечения рисом ни Сезар, ни Клод не одобряют. Камарг есть Камарг: быки, белые гривы — это их страна. Куда деваться «манадам», когда везде понароют эти чертовы каналы? Приветливый хозяин подсел к столику — возражает, ссылается на экономические выгоды для всего края, приводит какие-то цифры.

К концу разговора застенчивый Клод оживляется. К сожалению, я почти ничего не понимаю — он говорит

по-провансальски,— но когда на свет божий вылезают из бокового кармана кожаной куртки фотокарточки, все упрощается. Вот это мать — симпатичная, не старая еще женщина, в очках; это отец — в большущем берете, когда служил в альпийских стрелках; это они все трое, это он, Клод, со своей невестой — стоят оба пряменько, взявшись за руки, точь-в-точь как на наших провинциальных фотографиях; она — хорошенькая блондиночка в светлом полосатом платьице, он в черном, совсем не идущем ему костюме с галстуком. Сезар хвалит невесту, а заодно и жениха. Клод сияет. Ему очень хочется что-нибудь мне подарить, но он не знает что. Берет, пояс, зажигалку? Не годится, старье.

Останавливается наконец на пестро раскрашенной открытке, приколотой над стойкой; на открытке — захватывающий эпизод из «Курс де кокард» — какой-то парень, спасаясь от преследующего его быка, прыгает через перегородку арены. Бык почти настиг его, рогом пропорол брюки.

— О, это Сезар! — смеется Клод, рисует на открытке стрелку, упирающуюся в зад прыгающему парню, и пишет: «Сезар!» Сезар рисует другую стрелку, упирающуюся в то же место у быка, и пишет: «А это Клод!» Оба хохочут, оба в восторге от своей шутки.

Потом мы прощаемся с хозяином и уходим. Сезар и Клод провожают меня до гостиницы. Как жаль, что я не могу поехать вместе с ними. Их хижина, по-провансальски «ма», совсем недалеко отсюда, возле Пати-де-ла-Тринитэ, километрах в пяти от дороги в Сент-Мари-де-ла-Мер, куда мы завтра должны ехать. Вот где можно хорошо отдохнуть. Они бы все мне показали. И с быками познакомили бы. И с хорошими ребятами. Гардианы все

ребята хорошие. Мне выдадут в собственное пользование Клотильду, самую спокойную из всех лошадей, и мы будем вместе гоняться за молодыми бычками, отделять их от «манад» и ставить на них клеймо. А в заливе Ваккарэс — мы туда тоже поедем — будем лежать среди зарослей лотоса, любоваться «летающими цветами» — фламинго — и набивать животы «буйябесом» — знаменитейшим провансальским супом из всяческой морской живности. А если мы попадем туда в первый день молодого месяца, мы можем увидеть, если только захотят духи, на дне залива сказочный античный город Анатилиа, а в таинственных лесах островка Риэж — маленького, живущего там очень веселого сатира... Одним словом, я не пожалею. Через два дня они закончат все свои дела в Арле, и мы втроем двинем в их хижину возле Пати-де-ла-Тринитэ. Хижина маленькая, среди болота, но жить мы там будем припеваючи.

Мы долго трясем друг другу руки у входа в гостиницу, и я конечно же обещаю если не в этот раз, то в следующий свой приезд обязательно заехать к ним, в их маленькое «ма» возле Пати-де-ла-Тринитэ и пожить там месяц-два, а то и целых три...

Всю ночь ворочаясь на своей двуспальной кровати, я носился с гардианским трезубцем — «фер» — в руках на белогривой Клотильде по камаргской равнине, отделял молодых бычков от стада и ставил на них клеймо.

На следующий день мы проехали мимо Пати-де-ла-Тринитэ. Хижины моих новых друзей я так и не увидел, но маленьких черных быков, настороженно глядевших на нас из-за кустов, мы с Паустовским все-таки сфотографировали, и я не сомневаюсь, что на одном из них было мое тавро.

## 3

Шумит ночной Марсель
В притоне «Трех бродяг»,
Там пьют матросы эль
И женщины с мужчинами жуют табак...

*(Популярная песенка двадцатых годов)*

«Итак, мы в Марселе, дорогой читатель. Ты приехал сюда туристом, а может быть, и по делам, но так или иначе хочешь узнать наш город. Мы постараемся тебе помочь.

Без сомнения, ты уже разговаривал с марсельцами и они наговорили тебе кучу интересного и столько же ерунды. Конечно же тебе уже рассказали о знаменитой сардинке, заткнувшей вход в Марсельский порт, и конечно же ты не поверил ни единому слову и принял это за обычный марсельский треп (une galéjade). Ты видел фильмы Марселя Паньоля и, ступив на землю Марселя, уверен, что давно уже знаком с марсельцами, с этими беззаботными шутниками и хвастунами, и что где-нибудь в Старом порту обязательно встретишься с Мариусом, Оливом или Тнтэн, играющими в «пэтанк», и в перерыве между двумя партиями они расскажут тебе очередную забавную историю на своем марсельском жаргоне...

Я не хочу разочаровывать тебя, дорогой читатель, и не буду утверждать, что ты не встретишь в Марселе Мариуса или Олива, родных братьев легендарных героев «наших историй», но все же должен предупредить тебя:

если ты их встретишь, тебе повезет больше, чем мне, старому марсельцу, который, попав в Тараскон, так и не встретил Тартарена...»

Так по-марсельски живо и непринужденно начинается «Обращение к читателю» на первой странице путеводителя, который я купил в Старом порту Марселя, в том самом, где Мариус и Олив должны играть в неведомый мне «пэтанк». Дальше автор «Обращения», называющий себя Мариусом из Марселя, развенчивает легенду о сардинке (на самом деле это был фрегат «Сардинка», бежавший из Тулона от английских пиратов и с пробоиной в борту застрявший при входе в марсельский Старый порт) и заканчивает свое «Обращение» рассказом о некоем чужестранце-журналисте, «Марсельские истории» которого вызвали в 1925 году целую бурю в Марселе. Был организован даже клуб по борьбе с этими «историями». Председатель клуба выступил с речью, и цитаты из нее были расклеены в виде листовок по всему городу.

В чем же дело? Оказывается, журналист этот (фамилия его не называется), воспользовавшись гостеприимством марсельцев и услугами некоего архивариуса, порылся в старых газетах и журналах, выудил оттуда кучу анекдотов и нелепых историй и сделал из всего этого сборник «Марсельских историй», старательно приперчив их марсельским жаргоном. С легкой руки этого журналиста, пишет Мариус, на страницы французской печати хлынул целый поток подобных «историй», и, хотя марсельцы ценят юмор и веселую шутку, все же... Одним словом, марсельцы обиделись.

Всю эту историю я рассказал в порядке некоего

предостережения — и себе и своим собратьям по перу. Когда пишешь о чужих странах, помни, всегда помни, что строки твои могут попасть на глаза читателей из этих стран, и самое обидное, если ты вольно или невольно уподобишься тому журналисту, о котором рассказал Мариус. А это, увы, еще случается...

Мой рассказ о Марселе будет краток. И не потому, что меня запугали расклеенные когда-то по стенам листовки, а потому, что в этом городе я был очень недолго.

Кто в свое время не мечтал о Марселе? Я тоже мечтал.

Кривые портовые улички, полумрак, соленый запах моря, хриплые голоса, таверны, стук костей, идущие в обнимку горланящие моряки, такие сильные, смелые, грубые, верные в дружбе — море им по колено...

Я вспоминаю, как в двенадцать-тринадцать лет мы захлебывались Буссенаром и Жаколио. В определенном возрасте без экзотики не проживешь. Журнал, который мы тогда «издавали» (назывался он «Зуав», вышло четыре или пять номеров), заполнен был захватывающими повествованиями из жизни моряков, матадоров и браминов... Ничто и никогда я не писал с таким увлечением, как эти рассчитанные на много томов романы (я начал их штук пять, но дальше первой главы дело не шло), герои которых — Жаны, Франсуа, Джеки и Питеры — как на подбор были широкоплечи, мускулисты, шести футов ростом, с открытыми, честными лицами, готовые друг за друга (любви в этих романах не было) в огонь и воду.

Один из этих романов, «Тайна острова Иф», начинался так:

«Марсель безмятежно спал. Теплая, южная ночь спустилась на город и обволокла безмолвный сейчас Старый порт и прилегающие к нему переулки. Тихо плескались волны и поскрипывали канаты на заснувших пакетботах и фрегатах. Многомиллионный город спал. Только в маленьком, забранном решеткой окошке форта святого Николая горел еще свет. Сквозь решетку можно было разглядеть сидящего за столом молодого офицера. Он что-то писал.

На колокольне собора святой Клотильды пробило три. Молодой офицер вздрогнул. Стоявший на столе фонарь осветил его благородное лицо с высоким, чистым лбом и упрямым подбородком.

«Осталось еще полторы минуты»,— сказал он про себя и выдвинул ящик стола.

В это время в дверь кто-то постучал. Ловким движением офицер вынул из стола великолепный пистолет Лепажа с инкрустированной рукояткой и положил его себе на колени.

В дверь опять постучали.

— Войдите,— спокойно сказал офицер, сжимая в сильных пальцах рукоятку верного оружия.

Дверь отворилась. Там стоял человек в черной маске...»

Дальше между молодым офицером с высоким, чистым лбом и человеком в маске происходил разговор, из которого было ясно... Впрочем, ничего не было ясно — ни читателю, ни самому автору. После слов молодого офицера: «Ты поплатишься за это, грязный убийца!» — стояло: «Продолжение следует», которое так ни-

когда и не последовало — в следующем номере «Зуава» начался новый роман — «Тайны браминов»[1].

Не помню уже, заглядывал ли я тогда в энциклопедический словарь, но, попав в Марсель, я выяснил, что форт святого Николая действительно существует (там сейчас расположен иностранный легион), а вот собора святой Клотильды обнаружить мне так и не удалось. Хорошо, что эти строки не попались на глаза Мариусу.

В Марсель мы приехали 20 декабря. Рано утром мы выехали из Гро-дю-Руа, поздно вечером были уже в Авиньоне. Всего проехали двести пятьдесят километров.

День был солнечный, поразительно теплый, даже жаркий, мы просто изнывали в своих пальто. В Москве в это время было двадцать градусов мороза, а здесь, на набережных Старого порта, все сидели за столиками на открытом воздухе, грелись на солнышке, попивали оранжад. В гавани тихо покачивались яхты. Какой-то парень, скинув рубашку и подставив декабрьскому солнцу загорелую спину, «драил медяшку». Небо было нежное, голубое, как в Крыму.

Увы, в Марселе мне не удалось побывать ни в одной таверне, ни в притоне «Трех бродяг». Я не завел дружбу ни с Мариусом, ни с Оливом, не выпил ни грамма эля,

---

[1] Через несколько дней в Париже у меня произошел любопытный разговор с таксистом. Он оказался русским, к тому же пишущим мемуары. Мы долго стояли с ним в автомобильном заторе где-то около площади Согласия, и вот там-то у нас завязался разговор на профессионально-литературные темы. В ходе этой беседы я вынужден был признаться, что за без малого сорок лет, прошедших со дня «Тайны острова Иф», моя писательская техника мало изменилась,— приступая к диалогу своих героев, я никогда не знаю, чем он закончится.

не побывал даже на острове Иф, тайны которого собирался когда-то разоблачить,— я просто бегал по городу и щелкал фотоаппаратом.

Фотоаппарат — это, конечно, бич. (У меня к тому же была и кинокамера.) Когда он болтается на шее, перестаешь быть нормальным человеком: ничего уже не воспринимаешь, ищешь только кадры.

Ко всему этому у меня порвался футляр камеры. В Париже я попытался его починить, но так и не нашел мастера, а за новый футляр на рю Риволи с меня запросили восемьдесят пять новых франков, что равноценно двум парам неплохих мужских туфель. Пришлось скрепить футляр двумя аптекарскими резинками, которые все время цеплялись за затвор и невероятно затрудняли перевод пленки. Одним словом, с двумя этими аппаратами, оттягивающими шею и плечи, где-то всегда забываемыми — то в кафе, то в машине, то на скамейке,— я порядком-таки намучился.

И все-таки фотоаппарат — это вещь. Придут сейчас друзья, вытащишь из стола толстую пачку фотографий — и опять перед тобой Старый порт с яхтами, и парень, торгующий замысловатыми раковинами, разложенными прямо на мостовой, и два молодых длинноволосых художника (один даже в пелерине), приспособившие свои в грубых мазках картины к фонарным столбам, и толстый марселец, которому надоело уже зазывать на свой катер, идущий к острову Иф,— вот он и разглядывает жирных голубей...

Но самые веселые, самые забавные, самые «марсельские» фотографии — это, конечно, дворы. Живописны они до того, что просто не веришь своим глазам. Неореалистический фильм. Развешанное белье, всякие ходы

и переходы, лестницы с выщербленными ступенями, какие-то деревянные подпорки в виде аркбутанов, сквозь разрывы домов — крыши, крыши, тысячи громоздящихся друг на друга домов. И конечно же дети. Завидев фотоаппарат, они заставляли их фотографировать. Мамы не уступали детям. Одна, подвыпившая, снялась даже с бутылкой в руке. Крик и хохот стоял невероятный. До чего же люди любят фотографироваться...

Потом мы забрались в вагончик невероятно крутого фуникулера (здесь он называется «ассансёр»), поднялись к собору Нотр-Дам-де-ла-Гард, и оттуда, с высокого холма, я снимал раскинувшийся у наших ног город.

Я не знаю, откуда Марсель красивее — сверху вниз или снизу вверх. Когда я бегал с фотоаппаратом по набережной Старого порта, мне казалось, что снизу вверх. В гавани покачиваются такие стройные, такие изящные яхты, и так красиво сквозь их переплетающиеся мачты рисуется колючий силуэт Нотр-Дам-де-ла-Гард. Я взбирался на какие-то тумбы, садился на корточки, прилаживался за столиками в открытых кафе, все выискивал кадры. А взобравшись на холм Нотр-Дам-де-ла-Гард, нащелкал оттуда целую пленку... Позади горы, впереди море. В море скала, острова. Вон и каменистый, с мрачными круглыми башнями Франциска I страшный Шато д'Иф — замок Иф, пристанище Железной Маски и графа Монте-Кристо. Если вы поедете туда, вам покажут даже камеры, в которых томились аббат Фариа и Эдмон Дантес. Но мы туда не попали, что поделаешь, посмотрели в подзорную трубу, и все... А внизу, у ног твоих,— город, большущий, расползшийся в разные стороны, карабкающийся на холмы, шумный, оживленный, второй город Франции по количеству населения. (Впрочем, как ни

странно, но во Франции нет ни одного города, кроме Парижа, свыше миллиона, в Марселе только шестьсот тысяч — вдвое меньше, чем в Киеве.) Город вытянулся вдоль моря. В центре — Старый порт, небольшая, с узкой горловиной гавань, соблазнившая две тысячи пятьсот лет тому назад греков-мореходов, основавших здесь свою колонию. До середины прошлого столетия Старый порт действительно был портом, сейчас же это место стоянки бесчисленного количества яхт и рыбацких суденышек, торговый же порт правее, растянулся на многие километры — пакгаузы, склады, краны и тьма пароходов. Налево от Старого порта пятикилометровая Променад-де-ла-Корниш — виллы и особняки, а по оси гавани прямая, как стрела, известная морякам всего мира, знаменитая Канебьер — главная улица Марселя. Когда-то на этом месте были болота, в средние века их осушили и засеяли коноплей; отсюда и нынешнее название — Канебьер (chènevière — по-французски конопляник).

За шесть веков до нашей эры Марсель назывался Массилия. Так прозвали его греки, основавшие здесь новую колонию. Потом он захвачен был римлянами, подвергался бесконечным нашествиям вестготов, остготов, бургундов, франков. Затем был городом-республикой, крупнейшим экономическим центром Прованса, в XV же веке подпал под власть французских королей. В годы французской революции стал на сторону восставшего народа и на весь мир прославился песней, к созданию которой не имел фактически никакого отношения. Сочинена она была в Страсбурге, в ночь с 25 на 26 апреля 1792 года военным инженером Руже де Лилем и называлась поначалу «Боевой песней Рейнской армии». В революционный же Париж ее принесли марсельские

волонтеры, и с тех пор она стала называться «Гимном марсельцев», или «Марсельезой».

Вряд ли какая-нибудь песня пользовалась такой всенародной любовью и признанием. Зовущие в бой за свободу слова ее звучали при народном штурме Тюильрийского дворца 10 августа 1792 года, в июльские дни 1830-го, в февральскую революцию 1848-го, на баррикадах Парижской коммуны. В восьмидесятых — девяностых годах прошлого века она стала боевой песней русских революционеров. Дважды она во Франции была запрещена — во времена Реставрации и Второй империи. Думаю, что во времена Петена, когда официальная геральдика заменила «Свободу, равенство и братство» на «Семью, труд, отчизну», ее тоже не очень-то рекомендовали петь.

За последние три столетия Марсель перенес два очень сильных потрясения — чуму 1720 года, унесшую около двух третей населения города, и разрушения последней войны. Город усиленно бомбили немцы, потом англо-американская авиация. Торговый порт был почти полностью уничтожен. Немцы затопили в нем двести тридцать кораблей. Пострадал и Старый порт, особенно северная его часть. Сейчас все восстановлено, следов войны не видно — Марсель опять стал крупнейшим торговым портом Франции и, если не ошибаюсь, четвертым по своим размерам в Западной Европе после Лондона, Гамбурга и Ливерпуля.

Об архитектуре Марселя ничего особенного не скажешь. Город как город. Прямые оживленные улицы, большие дома, витрины. Живописность придают горы, холмы и море. В XIX веке отцом города, очевидно очень любимым, был архитектор Эсперандье. Как в

свое время в Киеве Городецкий, он понастроил в Марселе множество пышных, сплошь подражательных и эклектичных зданий в стиле московского или питерского «Елисеева». Именно архитектору Эсперандье обязан Марсель и базиликой Нотр-Дам-де-ла-Гард, той самой, с эспланады которой мы никак не можем уйти.

Что-то эффектное в этой базилике, конечно, есть. Стоит высоко на горе, много лестниц, подпорных стен, сорокапятиметровая колокольня с венчающей ее позолоченной фигурой богоматери, вокруг еще множество разных скульптур, но в общем марсельская Нотр-Дам может посоперничать только с парижской Сакре-Кёр, помпезным собором на вершине Монмартра, который истые парижане не очень-то жалуют. Что поделаешь, конец прошлого века отнюдь не был золотой порой в истории архитектуры...

Внутри собор интереснее. Но опять же не архитектурой, а теми трогательными знаками человеческой веры в сверхъестественное, которая так распространена в южных странах и особенно среди моряков. Нотр-Дам-де-ла-Гард — по-русски Богоматерь-охранительница. Есть у собора и другое название: La Bonne Mère des Marseillais — Добрая мать марсельцев. Марсельцы верят в чудодейственную силу своей покровительницы и в знак благодарности за содеянные ею чудеса наделяют ее подарками. Подарки эти заполняют все внутреннее пространство церкви. На тоненьких тросах свешиваются из-под сводов сотни маленьких корабликов, великолепно сделанные копии различных фрегатов, шхун, сейнеров, рыболовецких траулеров, спасшихся в свое время от кораблекрушения. Есть здесь и торпедные катера, и эсминцы, даже крейсеры, уцелевшие после сражений. Ви-

сит даже несколько крохотных танков, сделанных с завидным мастерством, десятка два истребителей, бомбардировщиков. А на стенах вместо икон, которые католическая церковь не признает, великое множество картин — маленьких, средних, больших, совсем простеньких рисунков, акварелей и громадных полотен в тяжелых золоченых рамах, живописующих драматические моменты борьбы человека с разбушевавшейся стихией. И у каждой табличка с благодарностью пресвятой деве Марии за спасение на воде, на море или в воздухе.

Мы вышли из собора. Где-то вверху ударили в колокола. Я поднял голову. Высоко над нами, сияя золотом, спокойно смотрела вдаль Добрая мать марсельцев. Кто ее автор — мне неизвестно: в путеводителе сказано только, что рост ее девять с половиной метров, а вес четыре тонны...

Перед тем как сесть в «ассансёр», мы посмотрели еще в телескоп, рядом с которым на ножке стояла табличка с надписью: «Лучезарный город» Ле Корбюзье. Побывать в Марселе и не увидеть его — то же самое, что, посетив Каир, не посмотреть на пирамиды. Добираться было далеко (дом находится на южной окраине города, в конце бульвара Мишлэ) — пришлось ограничиться телескопом.

Сейчас этот гигантский восемнадцатиэтажный корпус, именуемый «Жилая единица» (единица «Лучезарного города»), а еще точнее «Жилая единица соответствующего размера», является гордостью и одной из главных достопримечательностей Марселя. В путеводителе так и сказано: «Здание это сквозь века пронесет память о гении его строителя». Но сколько мытарств, сколько издевательств перенес строитель его, пока плод двадца-

типятилетних раздумий и теоретических обоснований не превратился в гордость Марселя. Ле Корбюзье, правда, мог уже давно привыкнуть к международным скандалам, связанным с его проектами, но все-таки нужно обладать железной выдержкой и упорством, чтобы преодолеть все преграды, которые стояли на его пути [1]. За время строительства «Жилой единицы» (1945—1950) десять раз менялось правительство, семь различных министров градостроительства ставили под сомнение его стройку. Учитель Ле Корбюзье Перре подверг проект полному разгрому. Комиссия по гигиене требовала сноса «Жилой единицы»... Президент Ордена врачей депар-

[1] Мишель Рагон в своей очень интересной книге «О современной архитектуре» рассказывает о скандале в связи с конкурсом на дворец Лиги наций в 1928 году. Дворец Лиги наций в Женеве явился результатом серии негодных комбинаций. Первая премия и право на осуществление были присуждены проекту Корбюзье. Но архитектор академист Лемарескье сделал заявление о том, что этот проект недействителен, так как вместо китайской туши он был вычерчен типографской краской. Тогда каждому из членов жюри было предоставлено право выдать по одной премии. Были отобраны девять проектов и среди них проект Ле Корбюзье, который опять собрал большинство голосов. Проект Ле Корбюзье был единственный, в котором стоимость строительства была ниже заданной — тринадцать миллионов франков. Самый дешевый академический проект предусматривал стоимость, равную двадцати семи миллионам франков. Чтобы отстранить Ле Корбюзье, Ассамблея увеличила ассигнования на пятьдесят процентов.

Все профессиональные организации протестовали против подобного разрыва контракта. В качестве арбитров были назначены пять посланников. Они также признали проект Ле Корбюзье лучшим. Наконец, ему был противопоставлен проект некоего архитектора академиста Нено, который выполнил свою работу, взяв за основу проект Ле Корбюзье. Это послужило поводом к новому скандалу. Ле Корбюзье обвинил Лигу наций в плагиате, но все эти демарши оказались безрезультатными.

тамента Сены сделал официальное заявление о том, что шумы внутри здания будут способствовать душевным заболеваниям. Марсельцы прозвали его «домом рехнувшегося». Летом 1956 года пресса заговорила о фактах тяжелого нервного расстройства среди жителей «Жилой единицы»...

Сейчас — это гордость Марселя, дважды уже повторенная в других городах. Семь «жилых единиц» запроектированы для города Мо, что позволит разместить в них десять тысяч жителей. Это будет первый пример «лучезарного города».

Что же всех так пугало и возмущало в этой нашумевшей на весь мир еще до своего рождения «Единице»? Новаторство, ломка канонов — вот что!

Основная идея авторов проекта (Ле Корбюзье, Боженского и инженера Бодянского) — это «индивидуальная свобода в коллективной организации».

«Если верить народным референдумам,— пишет в своей книге Мишель Рагон,— то типом идеального жилища является маленькая вилла в маленьком саду, в маленьком пригороде, с маленькой женой и маленькими детьми». Соблазнительно, но вряд ли осуществимо.

А вот Ле Корбюзье попытался.

«Жилая единица» состоит из восемнадцати этажей и трехсот тридцати семи квартир на тысячу шестьсот человек. Каждая квартира так же автономна, как индивидуальный дом (все квартиры двухэтажные и полностью звукоизолированы), и в то же время жильцы получают полноценное коллективное обслуживание. Первого этажа в доме нет (значит, нет и сырости) — это столбы, на которых стоит здание. Восемнадцатый этаж — крыша-терраса. На ней беговая дорожка, гимнастический зал, со-

лярий, кафетерий, плескательный бассейн для детей, бетонная горка и песок для игр. Тут же выход в детский сад. На остальных этажах шесть горизонтальных и четыре вертикальных (лифты) улицы. Одна из горизонтальных — торговая. Не выходя из дому, вы можете полностью «отовариться». Кругом «Единицы» парк. Она купается в воздухе, зелени и солнце. Из окон в одну сторону — горы, в другую — море... Действительно, есть от чего с ума сойти.

В телескоп мы видим только белый корпус среди зелени. У нас нет времени осмотреть его, мы и так уже опаздываем. А до чего хотелось бы походить по его улицам, заглянуть в какую-нибудь из квартир и самому оценить, насколько неудобна «недопустимая близость» соседей, как писали газеты 1950 года, или мучительно «трагическое одиночество», о котором пишут враги Ле Корбюзье до сих пор.

Один мой приятель, когда я прочитал ему это место, рассмеялся: «Побойтесь бога, какое же тут новаторство. Я вот уже скоро тридцать лет живу в таком же доме. На углу Арбата и Смоленской. Те же коридоры-улицы, те же выходящие на эти улицы квартиры, «Гастроном» даже на первом этаже есть. И ничего особенно «лучезарного» я в этом не нахожу. Я даже понимаю этого президента Ордена врачей, который писал о каких-то там случаях нервного расстройства».

Мой приятель шутил и в то же время был прав (у него была однокомнатная квартира без вида на море и горы, и курить нам приходилось выходить в коридор), но когда ему дали отдельную квартиру на Юго-Западе, он все-таки путем обменов остался в своей арбатской «единице», перебравшись на шестой этаж, и, хотя соля-

рия и беговой дорожки у него до сих пор так и нет, зато появился вид на Москву-реку. Нет, очевидно, что-то соблазнительное даже в этом арбатском варианте «лучезарности» все-таки есть. И опять мой приятель выбил оружие из моих рук. «Просто я привык к этому «Гастроному»,— сказал он и посмотрел на часы; как раз кончился обеденный перерыв.— Может, сбегать? За здоровье Корбюзье... За приоритет над ним...» [1]

Мы покидаем Марсель около шести часов вечера. Наш шофер Морис — спокойный, молчаливый, совсем не похожий на провансальца — начал уже слегка ворчать: настали самые часы «пик». Улицы были запружены до отказа, нам подолгу приходилось стоять на каких-то перекрестках. Солнце уже зашло, но по-прежнему было жарко. Бойкая марсельская ребятня бегала в одних клетчатых ковбойках, даже солидные, пожилые мсье несли свои пальто на руках. (Через несколько дней в Марселе выпал снег какой-то там толщины — об этом писали все газеты и приводили множество фотографий, в основном Старого порта с заснеженными яхтами.)

Мы долго выбирались из города — везде нас поджидали пробки. Перед нами ехал грузовик с солдатами. Молодые, веселые, в забавных своих синих беретах с ленточками, они на всех заторах с кем-то перекрикива-

---

[1] Когда писались эти строки, можно еще было выпить за здоровье Корбюзье. Сейчас его уже нет. Он утонул летом 1965 года, купаясь в Средиземном море, близ Ментоны, у местечка Рокебрюн. Из жизни ушел великий архитектор XX века, а может быть, и не только XX-го...

лись, смеялись, а один из них, смуглый, похожий на Д'Артаньяна, каждый раз, когда мы впритык упирались в их машину, вынимал из-за пазухи клаксон и неистово дудел им в лицо нашему Морису. Морис ничуть не раздражался, а солдат покатывался от хохота. Мы тоже смеялись.

Я почему-то не могу равнодушно смотреть на солдат. Когда-то я сам ими командовал, и покрикивал на них, и ворчал, и бранился, а в чем-то немного завидовал (в том, чего не хватало мне, горожанину), и жалел их, и восхищался, а когда война кончилась и пришлось сбросить погоны, вдруг загрустил по ним. Мы всегда жили дружно и редко друг на друга обижались. Вот и стало грустно, когда остался вдруг один. И не один вроде — семья, друзья,— и все же один — нет твоего батальона... Теперь, когда мимо меня проходит какая-нибудь воинская часть, я всегда останавливаюсь и долго слежу за ней, шагающей посреди мостовой с обязательным сержантом сзади — в руке красный флажок или вечером фонарь. Вот они какие теперь, солдаты, все на подбор, один к одному, не то что в войну.

А вот в этой машине перед нами французские солдаты. Я смотрю на них и думаю: чем они отличаются от наших? Внешне только формой — защитного цвета куртки с карманами, береты с эмблемой на боку. А так — такие же ребята: молодые, веселые, похожие немного на грузин — марсельцы все-таки. И ничем они не похожи на завоевателей, каких я видел в войну,— наглых, жестоких, самоуверенных, с засученными рукавами и расстегнутыми воротами. Вот остановится эта машина в каком-нибудь маленьком городишке или деревушке, и солдаты сразу рассыплются, и сразу же откуда-то возьмутся де-

вушки и конечно же мальчишки: «А можно потрогать автомат?..»

Когда мне было четыре или пять лет, я тоже бегал за такими вот солдатами: они каждое утро проводили какие-то занятия возле нашего дома у парка Монсури, только тогда штаны и кепи у них были красные, а шинели голубые с отвернутыми полами, и конечно же в перерывах они хватали нас, мальчишек, на руки и кололи плохо выбритыми щеками, и я был в восторге...

Где-то на самой окраине Марселя машина с солдатами свернула направо. «Д'Артаньян» на прощанье подудел нам в свой клаксон, и машина скрылась за поворотом. А я невольно подумал: так вот они какие, эти солдаты, солдаты НАТО... Не дай бог, что-нибудь произойдет, нажмет какой-нибудь сумасшедший кнопку — и вся эта смеющаяся, весело гудящая сейчас в клаксон молодежь, которая меньше всего хочет войны... Но я тут же отогнал эту мысль от себя. Не хотелось думать, покидая Марсель, о войне. Не хотелось, не хочется в нее верить...

Полгода спустя в Москве я познакомился с солдатом НАТО. Вернее, бывшим солдатом. Здесь, в Москве, он был французским врачом, проходящим в порядке культурного обмена стажировку в одной из московских клиник. А несколько лет тому назад он был французским солдатом, затем младшим офицером и воевал в Алжире. Звали его Жан-Мари.

Их было двое — Жан-Мари и Коко. Оба врачи. Оба приехали в Москву на полгода. Коко — небольшого роста, плотный, чернявый — член Французской компартии. Жан-Мари — высокий, светлый, носатый, с голубыми глазами навыкате и волосами во все стороны. Похож ско-

рее на скандинава, но увлекающийся, горячий. С Коко они друзья. Но вечно спорят, главным образом на общественные темы, спорят везде: на улице, в гостях, у себя в гостинице, иной раз всю ночь, до утра. «Научились у вас, у русских...»

Коко — врач. Но в первую очередь коммунист. Он интересуется всем: искусством, литературой, театром, но социальное для него важнее всего, в том числе и в искусстве, литературе, театре. И в медицине тоже. Я вижу его в будущем любимцем рабочих окраин, «нашим Коко», как не могут не называть его будущие его пациенты,— отзывчивым, добрым, смелым и борцом, борцом не только с болезнями, но и за социальную справедливость.

Жан-Мари из аристократической семьи. Об отце своем не без иронии говорит: «Аристократ, реакционер, расист... Не верите? Честное слово. Таким и я в молодости был. Потом попал солдатом в Алжир. Тут все и произошло...»

Да, Алжир переломил Жан-Мари. Он увидел настоящую колониальную войну, увидел зверства, жестокости. У генерала Массю офицеры были на подбор. ОАС, «ультра» — это оттуда, от него. К местному населению никакой жалости. «Алжир должен быть французским!» Алжирцев — воюют они или не воюют — сгоняли за колючую проволоку, в концентрационные лагеря. В одном из таких лагерей Жан-Мари служил сначала солдатом-санитаром, затем врачом. Он собственными глазами видел, что делали с алжирцами. Нестерпимые условия вызывали болезни. Лечить не разрешали. Аспирин — и все. От любой болезни. За нарушение — трибунал.

Жан-Мари нарушил. Он лечил больных. Его судили.

Осудили. Отсидел положенный срок. И опять стал лечить. Его перевели во Францию.

— О! Какой народ! Вы не представляете себе. Я влюбился в него! И они меня полюбили. Попадете в Алжир — обязательно спросите об Абдер-Аза. Вот спросите, спросите. Ну да, это они меня так прозвали. И плевал я на то (он сказал несколько грубее), что меня прогнали во Францию... Все равно я вернусь. Я им нужен. И они мне нужны. Я буду работать в Алжире, вот увидите...

Тут в спор всегда вступал Коко. Он понимает любовь Жан-Мари к алжирцам, но неужели он думает, что во Франции так уж все благополучно? Французов тоже надо лечить. Не обязательно же богачей, не обязательно кабинет на бульваре Сен-Жермен — сколько рабочих, сколько крестьян требуют медицинской помощи. Во Франции тоже надо вести борьбу с шарлатанами, знахарями.

Жан-Мари не сдается: он все это прекрасно понимает, но в Алжире он нужнее. Коко пусть работает во Франции, а он вернется в Алжир. Все. Точка.

Сейчас Коко и Жан-Мари во Франции. Поступили в аспирантуру. Домой Жан-Мари летел через Киев. Один день мы провели вместе.

Когда я пришел к нему в гостиницу, он несколько смутился: «Простите, такой беспорядок». Чемоданы были раскрыты, все было вывернуто наружу.

— Это я ищу алжирские пленки. Впопыхах сунул куда-то и не могу найти. Хочу вам показать.

Он их наконец нашел — крохотные цветные диапозитивы. И сразу же загорелся:

— Вот это Алжир, центр города. И не скажешь, что

Африка, правда? А это арабская часть, мусульманская... Это вот лагерь наш — видите, столбы, проволока... А это мои друзья, старик и старуха. Я их долго лечил от дизентерии. Они мне даже изредка пишут... И это друзья. Возле своего дома. На фото он очень живописен, не правда ли, но на самом деле... Это очень страшно — нищета, нищета... А это... Это убитые алжирцы. За полчаса до того, как я их снял, они были еще живы... Нет, вы не представляете, какой это народ... Смелый, добрый, благородный и нищий, нищий. Ох, какой нищий... Сейчас Алжир стал независимым. Но как ему еще трудно. И долго будет трудно... В новом Алжире я не был, надо все видеть собственными глазами. А по газетам трудно судить. Многое непонятно. Сложно, сложно, очень сложно...

Когда Жан-Мари начинает говорить об Алжире, его надо перебивать: сам он никогда не остановится.

Я взял в руки лежавший на диване альбом — памятники русской архитектуры.

— О! Это мне друзья подарили. Я так им благодарен. Достали где-то эти старые альбомы и подарили. Тут и Суздаль, и Владимир, и Ростов, и Новгород... Лучший для меня подарок.

Ну конечно же и Коко и Жан-Мари приехали сюда поучиться у наших врачей — оба они невропатологи,— но самое главное не это, не медицина, самое главное — посмотреть нашу страну.

И тут Жан-Мари нас потряс. Он облазил всю Москву вдоль и поперек. И не только восторгался ее древними церквами и ансамблями, но проявил такие познания в русской архитектуре прошлого, что мне, бывшему архитектору, оставалось только краснеть.

— О! Манифик, манифик! Великолепно! Формидабль! Потрясающе!

И вот ему подарили альбомы Владимира, Суздаля, Ростова. Он был в восторге. Я, чтоб не отстать от москвичей, преподнес ему «Софию Киевскую». Это было не очень гуманно с моей стороны: мы потом еле-еле перетащили его чемоданы от такси до поезда — все это были книги. Поезд на Будапешт отходил в двенадцать дня. Утро было свободно. Мы погуляли по городу. Опадали последние, ослепительно желтые листья кленов, под ногами шуршало, небо ясное, воздух чист и прозрачен. Чуть-чуть подмораживает. Мы бродили по Владимирской горке, смотрели на ставший вдруг полноводным Днепр, на затянувшиеся легкой дымкой дали, на дымящий внизу Подол. И Жан-Мари все восторгался:

— Манифик! Формидабль!

Мы прошли мимо Андреевской церкви, Софийского собора (вчера он успел уже в одиночку его осмотреть), спустились вниз на Крещатик. Жан-Мари погрустнел:

— Я не хочу уезжать. Не хочу. Мне грустно. Мне очень грустно... Я не хочу с вами расставаться. Со всеми вами...

То была правда. Не французская галантность, а правда. Я видел, что ему не хочется уезжать. С открытой душой, со всей своей искренностью тянулся он к людям, с которыми здесь познакомился, сдружился. И радовался каждому новому знакомству. Как ребенок радовался. И очень огорчался, когда кто-нибудь относился к нему с осторожностью, видя в нем иностранца, начинал неумеренно расхваливать наши достижения или неуклюже скрывать недостатки.

— Зачем они это делают? — недоумевал он.— Ведь я все сам вижу. И хорошее вижу, и плохое. И интересует меня больше хорошее.

Жан-Мари не хотелось уезжать. Он радовался нашим успехам, видел наши трудности, наши заботы, многого не понимал, с чем-то не соглашался, но уезжать не хотел: он полюбил Россию, полюбил ее людей.

— Неужели это навсегда? Неужели не приеду? Туристом? Очень дорого. Невероятно дорого. И вообще это не то...

Мы расстались на перроне. Даже расцеловались. Вскочил он уже на ходу. Долго еще махал рукой.

Я рад, что познакомился с Жан-Мари. И не только потому, что он умный, веселый и обаятельный парень, а потому, что всем своим обликом, темпераментом, строем мыслей, своей честностью и благородством он укрепил во мне веру во Францию, во французский народ. Нет, настоящий француз не стреляет в алжирца — он ему помогает, он его лечит, будь даже отец этого француза «аристократом, реакционером и расистом». Генерал Массю и его парашютисты — это не Франция. Настоящая Франция, ее будущее — а я верю в него — это Жан-Мари, это Коко, это люди широкого ума, горячего сердца и — без этого француз не будет французом — веселой, лукавой усмешки в глазах.

Поездка по Провансу подходила к концу. Еще один вечер в Авиньоне, в тихой гостинице с целующимися пастушками и маркизами на стенах, а утром мы уже мчались на север, в Париж.

За неделю мы все-таки кое-что повидали. В Сент-Ма-

ри-де-ла-Мер, излюбленном месте Ван-Гога (сюда он приезжал из Арля писать знаменитые свои барки), мы встретились со Средиземным морем. Встретило оно нас неприветливо — серое, недовольное, с ветром, срывающим с волн брызги. На берегу сохли сети, хлопало развешанное на веревках белье. Мы погуляли по пляжу, подняв воротники (а я, грешным делом, захватил плавки, думал выкупаться), и, осмотрев старинную церковь (надо же что-то осмотреть), через Камарг двинулись в Гро-дю-Руа, то самое, где в маленьком кабачке «Пти мусс» я познакомился со старым русским эмигрантом. Ночевали мы в совершенно пустом отеле — ни одного постояльца, кроме нас,— у самого моря; казалось даже, что брызги залетают в окно. В ресторане тоже никого. За окном завывал ветер, шумело море. Пожилая, молчаливая, с недоверчивой улыбкой хозяйка подавала нам блюда. Муж ее — гигант с каменным лицом, леденящим взглядом и такого размера руками, что невольно пробегал мороз по коже,— молча, не глядя на нас, стоял за стойкой. Иногда они о чем-то перешептывались. Всплыли в памяти вычитанные где-то в детстве истории про заброшенные харчевни и разбойников. Поднявшись к себе в номер, я долго не мог заснуть. Прислушивался к завыванию ветра и скрипящим ступеням ветхой лестницы. Вот откроется сейчас дверь, и войдет хозяин. Я уже чувствовал железные его пальцы, сжимающие мое горло... Утром, когда мы прощались, оказалось, что у хозяина доверчивая, милая, совсем детская улыбка. К тому же выяснилось, что он коллекционер бабочек. С такими ручищами. Бывает же такое...

О Гро-дю-Руа наша Ольга Леонидовна говорила, что это «маленький рыбацкий поселок».

Наутро мы увидели, что в этом рыбацком поселке шесть или восемь гостиниц, из них четыре многоэтажных, в самом современном стиле, построенные только в прошлом году. Все они сейчас пустовали — ждали сезона.

В таком же духе говорила Ольга Леонидовна и о маленькой провансальской деревушке Эгальер, в которой она обычно с детьми проводит лето. «О, это совсем глухая деревня. Типично провансальская. Туристические компании хотели превратить ее в одну из достопримечательностей Прованса, но население воспротивилось. Там тихо и заброшенно, вы сами увидите».

Когда мы приехали туда, мы обнаружили на главной улице штук десять или двенадцать легковых машин, а в маленькой, очень уютной таверне, где во второй комнате жарилось в камине на вертеле что-то вроде зайца, на стойке веером были разложены открытки с видами «глухой деревушки», а на столах стояли крохотные пепельницы с золотой надписью «На память об Эгальере». Радушные хозяева, конечно, тут же преподнесли нам по такой пепельничке. Кстати, таких и подобных ей пепельниц у меня накопилось великое множество — во Франции в гостиницах и ресторанах их охотно преподносят: «На память о нас, чтоб еще раз приехали». А в одном ресторане, у мадам Луизетт на Блошином рынке в Париже, мне подарили даже столовый нож, который очень хорошо режет — в виде пилки. Дома на него теперь не нарадуются.

К слову, о туризме. У нас принято иронизировать над западным туризмом. В Швейцарии, мол, за год перебывает иностранцев раз в десять больше, чем во всей стране живет швейцарцев. Куда ни плюнь — отели, пансионы,

указательные стрелки на всех языках. Страна, мол, только и живет и благоденствует благодаря этим туристам. Как Монте-Карло за счет игроков.

Я тоже не великий поклонник туристов, как таковых. Громадные их толпы — все в темных очках, с фотоаппаратами и «бедеккерами» — я видел на улицах Рима, в Ватикане, в залах Уффици, в Венеции, Помпее, на Капри. Саранча... Становится даже тоскливо... Но то, что эту саранчу умеют обслужить, создать все удобства, показать самое красивое (пусть ради денег, для бизнеса),— это факт.

Несколько лет тому назад я попал на озеро Севан. Это одно из красивейших мест Армении. Прозрачное, полное форели, высокогорное озеро, кругом горы, редкой чистоты воздух. Казалось бы, все создано для санаториев, домов отдыха, туристских лагерей, кемпингов. Ничего этого нет — берега пусты. Только на маленьком островке — сейчас, после постройки электростанции превратившемся в полуостров — два миниатюрных дома отдыха человек на сто, не больше. Говорят, лучшего места, чем Севан, для лечения туберкулеза не найти, а вот все ездят в Алупку, Симеиз и сидят там друг у друга на головах.

Чтоб не возвращаться больше к туризму, несколько еще слов о путеводителях. Одно время у нас их почти совсем не было. Теперь их много. Одни получше, другие похуже. Когда-то, в незапамятные времена, были очень неплохие путеводители по Крыму и Кавказу Григория Москвича (его «Крым» лежит на самом почетном месте в ялтинском домике Чехова, на письменном столе, рядом с «Врачебным справочником»), сейчас они стали библиографической редкостью. Во Франции наиболее популя-

рен «Зеленый гид» Мишлэн (кстати, основная специальность этой фирмы — производство автомобильных покрышек). Серия эта состоит из недорогих (5,25 новых франка), превосходно изданных полиграфически, продолговатых (очень удобно помещающихся в кармане пиджака) зеленых книжечек с множеством сведений, очень подробными картами, планами и изящными, гравированными на стали иллюстрациями. Серия состоит из двадцати книжечек, охватывающих не только все департаменты Франции, но и Швейцарию, Австрию, Италию, Алжир и Марокко. Каждый год «гиды» переиздаются, пополняясь новыми сведениями.

Итак, Прованс уже позади. Позади Марсель, и тихий Арль с пустующей сейчас ареной, и папский Авиньон, и раскопки древнего галло-римского города Гланум возле Сен-Реми (здесь я впервые ознакомился с римской картографией — большим планом города, высеченным прямо на мраморе; говорят, он очень помог при раскопках). Позади и знаменитое Ле-Бо — поразительнейший уголок Прованса, о котором не могу не сказать несколько слов. Впрочем, «уголок» — это не то слово. Это скорее остров, только омываемый не морем, а воздухом. Сейчас Ле-Бо — это малюсенькая деревня со ста восемьюдесятью жителями, прилепившаяся среди скал небольшого плато размером девятьсот на двести метров, отрога горной цепи Альпиль. Первое впечатление от этих скал — что они сделаны Густавом Дорэ. Только он мог такое придумать, больше никто,— все эти каменные, иссеченные ветрами и дождями фантастические зубчатые утесы, увенчанные руинами средневекового замка. Понять, как этот замок был построен, невозможно. Какими приспособлениями доставлялся по отвесным сте-

нам на головокружительную высоту камень, как его там клали, кто и как, выражаясь нашим языком, рассчитывал эту массивную, не пробиваемую ядрами крепость, да еще в XIII веке,— одному богу ведомо. А вот построили и жили в нем могущественнейшие феодалы, сюзерены семидесяти двух окрестных городов и крепостей. Здесь, среди этих сказочных скал, жило «племя орлов и никогда вассалов», по выражению Мистраля, здесь с легкой руки прекрасной и доброй королевы Жанны, красивейшей дамы Прованса, выдавали премии на своем трибунале галантнейшим из галантных рыцарей и трубадуров, и благороднейший из них награждался короной с павлиньими перьями и поцелуем красивейшей из дам. Правда, не всегда все кончалось так благополучно. Иной раз ревнивый владелец замка расправлялся с победителем турнира и вырванное из груди сердце его, как лучшее из блюд, преподносил даме своего сердца. Да, страсти роковые... Сейчас как-то все проще. И в руинах замка, разрушенного Людовиком XIII, которому надоели строптивые и непокорные хозяева его, среди мрачных стен, свидетелей пышных и жестоких торжеств, гуляет сейчас только ветер да изредка заберется сюда со своей «петакой» какой-нибудь турист из наиболее смелых и молодых.

Я не берусь описать вид, открывающийся с этих стен, когда-то ласкавший взгляд прекрасной королевы Жанны. «Манифик, формидабль!» — как сказали бы французы на моем месте.

Перед вами весь южный Прованс — от горной гряды Альпиль до Средиземного моря. В хорошую погоду можно, говорят, разглядеть Эг-Морт и Сент-Мари-де-ла-Мер. Ничего не скажешь, умели все-таки в средние

века строить, умели и подходящие «площадки» находить.

Феодалов давно уже нет. Вместо них теперь туристы. От них зависит благосостояние ста восьмидесяти жителей деревушки. На средневековых узеньких уличках ее множество лавчонок, торгующих открытками, сувенирами и фото- и кинопленками: любителю пощелкать тут работы хватит. Но не только развалинами и скалами славится этот уголок,— оказывается, такое прозаическое слово, как «бокситы», происходит именно от этого самого Ле-Бо: в 1822 году именно здесь, в двух километрах на запад, в сторону Арля, были впервые обнаружены залежи минерала, давшего нам алюминий.

Видите, какие занятные вещи узнал и увидел я, попав в эту маленькую деревушку, полное название которой Ле-Бо-де-Прованс, находящуюся на полпути от римского города Гланум к знаменитой мельнице Альфонса Додэ. Что ни шаг, то история...

В середине декабря 1962 года в Гаврском порту на борту трансатлантика «Франс», отправлявшегося в Америку, ждали прибытия знатной пассажирки. День и час ее прибытия держался в секрете. Неизвестен был и маршрут, по которому она должна была прибыть. Все было окутано тайной. В самом центре корабля, где меньше всего ощущается качка, знатной пассажирке выделена была самая комфортабельная каюта М-79.

Встретить пассажирку явился в порт субпрефект Гавра в парадной форме в сопровождении двух взводов морской пехоты почетного караула.

В назначенный, но неизвестный журналистам час ма-

шина таинственной пассажирки, окруженная тремя броневиками и восемью мотоциклистами, подъехала к борту «Франс». Солдаты в белых перчатках взяли на караул. В окружении полицейских с автоматами в руках таинственная дама, которая всю дорогу загадочно улыбалась, не проронив при этом ни слова, со всеми положенными знаками внимания была препровождена в отведенную ей каюту. Вслед за ней последовало шесть ее телохранителей. Через несколько дней ее восторженно встречали в Америке...

Четыреста пятьдесят лет тому назад эта юная флорентийка была женой сеньора Франческо ди Бартоломео ди Заноби дель Джокондо. Звали ее Монна-Лиза. Леонардо да Винчи увековечил ее. И вот она впервые в своей жизни пересекла океан по приглашению Жаклин Кеннеди.

Вряд ли среди произведений искусств всего мира и всех эпох найдется портрет более известный, более популярный. Во время одного опроса, проведенного во Франции среди учащихся начальных школ, выяснилось, что две трети детей не имели представления ни об одной картине, кроме Джоконды. По другим сведениям, в Западной Европе людей, знающих Джоконду, в два раза больше, чем слышавших о Наполеоне.

Ни об одном полотне ни одного художника столько не писали, столько не спорили.

В 1911 году, когда Джоконда была выкрадена неизвестным злоумышленником из Лувра, о ней писали все газеты мира, на ее поиски были брошены все силы французской полиции. Найдена она была через два года в Италии. Похитителем оказался итальянец Винченцо Перуджиа, выкравший ее, по его словам, из патриотических

убеждений: она, мол, итальянка и должна жить в Италии. То, что она была продана Леонардо да Винчи французскому королю Франциску I за тысячу двести ливров (триста миллионов старых франков), его ничуть не интересовало. Сейчас эксперты оценивают картину в пятьдесят миллиардов старых франков, что на четыре миллиарда дороже самого современного лайнера «Франс», на котором Джоконда отправилась в свое путешествие.

Обо всем этом наперебой писали все газеты Парижа в те дни, когда мы там были. Из них я узнал несметное количество деталей и подробностей, доселе мне неведомых. Узнал, что исследователи-врачи каким-то образом определили рост Монны-Лизы (1 м. 75 см.!), другие, еще более тонкие специалисты доказали, что прекрасная флорентийка, изображенная на портрете, находится в ожидании младенца; третьи еще по каким-то признакам — что она глуха, четвертые, что она, без всякого сомнения, страдала астмой, наконец пятые утверждали, что художнику позировала вовсе не женщина, а юный флорентийский паж... Узнал я и о том, что в 1957 году некий, очевидно сумасшедший, боливиец запустил в Джоконду камнем и повредил ей руки (после чего картину защитили специальным непробиваемым пулями стеклом), а другой одержимый, имя которого так и осталось неизвестным, в течение двадцати лет, с 1919 по 1939 год, ежедневно посещал Лувр и подолгу стоял перед портретом. Только война прекратила эти визиты...

И еще узнал я, что в мире существует двести копий знаменитой картины и что сто восемьдесят четыре из них сделал флорентийский художник Антонио Бэн. По его словам, он во всем следует традициям мэтра, кро-

ме одной. Леонардо писал восковыми красками. Бэн же — масляными, что в семь раз (?) скорее. Но чтоб придать своему полотну «восковой» вид, он кладет его в печку к булочнику, чтобы образовались маленькие трещинки, придающие вид старины. Когда я это прочитал, мне стало почему-то немного страшно. Впрочем, взглянув на самодовольно-благополучную физиономию синьора Бэна в каком-то из журналов и узнав, что первую свою копию он написал в пятнадцать лет (сейчас ему шестьдесят восемь), я понял, что свой бизнес в жизни он сделал.

Переполненный всеми этими сведениями, я отправился в Лувр. В Большой галерее не было ни души, если не считать служительницы, уютно, совсем как в Эрмитаже, дремавшей на своем стуле. Джоконда мирно висела, не подозревая об ожидавших ее перипетиях, в золоченой раме на широком простенке между двумя окнами, обращенными к Сене.

Как всегда, когда встречаешься с великим произведением искусства, немного волнуешься. То ли боишься разочароваться, не уловить того, о чем столько читал и слыхал, то ли сам факт, что вот стоишь перед чем-то великим, бессмертным, так сильно действует на тебя,— не знаю. Вот так стоял я перед Джокондой... Стоишь и смотришь. И не хочется отходить. Почему? Поражен красотой? Но так ли уж она красива? Желтовато-матовое лицо, бесцветные губы, отсутствие бровей... Нет, все-таки красива. Но не это поражает. Глаза? Неразгаданная до сих пор улыбка? Руки? Возможно. Впрочем, нужно ли во всем этом разбираться? В конце концов мне так же безразлично, красивы ли черты лица у этой дамы, как и то, страдает ли она астмой или сколько в ней сантимет-

ров роста. Я долго стоял перед Самофракийской Победой. Она неожиданно возникает перед тобой на широкой лестнице Дарю, озаренная лучами невидимых прожекторов, и кажется, вот-вот оторвется от земли, увлекая тебя за собой. Стоишь перед ней завороженный, и нет тебе никакого дела, что у скульптуры нет головы: ты не замечаешь этого...

Помню еще в детстве в «Ниве» я увидел фотографии конкурса, проведенного среди скульпторов на восстановление рук Венеры. Это было давно, но я до сих пор помню, что даже тогда, мальчишке, мне показалось это святотатством.

Нет, дело, очевидно, не только в красоте форм, не во внешней завершенности (вспомним опять же гробницу Медичей Микеланджело), а в самом духе произведения, умении проникнуть в существо вещи, в том, что и отличает искусство от неискусства.

Ле Корбюзье писал когда-то, что настоящее произведение искусства (речь шла об архитектуре) прекрасно и в своих развалинах. Парфенон, несмотря на разрушение, по-прежнему остался непревзойденным памятником архитектуры, а разрушенный дворец рококо не более как груда кирпича. Турецкие пушки не смогли убить Парфенон, они могли только повредить его, идея же, мысль, а значит, и красота его сохранились. Во дворце рококо все поверхностно, там и сохраняться нечему.

У Самофракийской Победы нет головы, но есть могучие крылья, порыв, торжество, упоение победой. Она точно парит над вами, зовет, увлекает... Венера Милосская лишена рук, торс ее весь чем-то иссечен, поврежден, но ты этого не замечаешь. Неведомые мастера древней Греции сумели создать и донести до нас сущность че-

ловеческой красоты, поэтому мы называем их гениями. И Леонардо да Винчи тоже... Может, потому Монна-Лиза и улыбается так загадочно, что она давно уже знает, а мы только пытаемся разгадать, в чем же секрет ее красоты...

В галерее Медичи — в том же крыле Лувра, что и Джоконда,— висят полотна Рубенса — двадцать одно полотно, воспевающие величие Марии Медичи, ее жизненный путь со дня рождения до смерти. Рубенс был великим художником, но как же все-таки меркнут эти грандиозные, многословные, шуршащие шелком, звенящие медью фанфар полотна перед скромным по своим размерам (77×55 см) портретом прекрасной флорентийки...

Через три дня после моего посещения она уехала в Америку. Ее бережно сняли со стены, уложили со всеми предосторожностями вместе с нейлоновой, предохраняющей от влаги, рамой в специальный контейнер и, окружив телохранителями, отправили в Гавр [1].

«Если на корабле случится пожар или он пойдет ко дну,— сказал один из телохранителей журналистам,— нам приказано бросить «ее» за борт. Контейнер не утонет: он сделан плавучим. Я брошусь в море вслед за ним. Перед отъездом я ознакомился со всеми правами, действующими на море. Я знаю теперь, что находка в море принадлежит тому, кто ее найдет. Если я доберусь до контейнера, он послужит мне не только спасательным судном — он станет моей собственностью. Пять-

---

[1] Пример Джоконды оказался заразительным. Год спустя вслед за ней отправились в Нью-Йорк из собора святого Петра «Пиета» Микеланджело, а Венера Милосская еще дальше — в Токио.

десят миллиардов франков! Это не каждый день случается».

Бедному телохранителю не повезло: так и не пришлось ему купаться в море. А путешественница опять дома, на своем простенке между двумя окнами, обращенными к Сене.

Путешествие по Франции подходит к концу. Пролетел целый месяц, а кажется, что три дня... А может быть, год.

На столе список того, что надо еще сделать. А времени уже нет. И рождество как раз подкатило. Сорвалась из-за этого поездка на шахту, сорвался и визит в небольшую деревушку под Парижем, где предполагалось встретиться с молодыми учителями. Не успел сходить в Музей Родена, в Люксембург. Не был ни в одном театре... Впрочем, вру: в театре я был. В Гранд-Опера, на «Фаусте».

В один из первых же дней милая, по-парижски легкая и веселая мадам Ланшон, «ведавшая» нами «по линии» министерства иностранных дел, прислала в изящном конверте билеты в оперу. Нарядившись поторжественнее и несколько побаиваясь, что отсутствие черного костюма может закрыть мне доступ в партер (со мною так же уже было в Италии), я за полчаса до начала был уже в театре. Раздевшись в полупустом почему-то гардеробе, мы не без трепета вступили в залитый огнями бесчисленных люстр зал, тот самый, где пели Шаляпин, Карузо, Баттистини, где светские парижские львы лорнировали из своих лож знаменитых парижских красавиц. Да, сейчас я увижу парижский свет! Виконты и баронессы, мра-

морные плечи, жемчуга и бриллианты, черные фраки с розетками Почетного легиона, шорох вееров, ароматы утонченнейших духов... Я ощущал уже на своем затылке пренебрежительно-удивленные взгляды, осуждающие мои синие брюки и коричневый пиджак... Но что это? Все сидят в пальто! В партере! В Гранд-Опера! Какой-то парень в кожаной шоферской куртке. Рядом с ним миловидная девушка в спортивном свитере. Возле меня пожилой господин в довольно потертом пальто: даже воротник не опустил, на улице прохладно... Где виконты, где баронессы?

Но вот погас свет, наступила тишина, взметнулся занавес и... мне не хочется обижать друзей-французов, но после второго акта я ушел.

Я давно уже не был в опере. (В последний раз, лет десять тому назад, я попал на «Царя Салтана», и больше всего меня поразила реакция публики, которая бурными аплодисментами встретила спасение Гвидона.) Сейчас я предпочитаю оперу слушать, а не видеть. «Фауст» на парижской сцене окончательно убедил меня в правильности этого решения.

Дело не в том даже, что опера в чистом классическом своем виде, на мой взгляд, пережила самое себя (проблемы и идеи, занимающие нас сейчас, нашли в искусстве более подходящие для нашего времени средства выражения и воплощения), не в том, что нельзя уже сейчас писать стихи гекзаметром или строить Дворец культуры, подражая Парфенону (теперь это уже всем ясно), дело в другом (я смотрел все-таки «Фауста», а не современную оперу) — в самом страшном и губительном, что есть в искусстве,— в застое и косности.

В центре Европы во второй половине XX века на

сцене Гранд-Опера перед нами воспроизводилось жалкое подражание знаменитой «Вампуке» из «Кривого зеркала». Ко всему безразличные, приклеенные к бородам статисты в назначенное время подымали и опускали руки, певцы ни на шаг не отступали от установившихся десятилетиями мизансцен, беспомощные по своему выполнению декорации тряслись и дрожали, когда вступал в действие балет. Бог ты мой, как живуч еще и неистребим театральный штамп! Сейчас, сегодня, в Париже,том самом Париже, который может высмеять все на свете...

Обо всем этом я думал, сидя в десятом ряду партера и сочувствуя Мефистофелю, которому так трудно было взгромоздить на бочку свои сто килограммов живого веса. Нет, не надо было мне ходить на «Фауста»...

Не надо было и в кино ходить. Обидно все-таки смотреть один из лучших французских фильмов «Хиросима — любовь моя» и ничего не понимать. А диалог, говорят, в этом фильме великолепный. Видал я Габена в новом фильме, где он играет «тотошника» на скачках, и опять-таки ничего не понял. С горя я пошел на «Психо» Хичкока, а потом всю ночь не мог заснуть: мерещились заброшенные гостиницы, таинственные убийцы и окровавленные трупы в ваннах. Больше я в кино не ходил...

Нет, опять соврал, я был еще на «Красном шаре». Этим фильмом я и хочу закончить свои записки о Франции. Я не знаю фильма более поэтичного, умного и в то же время трогательного. Даже такие чудесные фильмы, как «Белая грива» и «Путешествие на воздушном шаре» того же режиссера Ламорисса, уступают «Красному шару».

Фильм коротенький — всего полчаса. Когда он кончается, хочется тут же, сейчас же посмотреть его опять, сначала. В фильме фактически два действующих лица — маленький мальчик (его играет сын режиссера) и красный шарик. Они познакомились на улице (мальчик снял его с фонаря, где шарик запутался) и подружились. Шарик полюбил мальчика, не отставал от него ни на шаг, летал за ним повсюду — провожал его в школу, ждал, когда кончатся занятия, летел вслед за автобусом, в котором ехал мальчик, а когда мальчика посадили в карцер, полетел вслед за злым учителем и пытался сбить с него шляпу. Один только раз шарик отдалился — это когда увидел другой шарик, синий, который несла маленькая девочка. Он попытался за ним поухаживать, но роман не удался: мальчик и девочка их разлучили. И еще один раз шарик ненадолго забыл о своем друге: на Блошином рынке он увидел зеркало. Ну как не полюбоваться на себя — такой он красивый, большой, красный, блестящий.

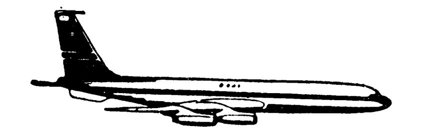
Кончается все очень грустно. Злые мальчишки хотят отнять шарик у мальчика. Начинается погоня. Я не знаю в мировом киноискусстве погони, которая так бы захватывала зрителя. С ужасом думаешь, что шарик попадет в руки к мальчишкам. Он попадает, но мальчик спасает его. Увы, ненадолго, камень из рогатки убивает шарик. Шарик сжимается, выпускает воздух и тихо падает на землю. Дернулась в последний раз веревочка и затихла. Шарик умер...

И тут — о чудо! — к бедному нашему убитому горем мальчику слетаются вдруг все шарики Парижа. Вылетают из окон, из магазинов, вырываются из рук детей и летят, летят через весь город к убитому шарику, к

нашему мальчику. И забирают нашего мальчика. И летит он над Парижем все выше, выше — гроздь разноцветных шаров и мальчик с ними. А мертвый шарик так и остался на мостовой. Увы, так и в жизни бывает.

Я рассказал содержание этого маленького, такого обаятельного и поэтичного фильма, но не смог передать дух его. Он очень французский, этот дух — веселый, забавный, а в общем грустный. Французы ведь не только весельчаки.

Мне очень жаль, что я не познакомился с Ламориссом. Это большой художник и, очевидно, очень хороший человек. Я поблагодарил бы его за его высокое искусство, пожал бы ему руку и в это рукопожатие постарался бы вложить всю свою любовь к французскому народу — веселому, задорному, чуть-чуть сентиментальному, иногда грустному, но всегда живому.



# ЗА ДВЕНАДЦАТЬ ТЫСЯЧ КИЛОМЕТРОВ

## Воспоминания о Внукове

Эта печальная история вспомнилась мне в самолете «Ли-2» по пути из Козыревска в Петропавловск-на-Камчатке. Я сидел в пилотской кабине, смотрел на быстро приближавшуюся и поблескивавшую уже вдали Авачинскую губу, о которой говорят, что в ней может поместиться весь флот мира, и предвкушал сегодняшний вечер — мы условились с экипажем встретиться в девять часов в ресторане «Океан».

С ребятами из экипажа — Женей Федуловым и Леней Риконвальдом (бывает же такая фамилия у истинно русского человека) — мы познакомились недели две тому назад, когда они вели свой арендованный тогда рыборазведкой самолет из Петропавловска на север, вдоль восточного побережья Камчатки. Хозяином самолета был Миша Несин — знаменитый летнаб, великий мастер поиска с воздуха косяков рыбы. Мы — я и мои друзья — были гостями Несина. Он показывал нам Камчатку с воздуха. Это было первое знакомство с ней. Часов в шесть вечера мы приземлились для ночевки, а на сле-

дующий день облетали еще Олюторский залив. Рыбы Миша так и не нашел — в этом году она что-то задержалась. Он как-то сразу загрустил, мы почему-то тоже и поэтому, увидев с воздуха идущий на юг теплоход «Николаевск», решили на нем отправиться в Усть-Камчатск — Миша должен был еще обследовать западное побережье, Охотское море. Мы расстались. С Мишей обнялись, обменялись адресами, а с ребятами из экипажа просто попрощались — оба дня и Федулов и Риконвальд (я тогда еще не знал их фамилий) держались както очень скромно, обособленно, то ли стеснялись нас, «гостей из Москвы», то ли не желали выпячивать свою дружбу с Мишей Несиным, камчатской знаменитостью.

И вот через две недели мы совершенно случайно встретились на Козыревском аэродроме, в тесном, душном буфете, где ничего не было, кроме теплой воды, слипшихся конфет и нежно-розового лосося — чавычи, на которую здесь никто не смотрел, а в Москве, появись она только, к прилавку и не пробьешься. Увидев Женю Федулова — он первый вошел в буфет,— я бросился к нему, как будто мы с ним всю жизнь дружили и не виделись много лет. Он тоже обрадовался, долго тряс мне руку. Потом так же долго трясли мы друг другу руки с Леней Риконвальдом. Оба они вели пассажирский самолет из Петропавловска в Ключи.

— А вы куда?

— Мы, наоборот, в Петропавловск. Сидим вот и ждем самолета.

— Через полчаса будет, он уже вылетел из Питера.

— Жаль...

— Что жаль?

— Жаль, что не с вами.

Ребята переглянулись.

— Поднажмем?

— Поднажмем...

И действительно поднажали. Самолет их вернулся из Ключей минут через десять после того, как на Козыревском аэродроме приземлился петропавловский самолет. Билеты у нас были на петропавловский, но Женя одной своей улыбкой белобрысого, обаятельного рязанского парня обезоружил аэропортовскую девицу, и та, малость поворчав, переписала ведомость и номер рейса на наших билетах.

До Петропавловска лету час или полтора, не больше, но за этот короткий промежуток времени мы умудрились с летчиками окончательно сдружиться. Я сидел в пилотской кабине на каком-то ящике, напротив — Женя в своих наушниках, с никогда не сходящей с лица улыбкой, Леня же — спокойный и тихий — вел самолет, изредка поворачиваясь к нам и бросая две-три фразы.

И вот, сидя на своем ящике,— мы подлетали уже к Петропавловску и Женя включился в свою рацию — я невольно вспомнил одну малозначительную историю, которая в свое время очень расстроила меня.

Было это жарким московским летом во Внукове, в аэропорту. Я летел из Москвы в Киев. Летел я один, никто меня не провожал, к тому же от спешки я перепутал автобусы и приехал на полчаса раньше, чем нужно. Чтобы убить время, зашел в ресторан, пристроился к столику, где сидел мальчишка лет пяти, сосавший через соломинку ядовито-красную жидкость. Делал он это очень сосредоточенно и на меня не обратил никакого внима-

ния. Потом появился его папа — красный и потный от жары лейтенант в расстегнутом кителе.

— А ну их всех в баню... Пользуйтесь авиатранспортом — быстро, выгодно, удобно...

Ему нужно срочно отвезти ребенка в Киев. Мать там у больной бабушки, ему самому завтра с утра вылетать в Новосибирск, соседи по квартире на даче, а в кассе ни одного билета.

— Куда я его дену? Куда, спрашивается?

Лейтенант был молод, лет двадцати пяти, и, судя по всему, не научился еще житейской премудрости. Мне стало его жаль.

— Давайте я пацана доставлю.

— Что вы... этот герой только при папе герой.

— Ладно! — сказал тогда я. — Улетите. Берусь.

Я не сомневался. Выйдем на поле, поговорим с летчиками — и все будет в порядке. Летчики такой народ... Я развил даже теорию, вскормленную, очевидно, неореалистическими фильмами, что в сложную минуту люди склонны помогать друг другу, а фронтовики в особенности, с первого взгляда узнают один другого, и вот тут-то...

Короче, полный веры в человека, я вышел на летное поле. Киевский «ТУ» стоял совсем рядом, шагах в ста. В него грузили ящики. В тени крыла покуривали летчики. Мне они сразу понравились — молодые ребята с симпатичными физиономиями, улыбающиеся, веселые.

Я подошел к ним и объяснил всю сложность ситуации.

«Ну конечно, о чем тут говорить! Потеснимся и довезем. Раз надо, значит, довезем!» — так, считал я, должны были ответить летчики — веселые, улыбающиеся, с симпатичными физиономиями. Но ответили они совсем

не так. Они просто сказали, что не имеют права, а если моему знакомому действительно так уж нужно лететь в Киев, то вот идет командир корабля, может, он разрешит. И опять заговорили о своем.

Командир корабля оказался человеком немолодым, с лицом аса и грудью, на которой в годы войны красовались, безусловно, не один и не два ордена. С этим-то мы уже договоримся. То все неоперившаяся молодежь, юнцы, а это фронтовик, прожженный вояка.

Прожженный вояка внимательно выслушал меня, глядя куда-то в сторону, потом печально развел руками:

— Рад бы, да не имею права.

— Да, но...

— Повторяю: рад бы, но не имею права. Обратитесь к начальнику перевозок.

Я пошел к начальнику перевозок. Убеждал я его так искренне, так доказательно, что, будь я на месте этого рыхлого, грузного, с потным, красным лицом начальника перевозок, я тут же выделил бы в наше распоряжение специальный самолет, ну «АН-2», допустим.

Нет, он этого не сделал. Он даже не посмотрел на меня; говорил по телефону, перебирал бумаги, потом, зажав на секунду нижнюю часть трубки, сказал: «На сегодня ни на один рейс нет» — и продолжал говорить по телефону, предоставляя самолет не нам, а какой-то группе американских туристов, летящих через Киев и Одессу.

Я почувствовал, как во мне что-то закипает. Вот сидит человек, на груди у него два ряда планок — значит, тоже воевал, сидит и не смотрит на меня, и наплевать ему сейчас на все, кроме этих проклятых интуристов.

А я-то думал, что фронтовики понимают друг друга с полуслова, что летчики такой народ...

— Плюньте! — сказал лейтенант.— Опоздаете еще. А мы на вокзал поедем. Ну их, этих парней всего мира...

Наш самолет уже выруливал на взлетную дорожку.

— Черта с два!

Я бросился к носильщику.

Через три минуты за дополнительную пятерку лейтенант имел билет на рейс 324-й, вылет в 13.15. Мне, как опоздавшему, рейс тоже заменили.

...Когда наш «ЛИ-2» стал заходить на посадку, Женя виновато улыбнулся:

— А теперь пройдите в салон, а то нам взбучка будет. С пилотами посторонним запрещено, строго-настрого запрещено...

Несколько дней спустя, когда мы отмечали день рождения Миши Несина, все трое — и Миша, и Леня, и Женя — убеждали меня, что московские летчики были правы, что за провоз безбилетного пассажира им могло крепко нагореть, а лейтенант через час-другой достал бы билет, всегда какая-нибудь невостребованная броня остается,— короче, они меня убедили.

И все же до сегодняшнего дня мне грустно, когда я вспоминаю эту историю. Рассеялась какая-то иллюзия...

## Тихоокеанский Чайльд-Гарольд

В тот вечер мы так и не попали в «Океан». Через три часа после прилета в Петропавловск я уже выходил на СКР — сторожевом корабле — на Командорские острова.

Связь с Командорами — здесь они называются только так — не очень проста. Два раза в месяц туда заходит судно, завозит продукты, газеты, почту. Кроме того, более или менее регулярно летают самолеты. Нам — мне и еще трем корреспондентам — была предоставлена возможность отправиться туда на военном корабле. Вместе с нами ехал и организатор этой поездки — Леонид Тимофеевич, секретарь обкома.

Поместили меня в каюте старпома, который был сейчас в отпуску. По вечерам, лежа на койке и поглядывая на полку с книгами, где стояли всякие лоции и графики приливов и отливов, я чувствовал себя если не старпомом, то, во всяком случае, человеком, к морским делам причастным.

На военном корабле я был впервые. Да и корабль, вероятно, не так часто принимал у себя сразу трех корреспондентов, писателя и секретаря обкома. Все это невольно накладывало и на тех и на других определенный отпечаток. На меня во всяком случае.

Помню, как меня смешили в Сталинграде столичные корреспонденты, когда они появились там в довольно большом количестве в самые последние дни боев. Особенно забавен был один, не помню уже из какой газеты. Маленький, незавидный, суетливый, он ужасно хотел походить на бывалого солдата. Ушанка у него была смята под кубанку, как у заправского старшины, на пистолете болталась цепочка немецкого шомпола, махорку курил из оранжевой круглой немецкой коробки, говорил «передок» вместо «передовая», бойцов окликал: «Эй, славянин!» (тогда это как раз входило в моду), а на ордене Красной Звезды, который красовался у него на груди, эмаль в одном уголке была отбита — высший фрон-

товой шик. Эффект получился как раз обратный: солдаты над ним подтрунивали, и уважением он не пользовался никаким, во всяком случае куда меньшим, чем Василий Семенович Гроссман, который приезжал в самый разгар боев и, несмотря на свои очки и интеллигентный вид, сразу расположил к себе бойцов.

Само собой понятно, что, попав на корабль, я больше всего боялся походить на этого корреспондента. Но и «сухопутной крысой» тоже не хотелось прослыть. Надо было достаточно быстро и ловко взбираться и спускаться по крутым трапам, не хвататься за переборки во время качки, без посторонней помощи садиться в шлюпку, а главное, упаси бог, нельзя было «травить», то есть реагировать на качку и всякую там мертвую зыбь, как положено нормальной «сухопутной крысе». С этим последним я с честью справился и очень этим был горд.

На корабле мы пробыли десять дней. Дошли до Командоров, там покрейсировали между островами Беринга и Медным и вернулись в Петропавловск.

За десять дней мы как-то привыкли друг к другу — экипаж к нам, мы к нему. У матросов шла своя жизнь, «служба», у нас — своя, несколько менее утомительная. Жизни эти не очень пересекались. Но когда пересекались, я с удовольствием смотрел на этих крепких ребят в робах и синих беретах. Все как-то у них спорилось, делалось легко, быстро, без всякого напряжения и, главное, весело — будь то боевая тревога или высадка на берег, приемка воды или возложение венка на могилу Беринга.

Этой последней акции Леонид Тимофеевич и замполит корабля придавали особое воспитательное значение. Сама могила — холмик и железный крест, поставленный

уже при советской власти,— находится в пустынной части острова, на высоком берегу, в стороне от морских путей, надзора за ней нет, поэтому некоторая запущенность ее была понятна. Замполит и Леонид Тимофеевич с азартом взялись за работу. С раннего утра с группой матросов отправились они на берег, выкрасили крест, сплели громадный венок из удивительно красивого, нежного, белого цветка, который растет только здесь, на Командорах (к сожалению, у него очень некрасивое название — «кашкара», что повергло в уныние наших корреспондентов: «Ну, как напишешь — возложили венок из кашкары?..»), а на красной ленте корабельный художник очень красиво вывел подобающую надпись. Потом матросы, одетые в парадную форму, по очереди становились в почетный караул с автоматами на груди, и так приятно было на них смотреть — красивых, подтянутых,— и все по очереди с ними снимались: и замполит, и Леонид Тимофеевич, и корреспонденты, и я, грешным делом.

Одним словом, церемония удалась на славу: крест был выкрашен, венок возложен — все честь честью. Жалели только потом, особенно замполит и Леонид Тимофеевич, что не дали салюта,— получилось бы еще торжественнее.

Тише и незаметнее всех на этой церемонии был командир корабля.

— Слишком он у нас скромный, наш командир,— говорил мне потом бойкий и активный замполит со значком Академии Ленина на груди.— Нет в нем рвения. Помните, когда венок возлагали, все снимаются, а он в сторонке стоит, мнется...

Это правда. Единственный из всех, кто не рвался под

глаз объектива, был командир корабля. И вообще держался он на корабле как-то скромнее всех. Придет во время завтрака или обеда в кают-компанию, сядет на свое командирское место во главе стола, засунет руки в рукава кителя и молча поглядывает на всех, слегка улыбаясь. Юра Муравин, фотокорреспондент, «точит баланду», смешит всех — он великий мастер по этой части,— Леонид Тимофеевич тоже не прочь поговорить, вспомнить комсомольские годы или как он устанавливал советскую власть на Курильских островах, а Геннадий Павлович, командир, сидит себе и помалкивает, уху хлебает.

Замполит, тот куда живее — он и в машинное отделение нас водил, и на капитанский мостик, и как определять местонахождение корабля на карте показывал, и в первый же день продемонстрировал роскошный альбом «История корабля», правда еще не законченный, но обещающий быть очень интересным и содержательным. Как выяснилось потом, на корабле замполит совсем недавно — прямо из академии. Но за этот короткий срок, как он сам сказал, корабль с шестого места по боевой и политической подготовке перешел на второе.

Каким корабль был раньше, мне трудно было судить, но сейчас на него и на его команду приятно было смотреть. Я не слыхал ни одного окрика — все шло ровно и гладко. Даже слишком гладко. Океан и тот был спокойный, как озеро. Хоть бы шторм поднялся, все же веселее было бы. Но шторма не было, только в последний день нагнало шесть баллов, и, откровенно говоря, веселее от этого не стало — уха расплескивалась на скатерть, ложка не попадала в рот, стаканы вырывались из рук и

убегали на противоположный конец стола. Только Геннадий Павлович по-прежнему сидел на своем командирском месте, засунув руки в рукава, и, посмеиваясь, поглядывал на нас.

Не знаю, насколько это лестно для морского волка, тихоокеанского притом, но своим присутствием он сразу придавал какой-то уют и покой кают-компании. Не хотелось уходить. Было приятно сидеть за этим длинным столом, покрытым белоснежной скатертью, разглядывать горящие турецкие корабли на картине «Синопский бой», висящей над столом, следить за ловкими движениями вестового Федорова, бойкого малого, четыре раза в день открывавшего дверь нашей каюты и весело сообщавшего: «Всем наверх, форма одежды парадная, уха уже остыла...»

Я сидел, помешивая ложечкой пятый стакан чая с лимоном, слушал одним ухом Юру Муравина и все поглядывал на Геннадия Павловича. Почему он так молчалив? Почему не рассказывает всяких историй? Самый раз блеснуть перед корреспондентами. Я уже начал создавать в уме историю о некоем современном Чайльд-Гарольде, о развенчанном и пониженном в должности за дерзкий поступок молодом офицере, о неудавшейся семейной жизни, о сложной и противоречивой судьбе. Хотелось спросить о командире кого-нибудь из офицеров или матросов, но как-то не получилось, не подвернулся случай, да и вообще спрашивать подчиненных о командире вряд ли стоит.

Так и не разгадал я нашего Геннадия Павловича до самого конца плавания. Даже познакомиться толком за эти десять дней не успел. Была у меня, признаться, мыслишка сбегать на острове Беринга в продмаг, но,

подумав трезво, я до продмага не дошел, а свернул на почту — так лучше будет, подумал.

В воскресенье, 21 июня, мы пришвартовались в Петропавловске. На прощанье я сфотографировал нашего бойкого Федорова на фоне моря — пришлось сделать три кадра, так как ветер все время трепал его гюйс — матросский воротник, а этого он допустить не мог,— замполит преподнес мне в презент фотокарточку, где мы снялись с ним вдвоем у подножия утесов острова Медного, экипажу же от нашего имени Леонид Тимофеевич пожелал больших успехов в боевой и политической подготовке и счастья в личной жизни. Геннадия Павловича, прощаясь, я в шутливой форме поблагодарил за хорошую службу, он тоже что-то сказал подобающее моменту. Возможно, даже выразил надежду, что мы когда-нибудь встретимся. На этом и расстались.

В тот же вечер наш «корреспондентский корпус» по всем правилам сошедших на берег моряков собрался в «Океане», в том самом, в который не удалось мне попасть с летчиками.

Пришли, вошли в зал и вдруг видим — сидит за одним из столиков наш командир корабля, наш Геннадий Павлович. Я его сразу даже не признал — белая шелковая рубашечка, светлые брюки, ворот раскрыт. Он не был пьян, нет, просто весел и рад встрече. Мы тоже обрадовались.

— Садись к нам, товарищ командир!

— Да бросьте вы, какой я для вас сейчас командир.

Весь вечер мы были вместе. Нам нечего было особенно вспоминать, но мы вспоминали. Вспоминали, как кто-то «травил», как кто-то, прыгая с лодки, упал в воду,

как цеплялся я за стол и еле держался на ногах из-за качки, выступая перед экипажем.

Я сидел, смотрел на нашего Геннадия — он был веселее обычного, но в той же обычной для него приятно-сдержанной манере,— смотрел и думал: а ведь никакой он не Чайльд-Гарольд, и ничего загадочного в нем нет, и никаких сверхдерзких поступков он не совершал — просто он очень естественный человек и ничего из себя не строит. И может, именно поэтому так спокойно и ровно течет жизнь у него на корабле. А как это важно в армии — быть начальником, но не лезть из кожи, чтоб доказывать это на каждом шагу. Быть начальником и в то же время самим собой. Это нелегко, но зато как любят и уважают таких командиров солдаты.

Где-то к концу вечера я не выдержал и сказал Геннадию:

— Обидно все-таки. На десятый день только познакомились. Бог знает, когда теперь встретимся.

— Обидно,— согласился он.— Очень даже...

— А кто виноват? Ты виноват. Мы все-таки гости, а хозяин ты. И не только хозяин, а и командир. Приказал — и все, нам только подчиниться...

Он вдруг сразу как-то протрезвел.

— Елки-палки! Да при чем тут я? У меня ведь все готово было, все припасено. Сигнала только ждал. Потом понял: вы все-таки при секретаре обкома, а он непьющий, язвенник... Так и стоит все у меня в каюте.

— Ну, знаешь ли, после этого...

После этого нам ничего не оставалось, как разлить остатки водки и выпить за Леонида Тимофеевича, за то, чтобы у него скорее зарубцевалась язва.

## Отшельник

Самая замечательная река на земле — это, конечно, река Камчатка. И не потому, что она самая большая, или глубокая, или широкая, или красивая (хотя действительно очень красивая), а совершенно по другим причинам. Это единственная в мире река (ни я, ни она не обидимся, если нас и опровергнут), плывя по которой мы в течение одного-двух дней переносимся из одного времени года в другое. Именно так.

В Усть-Камчатске на хилых его деревцах чуть-чуть намечались крохотные почечки, местами лежал еще снег (за день до этого наш «Николаевск» три часа не мог принять пассажиров в Анапке, их на плашкоуте затерло льдами), вечером мы уже вдыхали не слишком сильный аромат (на Камчатке цветы вообще слабо пахнут) бурно цветущего жасмина, а еще через два дня нас беспощадно жрали комары в тайге.

Географически это объясняется просто — на побережье Камчатки климат морской, а в средней ее части, отгороженной со всех сторон горами, резко континентальный. Прилетая на самолете, допустим, из Ялты в Москву в декабре или январе, тоже невольно поражаешься — там розы, а тут снег; но то самолет, чудо техники, а на реке Камчатке весна распускается буквально у тебя на глазах, почти как в кино, когда замедленной съемкой снимают распускающийся бутон.

Берега сначала плоские, голые, безрадостные, как и сам Усть-Камчатск — поселок не слишком красивый,— потом постепенно повышаются, сближаются и превращаются в так называемые «щеки» — сначала холмы, густо

поросшие мхом, затем горы с не растаявшим на вершинах снегом. А внизу уже зелено, каменная береза вся уже в сережках, и мы, сняв куртки, остаемся только в свитерах. Затем «щеки» раздвигаются, сжатая ими река растекается сотнями рукавов, мы снимаем свитера и, распластавшись на носу моторки, молча глазеем на появившийся впереди мираж — в воздухе парит белоснежный конус Ключевской сопки. Становится жарко. В Ключах мы уже задыхаемся от пыли.

Дальше за Ключами появляется лиственница, а за Козыревском — густые заросли тальника. Река сужается, мы идем по каким-то рукавам, протокам, похожим на гроты, ветви подмытых водой деревьев хлещут нас по головам, по голым спинам — мы уже в трусах, мы загораем...

Теперь мне совершенно ясно, что такое настоящий отдых. Это когда все выключается. А все выключается тогда, когда ты лежишь на животе на носу лодки и ни о чем не думаешь, смотришь на воду, на проплывающие бревна, на берега, на чаек (они тут тоже есть, а вот ласточек нет), а водомет, который доставит нас в глубь Камчатки, монотонно журчит, стрекочет, и спину припекает и обвевает ветерком, и клонит ко сну, и просыпаешься ты оттого, что хлестнула тебя по спине склонившаяся лоза. И ты переворачиваешься на спину и смотришь в небо.

Думал ли я когда-нибудь, что на Камчатке есть такая замечательная река? Лосось, тот давно уже знает — каждый год приходит сюда нереститься. Чем она его так прельстила? Карася, того силком сюда завезли, набили битком все озера и пруды, а потом вялят его. Ели вы когда-нибудь вяленого карася? Пища богов. В первый и

пока в последний раз в жизни ел я вяленых карасей у старика рыбака по фамилии Быков неподалеку от села Комаки. Потом, как мне кажется, именно их я видел развешанными на кустах у дяди Вани, но там я на них только смотрел, попробовать не удалось...

Вот и подобрался я к дяде Ване. Личность эта примечательная, и в среднем течении реки Камчатки знают его все. Рассказал нам о нем Николай Николаевич — личность тоже примечательная, но по другой части, о которой говорить не будем.

— Самое интересное здесь, в Ключах, это,— сказал он,— конечно, вулканы. Потом — дядя Ваня, потом — рыба. Впрочем, второе и третье легко совмещается. Если интересуетесь, могу помочь.

Мы заинтересовались, и Николай Николаевич помог — дал машину.

Дядя Ваня — отшельник. Лет ему много — что-то под восемьдесят. Живет совсем один, с котом, километрах в тридцати от Ключей. Маленькая деревянная хибарка на берегу озера, вернее, двух озер или, скорее, заливов, образуемых бесчисленными рукавами Камчатки. Кругом белым-бело от жасмина. На ветвях сушится рыба. На земле не доеденные котом рыбьи головы и хвосты. В озерах и притоках — утки. Если сесть в лодку и немного проехать — открывается сопка Ключевская. Она похожа на Фудзияму, классической вулканьей формы, и сейчас вокруг ее кратера — кольцо дыма, как вокруг Сатурна. Она вместе с кольцом отражается в неподвижной поверхности озера, и не сфотографировать ее невозможно.

Дорога к дяде Ване идет по лесу — лиственница и тополь, только не наш украинский, а кряжистый, с кро-

ной, как у сосны. Местами лес выжжен и засыпан вулканическим пеплом — все серо и мертво, потом опять становится зеленым, живым, густым, с буреломом. Кое-где вместо дороги — русло речки, но наш грузовичок идет по ней, как по шоссе.

Дядя Ваня копошится возле своей хибарки. У него всклокоченная седая борода, такие же волосы и веселые хитрые глаза. Говорят, что он был когда-то богачом, не поладил почему-то с людьми и ушел от них. На Камчатке уже лет тридцать. Приехал из Сибири.

Принял он нас приветливо. Дал лодочки: «Поезжайте, постреляйте уток». Стрелять мы стреляли, уток не убили, ограничились традиционной на Камчатке ухой.

— Ну как, дедушка, живете здесь?

— Да ничего, помаленьку.

— Не скучаете?

— Нет, привык.

— А без людей не скучно?

— А я без людей не бываю. Заглядывают, не забывают...

Кроме нас в этот день заглянули еще пятеро геологов, половили рыбку (поэтому-то у нас и была уха) и ушли себе потихоньку.

— А в Ключах бываете?

— А зачем они мне, ваши Ключи? Рыба есть, хлеб, соль люди добрые принесут, водочкой вот вы угостили... А в Ключах что? Шум, гам, всякие там рестораны, машины, пыль только подымают...

Мы невольно рассмеялись.

Когда я летел из Москвы на Камчатку, все, за исключением разве что кассирши в «Аэрофлоте», только диву давались.

— В такую даль? Ну и ну... Сколько ж туда добираться?

— Говорят, пятнадцать часов.

— Самолетом, что ли? На «ТУ»?

— На «ТУ».

— Так там, значит, и посадочные площадки есть?

— Очевидно, есть, раз летает.

Пролетая над Камчаткой и глядя вниз на голые деревья и рыжую тундру с не растаявшим местами снегом (на всем пути из Москвы было жарко) и особенно на следующий день, когда снег повалил, как в январе, а было 24 мая, и крыши домов покрылись белыми подушками, как на старых рождественских открытках, я невольно согласился с москвичами — ну и ну, занесло же меня... В тот день Петропавловск не покорил меня. Потом уже, в Корфе, Усть-Камчатске, в тех же Ключах, Петропавловск рисовался мне как некое Рио-де-Жанейро — портовый город, развлечения, кино, шик-блеск... А вот для дяди Вани таким Рио-де-Жанейро, центром городской цивилизации и распущенности, были Ключи — пыльные Ключи с единственным рестораном, где директор совмещает свою должность с обязанностями блюстителя порядка.

Мы сидели возле костра, подбрасывали сучки и веточки и слушали чуть-чуть захмелевшего старика. Он говорил об охоте, о рыбе, о каком-то полковнике, который часто сюда приезжал и с которым они все ночи напролет о чем-то там судили-рядили, потом переключился на ключевский ресторан, очень его возмутивший.

— «Одет, говорят, плохо, галстука нет»,— вот и не пустили. «Я есть, говорю, хочу, а галстука у меня отродясь не было». — «Нет, говорят, нельзя». Ну тут я уж рас-

сердился — и не в такие рестораны меня пускали. «Давай директора»,— говорю. Ну, с директором поладили как-то. Такой пир задал, никто не пожаловался, никого не обошел...

Он был очень горд этой историей и несколько раз к ней возвращался.

— Выходит, с людьми все-таки веселее? — допытывался мой товарищ.

— Может, и веселее, а тут лучше.

— А вдруг заболеете?

— Помогут. Раза два доктор приезжал, хороший парень, молоденький такой.

— С чего же вы живете?

— А рыба? — Дядя Ваня удивленно на нас посмотрел.— Иной раз утка. Помогают люди, не забывают...

Кроме того, оказывается, он получает пенсию — раз в месяц, в два возят его в Ключи. Вообще о своих посетителях он отзывается хорошо, особенно о том самом полковнике.

— Журналы мне привозил разные, вот и украсил я свои хоромы.

Все стены его хибарки оклеены были вырезанными из «Огонька» фотографиями. Системы особой не было, но с разных углов на нас глядели и Фидель Кастро, и Гагарин с Титовым, и Клиберн, и Кеннеди, и улыбающиеся сталевары, а на самом почетном месте, у изголовья, вырезанная из газеты Терешкова. В углу висела икона.

К концу беседы он вдруг сказал, что ему необходимо в Москву съездить.

— В Москву? В такую даль?

— Какая ж это даль? Раньше это даль была, а теперь, говорят, меньше чем за сутки — и в Москве...

— А что ж вы там делать будете? Дела какие есть?

— Найдутся,— уклончиво ответил старик.— Да и вообще надо посмотреть, как вы там социализм строите. Проверить хочу.— Он рассмеялся и хитро посмотрел на нас.— Может, и с начальничком каким большим встречусь. Потолкую. Не целый же день по кабинетам своим сидят. Может, и воздухом подышать выходят.

— А о чем же толковать будете?

— Найдем уж о чем... Мне б только такого, что постарше, моих годков примерно. Повспоминаем прошлое, потом и о будущем. Я ведь лет двадцать собираюсь еще прожить. Меньше мне не надо...

Стало уже совсем темно. Мы начали собираться. Старик дружелюбно топтался вокруг нас, помогал что-то укладывать в машину и все уточнял детали своей будущей поездки.

Прощаясь, кто-то из нас сказал:

— Вы только, дедушка, галстук не забудьте захватить. Без него в Москве вас ни в какой ресторан не пустят.

— Ты, может, и бороду велишь сбрить? Пустят... И не только в ресторан. Я слово такое знаю.

Машина тронулась. Старик стоял, держа в одной руке своего кота, другой махал нам.

А что, если действительно соберется в Москву? Сядет в самолет и полетит?

— И очень просто даже,— сказал без всякого удивления ездивший с нами местный журналист.— Надумает — соберем денег и отправим. Провожатого еще дадим. Он старик крепкий еще.

Да, вот какие у нас отшельники пошли. Бойкие...

Впрочем, о чем уж говорить, когда папа Римский в

один день дважды смотался через Атлантику, произнес речь, отслужил два богослужения, встретился с Джонсоном, присутствовал на приеме в свою честь, а наутро, уже в Риме, выступил на Вселенском соборе. Чудеса да и только...

## Глядя на чучело неведомой птицы

Первым нашим знакомцем на острове Беринга был директор школы. Звали его Жозеф Мишкин. Сочетание довольно забавное, но, как выяснилось потом, он наполовину латыш, наполовину русский. Вероятнее всего, настоящая его фамилия Мишкинс или как-нибудь в этом роде, но здесь, на Командорах, это звучало бы претенциозно, поэтому он стал просто Мишкиным. Впрочем, все это мой домысел.

Нашу четверку поселили в школе, в большой классной комнате, сплошь увешанной автомобильными плакатами — разрезами всяких радиаторов, карбюраторов, акселераторов и другими премудростями. Вдоль стен стояли кровати. Привел нас сюда Мишкин.

— А теперь вам надо поесть,— сказал он и, не дождавшись ответа, скрылся.

Через минуту явился с громадной бутылью молока и сковородкой, на которой шипела яичница. Это было очень кстати: мы проголодались, а столовая была уже закрыта.

После ужина он приволок откуда-то внушительных размеров приемник и гигантский репродуктор, такой, какой вешают на улицах, на столбах. К счастью, он оказался неисправен, тем не менее мы были очень тронуты.

Лицо у Мишкина было печальным, с печальными глазами и печальными, опущенными вниз усами. Он нам понравился — спокойный, сдержанный, внимательный. До войны окончил институт в Прибалтике, кажется в Риге, потом провоевал всю войну от начала до конца. Правда, больше валялся в госпиталях, раз пять или шесть был ранен. Это как-то прибавило уважения. В каких войсках? — спросили мы. Да в разных, не уточняя, сказал он. На какое-то время разговор увял. Мишкин стал возиться с приемником. Потом заговорили о Командорах, о котиках, о том, что голубой песец, которого здесь разводят, сейчас на Западе не в моде, нужен белый норвежский, а когда его сюда завезут — опять войдет в моду голубой. Разговор опять оживился. Мишкин много знал, умел интересно рассказывать. Потом мы легли спать.

Рано утром, в пять часов, мы отправились на вездеходе к лежбищу котиков. Без четверти пять Мишкин притащил груду яиц, масла, хлеба и опять-таки громадную бутыль молока.

— Вы долго здесь пробудете? — спросил он.

— Дня два, очевидно. Завтра — на остров Медный, потом назад, сюда, и в Усть-Камчатск.

— А на Топорок не сходите?

— Какой Топорок?

— Островок такой маленький — во-он он виден отсюда. Там птица топорок живет. Очень забавная, с таким вот громадным красным клювом. За ноги этим клювом щиплет, очень больно. Сходите туда, ее там тысячи.

— Это не от нас зависит. Как начальство скажет.

— А хотите, я вам чучело подарю?

Я поблагодарил, не совсем представляя, как я потом это чучело повезу домой.

— Спасибо, стоит ли...

— Стоит. Все-таки память о Командорах. Если достану мышьяк, завтра чучело будет готово...

Мышьяк он достал. Пока мы ходили на Медный, он съездил на Топорок, подбил птицу, и, когда мы вернулись, она уже ждала меня на деревянной подставке — большая, размером с утку, черная, блестящая, с великолепным ярко-красным клювом, почти как у попугая. Я ее погладил, и мне показалось, что она еще теплая. Только глаз у нее не было — Мишкин сказал, что их надо сделать из пуговиц.

Перед отъездом топорок был упакован в картонный ящик и благополучно довезен до Москвы в компании двух завернутых в целлофан лососей-чавыч, каждая по восемь килограммов весу. Одна из этих чавыч — нежная, розовая, слегка подсоленная — наполовину была уничтожена в первый же московский вечер, а топорок стоял на шкафу и за всем следил, хотя пуговиц мы еще не нашли и глаз у него не было.

Прощались мы с Мишкиным у него дома. Жена его уехала на материк, и в не слишком прибранных его двух комнатах обитали сейчас школьный физкультурник и кочегар. Это существенно упростило сервировку и весь ритуал прощания.

— Я скоро буду на Севере,— прощаясь, сказал Мишкин.— Если хотите, я вам оттуда пришлю полное обмундирование из оленьих шкур,— он назвал каждую часть туалета по-корякски.— Стоит это гроши, а вам удовольствие, и все завидовать будут...

Я ответил что-то неопределенное — опять-таки, где все это носить в Москве, в Киеве?

Мы попрощались. Мне было с ним жалко расставаться, хотя знакомы мы были всего два или три дня. Прощаясь, люди почему-то всегда улыбаются. Мишкин не улыбался. Он как-то мало улыбался — за все три дня один или два раза. Вообще что-то очень грустное было во всем его облике. Я с трудом представлял его себе в виде лихого офицера. Впрочем, один местный житель, весьма сведущий, имеющий отношение к анкетам, утверждал, что на фронте он был поваром, но в конце концов какое это имеет значение? Для меня Мишкин — просто гостеприимный и доброжелательный друг на острове Беринга.

## Котики

В моем детстве вершиной роскоши и богатства считалось — нет, не бриллианты, жемчуга и прочие драгоценности — я их видел только в кино на «Авантюристке из Монте-Карло»,— высшим шиком было котиковое манто. В нем ходили нэпманши. А нэмпаны — в котиковых высоких шапках, промятых сверху, и шубах с котиковыми воротниками. Ни того, ни другого у меня, конечно, не было. Да я и не мечтал; в те годы хорошо одеваться считалось дурным тоном. А вот у Шуры Бергонье — моего школьного товарища — была котиковая ушанка. Мы его за это слегка презирали, но и завидовали — мех был такой нежный, мягкий, так хотелось коснуться его щекой. Девочки, те даже тайно целовали эту идиотскую шапку. Ребята постарше, поциничнее, с пробивающи-

мися уже усиками, смеялись над нами, говорили, что это просто ободранные кошки, но мы-то знали, что это не так, что морской котик действительно похож на кошку, только побольше ее и живет на Крайнем Севере.

Сейчас котиковых манто нет. Куда они делись? Вышли из моды? Потерпели поражение в битве с нейлоном? Бог его знает. Но промысел котиковый есть. И выполняется план по забою. Шкурки отправляются в Ленинград. Там аукцион — на международном рынке, очевидно, они еще ценятся.

До того, как я увидал впервые живого котика, я увидел его изображение на громадном щите в поселке Никольском на острове Беринга. Плакат, выцветший от времени и непогоды, призывал к досрочному выполнению плана забоя и изображал здоровенного детину с палкой в руке в окружении котиков, которых он лупил этой палкой по голове. Я невольно вздрогнул, взглянув на этот плакат, но только на следующий день понял, насколько местный художник приукрасил действительность.

Для меня инстинкт животного — загадка. Я не понимаю, для чего, например, угрю нужно для продолжения своего рода пересекать Атлантический океан. Или почему лосось хочет нереститься на Камчатке и презирает Японию. Не могу понять я и котика. Он тоже всю зиму бороздит океан вдоль побережья Японии и Канады, вплоть до Калифорнии, а гаремы свои заводит только на Командорах и на островах Прибылова. Больше нигде. Еще на острове Тюленьем, недалеко от Сахалина,— вот и все. Больше нигде на земном шаре котиковых лежбищ нет — его безжалостно бьют, но на следующий год, если

ему удастся выжить, весь покрытый шрамами, он возвращается на прежнее место. Я не могу этого понять.

На остров Беринга мы попали к самому началу промысла — в середине июня.

— Самки только начинают приходить,— объяснили нам зверобои,— но пока их мало, по две-три на одного секача. Потом будет по два, три, четыре, а то и пять десятков на каждого старика. Тогда начнутся драки, бои между холостяками и секачами, хозяевами гаремов. Этого вы сейчас не увидите. Это все будет позже. Сейчас разделять секачей и холостяков будем мы... Нам нужны только холостяки.

Еще издали, подходя к лежбищу, мы услыхали котиков. Они завывали, стонали, вскрикивали, рычали, и рык их напоминал звук заведенного трактора. На широком, плоском, усеянном крупным камнем берегу их было несколько тысяч — больших, метра в два длиной, средних, маленьких и совсем крошечных, только что родившихся. Этих, правда, было еще мало, так как и самок было мало. Самка целый год вынашивает своего детеныша, попав на лежбище, рожает его и сразу же попадает в гарем. Тут-то и начинаются бои. Полтора-два месяца, пока длится брачный период, секач не сходит в воду и ничего не ест...

Было раннее утро. Серое, угрюмое, с нависшими серыми облаками. Серый берег... Тихо, чтоб не вспугнуть стадо, мы прошли по мостику через все лежбище на вышку. С вышки все хорошо видно. Лежат себе котики, темно-серые, бурые, рыжеватые, некоторые уже седые, посматривают на нас своими круглыми выразительными тюленьими глазами, пофыркивают, порыкивают, но в

общем миролюбиво, без всякой злобы. Старики секачи, захватившие места получше, с них уже не сойдут, молодежь же резвится в море, ныряет, выпрыгивает, как дельфины, или просто сидит, высунув черную острую усатую морду. То тут, то там — малыши, такие крохотные и трогательные, что их хочется взять на руки и погладить. Все очень мирно, даже уютно.

В чем-то я, очевидно, человек неполноценный. Я не понимаю, например, прелести охоты. Мне почему-то жалко убитого зайца. Я всецело на стороне того мальчика из фильма Ламорисса «Путешествие на воздушном шаре», который из своей корзины кричал и подсказывал великолепному затравленному оленю, как убежать от злых охотников. В то же время я охотно ем телятину и баранину и дружу с охотниками, вовсе не считая их убийцами. Что ж, есть люди, и неплохие совсем люди, которым охота нравится, и бифштекс, я понимаю, делается не из синтетического мяса. Но то, что я увидел на острове Беринга... Нет, лучше бы я этого не видел.

Мы стояли на вышке и фотографировали котиков. Большинство не обращало на нас внимания. Другие, скосив глаза, недовольно пофыркивали. Некоторые же, бесспорно, позировали, я в этом уверен,— такие красивые позы они принимали. Я чувствовал себя почти как на пляже. И вдруг... Откуда-то сзади, с берега, со стороны прилепившихся к откосам сарайчиков, с нарастающей силой, подобно катящейся волне, донеслось нечто, напомнившее мне войну. Солдатское «ура-а-а-а»...

Я обернулся. В стадо котиков врезалась толпа здоровенных ребят. Размахивая длинными палками, неисто-

во крича, они сначала кучкой, затем врассыпную неслись вдоль берега, нагоняя страх и ужас. Котики всполошились, засуетились, шлепая ластами и с трудом передвигая свое грузное тело, бросились кто в море, кто, неизвестно почему, навстречу людям. Только самые старые секачи остались на месте. Вздыбились, затрубили тревожно, но не сдвинулись.

Кричащие, размахивающие палками люди отсекли тем временем часть стада, голов триста или четыреста, и погнали его в сторону сарайчиков. Котики пытались вырваться, убежать, давили друг друга. Их не пускали, сбивали в кучу, неистово лупили дубинками («дрыгалками» на зверобойничьем языке) куда попало. Над берегом стоял стон избиваемых животных, человечий крик и свист дубинок.

Потом началось самое страшное. От сбитой в кучу массы ревущих котиков стали отделять группы в двадцать — тридцать голов. Меткими, молниеносными ударами направо и налево зверобои стали уничтожать это маленькое стадо; ловкие, сильные и бесстрашные — разъяренный котик опасен, он может повалить человека,— они с поразительным умением и меткостью наносили сокрушительный удар несчастному котику по кончику носа, и тот валился, обливаясь кровью. Нос — самое чувствительное место у котика. От удара по носу он теряет сознание. Вторым или третьим ударом его добивают. Иногда, впопыхах, его не добьют, и он пытается уползти или просто лежит, тяжело дыша и плача от бессильной злобы. Да, котики плачут. Настоящими слезами, я это видел.

Через несколько минут все кончено. Поле боя усеяно трупами. Секачей и самок отогнали в сторону, за неболь-

шой утес, и там они, объятые ужасом, лезут друг на друга, сбиваясь в кучу. Недобитых холостяков добивают «дрыгалками». Вздрагивающие еще туши оттаскивают к сараям.

Так повторилось пять, шесть, семь — не помню уже сколько раз. Хотелось убежать, скрыться, не видеть всего этого, но я стоял, не мог сдвинуться с места и все смотрел, смотрел на это побоище.

Особенно запомнился один молодой парень, лет двадцати, не больше. Крепкий, мускулистый, с бронзовым горбоносым лицом индейца (в жилах алеутов течет кровь североамериканских индейцев), он привлек мое внимание еще задолго до того, как началась экзекуция. Очень толково и спокойно готовился он к ней. Не торопясь натягивал высокие, до паха, сапоги, засучивал рукава, выбирал подходящую «дрыгалку», точил охотничий нож, очень эффектно потом повисший у него на поясе. Он был очень красив, этот молодой алеут-зверобой, хоть портрет с него пиши. Потом я видел его «в деле». Быстрый, ловкий, с горящими глазами, раздувающимися ноздрями, залитый с головы до ног кровью, он был первым среди всех, и голос его покрывал даже стон умирающих котиков.

Потом, усталый, но довольный, с окровавленными руками, он сидел за столом и не торопясь, с изящной даже ленцой хлебал щи, чувствуя на себе восхищенные взгляды молодежи. До этого он учил ее, как надо разделывать туши. Это тоже дело нелегкое. Мне не хочется описывать весь этот процесс — под содранной шкурой у некоторых котиков еще трепыхалось сердце,— но и здесь молодой алеут был знатоком своего дела. И молодежь — четырнадцати- пятнадцатилетние хлопцы — ста-

рательно училась у него, как надо одним ловким, длинным ударом ножа взрезать шкуру, потом отрезать язык и, сунув по локоть руку в трепещущую ободранную тушу, вырвать сердце.

— Так, теперь суй руку,— спокойно говорил учитель, расставив крепкие ноги в высоких сапогах и вытирая окровавленный нож о ладонь,— суй, суй, не бойся. Дальше, еще дальше. Правей. Ухватил? Теперь вырывай его к черту!

Дрожащий от волнения и ответственности задания пацан долго возился, сопел, потом с силой рванул, и в ладони его оказалось что-то красное, сочащееся, бесформенное.

— Так. Теперь дальше.

Пацан бросил сердце в кучу других сердец и наклонился над следующей тушей.

Не мне судить, насколько важен стране промысел котиков. Очевидно, важен, иначе их не били бы. Я давно не видел котиковых манто, но на Западе их, очевидно, носят и платят за это деньги. И языки котиков, говорят, очень вкусны и нежны, и сердца тоже (наша группа даже задержалась с отъездом, чтобы их отведать, но я уже не мог, ничего не мог), и мясо котиков идет на корм песцам, которых растят и холят (с какой любовью и нежностью обхаживают их женщины на зверофермах), а потом тоже сдирают с них шкуру на чью-то шубку... Что поделаешь, такова уж жизнь, ее не переделаешь. Но когда я думаю о красавце алеуте, о его горящих глазах, мне становится не по себе...

## Спасая товарищей...

На кладбище это мы натолкнулись совсем случайно. Искали Усть-Камчатский рыбокомбинат. Нам сказали, что он в конце длинной пыльной улицы, именуемой Комсомольской, возле кинотеатра «Родина». Мы пошли по длинной пыльной улице и натолкнулись на кладбище. В самом центре площади — громадной, бесформенной, песчаной. Возле самого комбината, напротив «Родины».

Я видел много кладбищ в своей жизни. Разных. Тихие, ухоженные рижские, где за оградами на волнообразно причесанном песке лежат как бы невзначай брошенные хризантемы. Заросшие деревенские погосты с черными, покосившимися крестами. Ново-Девичье с часовенкой над могилой Чехова и двумя холмиками рядом — большим и маленьким — Станиславского и Лилиной. Видел Арлингтонское в Вашингтоне, где похоронен сейчас Кеннеди. Там холмиков нет, только маленькие плитки бесконечными, правильными, уходящими вдаль рядами. Средневековое пражское, в самом центре города, где древние каменные плиты с полустертыми надписями подпирают и выталкивают друг друга. Видел по ранжиру построившиеся белые кресты «айзенкрейцтрегеров» — кавалеров железного креста — у разрушенного универмага в Сталинграде. И старое, разрушенное еврейское в Киеве, у Бабьего Яра. Видел Трептов-парк в Берлине, Вечной славы в Киеве, одинокие крестики на Мамаевом кургане, поставленные окрестными жителями, Марсово поле в Ленинграде и десятки, сотни маленьких кладбищ на околицах сел и деревень со стандартными фигурами печально склонившихся воинов.

Кладбище, на которое мы натолкнулись, не имело ни тропинок, ни дорожек. Десятка два воткнутых в землю железных труб, колючая проволока. Внутри с полсотни почти сравнявшихся с землей холмиков, кресты из тех же ржавых труб, полусгнившие деревянные пирамидки. Здесь давно не хоронят. С трудом можно разобрать надписи на табличках. Их почти не видно — ветер, дождь, снег, годы...

*«В. С. Пекарский*
*р. 1933, ум. 1940*
*(Погиб в пургу в своем дворе)».*

Семилетний мальчишка вышел, очевидно, по нужде во двор и не вернулся. Пурга. На Камчатке снегом заносит дома иногда по самые трубы...

*«Рыжков И. А. р. 1912*
*Погиб 1/IX-40 от удара лошади»*

Кому-то показалось необходимым сообщить нам, отчего умер двадцативосьмилетний Рыжков.

Вот мрачный, некладбищенский юмор:

*«Здесь покоится прах умерщвленного Бахусом*
*моряка р. р. «Юпитер» Михайлова С. К. 1902—1954».*

Написал друг и собутыльник. И крепко выпил, когда заказывал табличку. И очевидно, так же кончил...

На кресте спасательный круг. Внутри круга табличка, сохранившаяся почему-то лучше других. Может, круг и спас от непогоды. Надпись:

*«Погибли в барáх 27/1—36*
*Туманов, Степаненко*
*Спасая товарищей, погибли вместе с ними,*
*Спасая Андреева, Сидоркина, Зиновьева,*
*Слюняева, Кочергина».*

Бары́ — это подводные наносы песка у устья реки. Это очень опасные места, рыбаки это знают. И все же гибнут. Вот так же и эти ребята погибли.

Кто они? Никто не знает. Никто не помнит. Это было так давно, почти тридцать лет назад.

Еще одну надпись удалось разобрать. Тоже погибли на бара́х.

*«Моряки к/р «Изследователь» —*
*Куртин Д. Р. 1912, Воскресенский И. П. 1915 г.».*

Тоже тридцать лет назад — «9/X—1935».

Об остальных ничего не известно — остались только холмики, заросшие жалкой травой, размытые дождями; на одном из них — пустая поллитровка и недоеденная банка болгарского перца...

И быльем поросло... Какое меткое, какое грустное, страшное слово.

Вот было шесть парней, шесть рыбаков, шесть друзей. Молодые, здоровые, все впереди. А может, и не молодые, и не такие уж здоровые, и большее уже позади. Но были. И друзья у них были. Хорошие, надо полагать. Туманов и Степаненко, например. Их тоже нет. Лежат рядом. А остальные? Что ж, погоревали, повспоминали, выпили крепко за упокой души и ушли в море. Может, и их уже нет. Тридцать лет все-таки... И никто их не помнит. И сказок о них не расскажут, и песен о них не споют...

Стоит себе кладбище, обнесенное проволокой, в самом центре площади, против кинотеатра «Родина». И никто его не замечает. Стоит, ну и пусть стоит. Когда-то там была окраина, сейчас поселок разросся. Перенести в дру-

гое место? Зачем? Скоро весь Усть-Камчатск в другое место перенесут — подальше от цунами. Привести в порядок? А средства? А кому? Дел и без того хватает. Вот с планом, например. Должны были к 1 июня... И тебе начинают говорить о плане, нехватке оборудования, ремонте цехов, прогнозе погоды. И телефон надрывается, и кто-то что-то требует, кто-то в чем-то отказывает, и опять что-то срывается или может сорваться... А ты о каком-то кладбище...

## Цунами

Что это?.. Какая-то непонятная, противоестественная тишина. Пугающая тишина. Во время войны тишина тоже пугала. Стреляло, ухало, бухало, взрывалось, и вдруг — как ножом отрезало — безмолвие. Плохой признак. Значит, что-то будет. Готовься!

А здесь? На берегу океана? Что произошло?

Оказывается, умолк прибой. Был и прекратился. Нет прибоя. Океан превратился в озеро — тихое, безмолвное... И вдруг он начинает отступать. Дальше, дальше, еще дальше... Обнажается дно, вылезают из воды камни. Отлив? Нет, не отлив — слишком быстро отступает океан. Метр, пять, десять, двадцать, сто... Куда он уходит? Что это значит?

Больше не задавай вопросов. Беги! Сломя голову беги! Подальше от моря. Взбирайся выше, как можно выше. На скалы, утесы, горы... Иначе волна слизнет тебя. Вот она уже надвигается, несется со страшной скоростью, водяная стена высотою с дом. И обрушивается на берег, снося, разрушая, поглощая все... За первой волной —

вторая, третья, еще выше, еще разрушительней. Конец света...

Имя этому — *ц у н а м и.*

«Цунами» — слово японское. Обозначает оно морскую волну, возникающую от подводных землетрясений или извержений подводных или островных вулканов. Последствия цунами катастрофичны.

Четвертого — пятого ноября 1952 года цунами высотой в пятнадцать метров обрушилось на остров Парамушир. Только глухие слухи докатились до нас — мол, какая-то волна на далеких Курилах разрушила почти весь город. Слово «цунами» никому не было тогда известно. Да и сейчас не все его знают. Если вы полюбопытствуете и заглянете в Большую советскую энциклопедию, вы не найдете там этого слова. Нету, и все...

Предсказать цунами невозможно, как невозможно предугадать землетрясение. В лучшем случае в твоем распоряжении двадцать — тридцать минут — от момента первого подземного толчка до прихода первой волны,— скорость распространения волн землетрясения (5—8 *км/сек*), к счастью, значительно выше скорости распространения цунами (0,1—0,3 *км/сек*). Но что за полчаса успеешь? Убежать? А если некуда? Если ни гор, ни утесов поблизости нет?

Наиболее подвержен цунами район Тихого океана. В частности, побережье Камчатки, Японии, Алеутских и Курильских островов. Знают цунами и Гавайские острова, но океанические впадины, в которых находятся очаги возникновения цунами, расположены на значительном от них расстоянии, поэтому у жителей Гавайев есть время подготовиться. Волна парамуширского цунами докати-

лась до них, например, только через шесть часов тридцать две минуты.

Ну, а как быть с Усть-Камчатском, Корфом, Анапкой, со всеми рыбацкими поселками и рыбоконсервными заводами? Ведь все они расположились на длинных песчаных косах, часто еще отделенных лагунами от берегов, в непосредственной близости от основных эпицентров подводных землетрясений...

Обо всем этом с тревогой говорил мне Александр Евгеньевич Святловский, директор вулканологической станции в Ключах. Александр Евгеньевич не только вулканолог, он и «цунамист», если можно так сказать.

— Вы, очевидно, уже заметили,— говорил он мне,— что основные предприятия Усть-Камчатска расположены на длинной плоской косе. Там и морской порт, и два рыбоконсервных завода, и вводящийся в эксплуатацию деревообделочный комбинат. Все это должно быть перенесено в другое место, в поселок Варгановка, подальше от моря. Есть решение, ассигнованы средства, ведется уже строительство. Но если учесть, что в год вводится не больше четырех-пяти тысяч квадратных метров, для того чтобы обеспечить жильем одиннадцать тысяч человек, потребуются годы и годы...

Только вчера я был в Усть-Камчатске. Поселок как поселок, мало чем отличающийся от других, именуемых, как и он, поселком городского типа. Расположен на двух берегах устья реки Камчатки. Южная часть — административный центр. Райком, райисполком, гостиница, ресторан, кино и местный «Бродвей» — достаточно широкая пыльная улица. Эта часть отделена от моря косой. Северная часть — промышленный район и порт — сама на косе, по которой в 1923 году прошли уже волны цунами. В мае

1959 года во время землетрясения в Петропавловске, окажись эпицентр его километров на сто северо-восточнее, Усть-Камчатску опять бы несдобровать. К счастью, пронесло.

— Не считайте меня паникером,— немного смущаясь, говорил мне Святловский.— Сильные землетрясения повторяются в одних и тех же местах не так уж часто. Соответственно еще реже цунами. В районе Южной Камчатки, например, за двести лет было только два разрушительных цунами, а на Курилах, в районе пролива Буссоль, между двумя сильными цунами прошло сто пятьдесят лет... И все же трагедия Парамушира не дает мне покоя...

Катастрофа в Северо-Курильске произошла из-за того, что население ничего не знало о цунами. Службы предупреждения, которая существует сейчас на Камчатке и Курилах, не было. О возможной катастрофе никто ничего не мог даже предположить —просто никто не знал, что существует на свете цунами.

Обо всем этом мы узнали во всех подробностях несколько лет спустя: в 1958 году Академия наук СССР выпустила «Бюллетень Совета по сейсмологии» № 4, посвященный цунами 4—5 ноября 1952 года. А до этого о цунами не говорилось ни слова. За два года до выхода бюллетеня Большая советская энциклопедия в 38-м томе писала о Северо-Курильске: «Рыбный порт... Рыбокомбинат. Средняя школа. Дом культуры, клуб, библиотека...»

Один довольно ответственный камчатский товарищ, с которым я поделился тем, что поведал мне Святловский, несколько встревоженно посмотрел на меня:

— Надеюсь, вы об этом писать не будете? Дело, конечно, серьезное, и мы уделяем ему большое внимание, но стоит ли широкому читателю обо всем этом знать? Вот был у нас здесь один корреспондент, потом написал статью или очерк «В стране вулканов». Таких ужасов там написал, что волосы на голове шевелятся. Да еще фотографии всяких там извержений приложил. Кому это надо? Людей только отпугивать. Ты лучше о рыбе расскажи, о наших славных рыбаках, о четырех миллионах центнеров, которые мы обещали дать стране и дадим,— а он, видите ли, о всяких ужасах пишет. Кто ж к нам поедет?

Прав этот товарищ или нет? Боюсь, не очень, хотя о рыбе и рыбаках действительно надо рассказывать.

## «Алло, Ключи!»

Как-то так сложилась моя жизнь, что за всю войну я не познакомился ни с одним генералом, а после войны — ни с одним секретарем обкома. Впрочем, с одним из этих последних судьба меня все-таки свела во время моего камчатского путешествия.

К секретарю Петропавловского обкома Леониду Тимофеевичу Иванову я просто вошел в кабинет и представился: интересуюсь, мол, Камчаткой и рассчитываю на помощь и содействие обкома. Он встал из-за стола — высокий, подтянутый, очень худой (я тогда, не зная причины этой худобы, приятно был поражен подтянутостью начальства),— протянул руку и сказал:

— Что в наших силах, сделаем. Чем в основном интересуетесь?

Я начал перечислять, чем интересуюсь: вулканами, гейзерами, рыбой, котиками, песцами, алеутами, эвенками, китами, новым строительством, пограничниками, охотниками и опять-таки рыбой и рыбаками...

— М-да,— сказал он.—И все это вы хотите за месяц? Аппетитец неплохой, ничего не скажешь... А теперь давайте по-деловому.

Так произошло наше знакомство — первое мое знакомство с секретарем обкома.

Должен сказать, что поначалу я думал ни к какому начальству не заходить — не хотелось, чтобы тебе создавали какие-то исключительные условия. Эти наивные рассуждения были тут же высмеяны моими камчатскими друзьями. Они долго смеялись надо мной. «Видали героя? Ты что, в Москву приехал или Ленинград? Сел в метро и покатил? Дайте мне билетик до Ключевской сопки, я на вулканы посмотреть хочу. Тут, брат, не Южный берег Крыма. Хрен ты тут за месяц увидишь. Слушайся нас. И вообще в конце концов это просто невежливо — приехать и даже не поздороваться».

Я сдался, пошел здороваться и теперь только благодарен моим друзьям.

Путешествие по Камчатке— не туристская поездка. Комфортабельных автобусов с гидами тебе не подают, билетов не покупают, номеров в гостинице не бронируют, стандартными обедами и завтраками не кормят. Передвигайся как знаешь: хочешь пароходом, хочешь самолетом — твое дело, а концы все камчатские — досюда пятнадцать рублей, дотуда тридцать... Одним словом, вылететь в трубу можно в течение двух-трех суток.

Знакомство с Леонидом Тимофеевичем сразу все упростило. Перво-наперво он позвонил на радио, и мое-

му другу, разъездному корреспонденту «по рыбе» Роману Райгородецкому,— мы с ним еще по Киеву были знакомы —сразу же дали двухнедельную командировку. Лучшего гида и спутника трудно было найти: парень он энергичный, Камчатку знает и любит, везде полно друзей. Ко всему он великий мастер говорить по телефону, а искусство это не из самых простых, в камчатских условиях особенно. Камчатка — «великий телефонный полуостров». Расстояния громадные, дорог нет, самолеты летают нерегулярно (июнь месяц, аэродромы не везде просохли), пароходы тоже, то из-за шторма, то из-за льдов запаздывают. Вот тут-то и выручал телефон или рация.

Дозвониться из Козыревска, допустим, до Петропавловска — дело нелегкое. То Ключи заняты, то Усть-Камчатск, то повреждение какое-то, то еще что-нибудь. Когда Роман брался за это дело, я знал — все будет в порядке. Очень спокойно, уверенно заходил он то ли в райком, то ли к начальнику аэродрома, авторитетно представлялся: «Корреспондент камчатского радио», снимал трубку и не клал ее до тех пор, пока не добивался того, что ему надо было. Я любовался им и подыхал от зависти, слушая его негромкий, спокойный, категорически-убедительный, не терпящий возражений телефонный разговор. И начальник аэродрома почему-то не перебивал его, не раздражался, сидел и ждал, когда кончатся бесконечные его: «Алло, алло, Ключи, Ключи, дайте мне Ключи, весьма срочное дело...»

Кончалось все, как правило, победой — оставляли койки в гостинице, давали транспорт, назначали встречи. Только когда на проводе был Леонид Тимофеевич, Роман передавал трубку мне. «Все-таки ты гость, тебе труднее

отказать». Кстати, Леонид Тимофеевич никогда не отказывал, наоборот — сам предлагал. Когда, например, мы собирались отправиться из Козыревска дальше вверх по реке до Милькова, он через секретаря Усть-Камчатского райкома разыскал нас, и за сотни километров я услыхал его голос:

— Если интересуетесь Командорами, завтра к двенадцати прибудьте в Петропавловск. В случае каких-либо неполадок с рейсовыми самолетами я дал указание, чтоб маленький «АН-2» из Эссо захватил вас в Козыревске и доставил в Петропавловск.

Роман только иронически подмигнул:

— А? Приедешь в Киев, обязательно книжку ему пошли. Видал бы ты без него Командоры.

Судя по нашей литературе и кинофильмам, секретарь обкома должен обладать не менее чем десятком положительных качеств: быть энергичным, чутким, принципиальным, ну и так далее, разрешая себе только изредка, после утомительного дня потереть область сердца и помечтать о рыбалке.

Насколько отвечает всем этим нелегким требованиям Леонид Тимофеевич Иванов, мне судить трудно, да и не очень имею я на это право — все-таки недостаточно близко знаком и в повседневной работе не видал, —но то, что он человек дела и слова, я это понял. И поговорить, как это у нас называется, с народом не прочь, что, как известно, тоже является одной из неотъемлемых черт хорошего секретаря обкома. Делает он это обстоятельно, не торопясь, останавливаясь на мелочах.

Я наблюдал за его беседами в поселке Никольском

на острове Беринга, и — скажу откровенно — мне было интересно.

Как-то, много лет тому назад, у меня возник небольшой спор с одним очень известным писателем. Он упрекал меня в том, что я мало езжу по стране, плохо знаком с ее успехами, достижениями. И под конец сказал:

— Давайте сядем в машину и поедем к Посмитному, Дубковецкому, к Олене Хобте. Увидите, как люди живут, трудятся, с жизнью познакомитесь.

Я согласился, но предложил заехать не только к Посмитному и Олене Хобте и путешествие совершить если и в машине, то хотя бы без лауреатских медалей.

— А почему без? — удивился именитый писатель.— Почему вы их стесняетесь? Это награда, ею гордятся.

В поездку мы не поехали. Я не очень об этом жалею. Даже совсем не жалею, так как вовсе не уверен, что такой способ «знакомства с жизнью» может принести кому-либо какую-либо пользу. Да и вообще в самом этом определении — «знакомство с жизнью» — есть что-то постыдное.

Ну а секретарь обкома? В частности, Камчатского. Как ему не отрываться, как говорится, от жизни? Заседаний и выступлений предостаточно. Телефонных звонков тоже. Область величиной с Францию, даже чуть больше ее. Дорог нет. Тайга, тундра, острова... Как за всем уследить, во все вникнуть, разобраться в мелочах, не поддаться обману, без которого, увы, не везде еще у нас обходятся? Вопрос не простой. Гарун-аль-Рашидом на Командоры не приедешь и матросом на сейнер, чтоб с рабочего места, так сказать, на все посмотреть, тоже не наймешься.

Мне кажется, Леонид Тимофеевич понял это. Заходил

на звероферму или на строительство склада и говорил прямо:

— Здравствуйте. Я секретарь обкома Иванов. Есть какие-нибудь претензии и жалобы? Выкладывайте.

Тут начинали выкладывать. Претензий и жалоб всегда бывает много, особенно если учесть, что люди живут на острове, в двухстах километрах от материка. Говорили прямо и открыто, ждали ответа. Леонид Тимофеевич отвечал, иногда переходил в контратаки. Это уже по части работы, ее качества, выполнения плана.

Не обходилось и без курьезов. Зашли в один из сарайчиков. Немолодая женщина в резиновом переднике готовит пищу для песцов — разделывает котиковые туши. Стасик Чекалин вытащил свой магнитофон, Юра Муравин — фотоаппарат.

— Ну, как с планом? — спросил Леонид Тимофеевич.— Выполняем?

Женщина несколько удивленно на него посмотрела.

— А бог его знает...

— То есть как это — бог его знает?

Женщина пожала плечами.

— Важно, чтоб песцы были сыты. У меня они сыты. А с планом — не знаю я никакого плана...

Повисла пауза. Стасик завозился с магнитофоном. Леонид Тимофеевич спросил:

— А давно тут работаете?

— Давно-о-о... Не помню уже сколько. И когда отдыхала, тоже не помню.

— Это почему же? Отпуска, что ли, не дают? — Леонид Тимофеевич грозно посмотрел на директора зверофермы.

— А зачем он мне? Я и не просила. Надо же кому-то

ванек кормить... (На Командорах песцов зовут ваньками.)

Все рассмеялись. Иванов погрозил директору зверофермы пальцем, затем спросил у кормилицы ванек, хорошо ли работает на острове радио, та с готовностью сказала: «С этим-то у нас все в порядке», и дальше пошло все гладко...

На следующий день мы поехали на лежбище котиков. И тут я обнаружил еще одно качество у нашего секретаря обкома. Он оказался страстным кинолюбителем. Трудно сказать, сколько катушек он отснял — восемь, десять, двенадцать? — но то, что более подробного рассказа о забое котиков в мировой кинодокументалистике нет,— в этом я уверен. Он был неутомим. Носился по всему берегу, взбирался на скалы, садился на корточки, влезал чуть ли не в самое стадо, аппарат его ни на минуту не умолкал. К сожалению, я не видел его фильма, но в нашем соревновании кинорепортеров (я тоже был с аппаратом), не глядя, признаю свое поражение.

Перед отъездом домой я зашел к Леониду Тимофеевичу попрощаться. Не очень длинный наш разговор раз восемь или десять прерывал телефон. «Противная все-таки штука телефон,— подумал я, забыв, как он помог мне в путешествии,— удобная, но противная». Я ненавижу телефон. Только возьмешь книгу и ляжешь на диван — обязательно кто-нибудь позвонит. А вот Леонид Тимофеевич отвечал подробно, обстоятельно, не раздражается... Как-то я позвонил ему домой — секретарю обкома домой! Ответил детский голосок. «Можно Леонида Тимофеевича?» — попросил. «Папа — тебя!» Невиданный случай! Даже у меня дома всегда спрашивают: «А кто говорит?» А тут: «Папа — тебя!»

## И все же как-то обидно...

На большой, белый, красивый, весь обтекаемый теплоход, идущий из Олюторска в Петропавловск, пассажиров «грузят» с плашкоутов в так называемом «парашюте». Это скорее «авоська», а не парашют, но называется она «парашютом». Подымают вместе с грузом. Внизу ящики и мешки с почтой, сверху, цепляясь за канаты, люди. Лебедкой все это подымают и выгружают на палубу.

Пока ты еще болтаешься в воздухе, с палубы тебе уже кричат:

— Водки нет! Водки нет!

— А места есть?

— Места есть. Давайте паспорта.— Их очень быстро и ловко отбирают, тут же пересчитывая всех нас.

Корабль сверкает чистотой. Все блестит: ручки, поручни, лампочки, всякие там непонятные корабельные устройства. Каюты с занавесочками, душ, ванная. Мы тут же начинаем полоскаться, потом вытягиваемся под прохладными простынями. Сразу же засыпаем, не читая даже. Спим. Очень приятно.

Назавтра — разочарование.

— Можно попросить ключ от каюты, вчера нам не дали.

— А я тут при чем? У коридорной спрашивайте.

— А где она?

— Почем я знаю?

— Кто же знает?

— А я что, за всех отвечать должна? Ищите.

Ищем. Не находим. Идем на палубу.

— Куда претесь? Видите, уборка идет.

— Мы не премся, а идем. На палубу.

— Нельзя туда.

— Почему?

— Нельзя — и все. Русским языком сказано... Шляются тут всякие, делать им нечего...

Делать нам действительно нечего, поэтому и идем на палубу. Попадаем в конце концов. Пристроились у борта, покуриваем, смотрим на проплывающие льдины. Красиво.

С капитанского мостика:

— Эй вы там! Раскурились. Делать вам нечего. Бросьте сейчас же! Оглохли, что ли?

На море не хочется уже смотреть. Оно даже красивым не кажется. Выпить, что ли, по чашке кофе? Идем в буфет. Он закрыт.

— Когда откроется?

— Когда, когда... Когда откроется, тогда и откроется. Видите, переучет идет...

С горя идем в свою каюту.

— Ну, куда, куда вы лезете? Видите, уборка идет...

— А, ч-черт, пошли к капитану!

Вид у нас непрезентабельный — свитера, куртки, сапоги. Раз пять нам говорят: «Куда вы претесь?», но мы все же пробиваемся к капитану.

Красивый, немолодой уже грузин.

— Ну, чего вам надо?

Говорим, что хотим с ним поговорить.

— О чем? Видите, я занят.

Мы этого не видим, поэтому настаиваем.

— Ну давайте. Только покороче.

В самом сжатом виде говорим о том, как нам обидно

за этот теплоход. Такой он красивый, чистый, удобный, а хочется поскорей с него уйти — чувствуешь себя каким-то преступником, все на тебя кричат, смотрят, как на врага.

Капитан настораживается:

— А вы кто такие?

— Никто. Пассажиры.

Капитан еще больше настораживается:

— А кто на вас кричал? Скажите фамилии.

— Дело не в фамилиях, а в общем духе на корабле. Обидно как-то... Вот об этом нам и хотелось сказать вам.

Капитан перестает вдруг быть капитаном.

— Эх, ребята, ребята, вы вот жалуетесь... А нам, думаете, не обидно? Получили корабль, новенький, красивый, с иголочки. На нем не путешествие, а отдых. Так нет, велели партию вербованных везти в Олюторск. И что же? В полчаса всю водку разобрали, потом в каюту ко мне стали рваться: «Давай еще! У тебя спрятана». Потом в самом Олюторске со всех сторон шлюпки, катера, ботики. И все одно, все одно! А у меня что, «Гастроном»? Нет, ребята, не понимаете вы всего! Не черноморская экспрессная линия, нет, ох как нет...

Появившийся к концу разговора молоденький помощник капитана в красивой плоской фуражке с крабом, тот самый, что кричал на нас за курение, говорит в тон капитану:

— Что тут скажешь, без году неделю на этом корабле служу, а рейс этот на всю жизнь запомню.

Мы выслушиваем жалобы еще минут пять, потом прощаемся и уходим.

Что тут действительно скажешь. Не черноморская экспрессная линия... И все же как-то обидно. Невольно я

вспомнил нашего тихого, спокойного Геннадия Павловича и его сторожевой корабль — может, дело не только в вербованных, которые приняли теплоход за «Гастрономом», а и в тех, от кого зависит не только чистота корабля, но и весь дух его, атмосфера, отношение к людям...

Из своих красивых, уютных, с душем кают мы выбрались в Усть-Камчатске без особого сожаления...

## Правильный парень

Я получил письмо от Толи Побеленко. В нем он пишет:

«Дела в колхозе идут успешно — на сегодняшний день выловлено 273 тысячи центнеров рыбы при плане 344. Наш СРТР-400 [1] «Керчь» на днях побил всесоюзный рекорд — 32 тысячи центнеров, обязуются за год выловить 40 тысяч.

У меня тоже есть успехи. Экзамены в институт сдал, зачислен на вечернее отделение (спец.-судовые силовые установки). На катере уже не работаю, в связи с экзаменами меня перевели на судоремонт. Коротко все. Приезжайте на Камчатку, тем для работы у вас будет достаточно.

Толик П. 8. 9. 64.

P. S. Экстренное сообщение — только что передали по радио: БМРТ [2] «Амгу» побил мировой рекорд по вылову рыбы БМРТ «Хинган». Рекорд «Хингана» — 110 ты-

---

[1] СРТР — траулер-рефрижератор.

[2] БМРТ — большой морозильный рыболовный траулер.

сяч центнеров за год — «Амгу» выполнила за восемь месяцев и неделю. Обязуются дать 130 тысяч.

Да здравствуют рекордсмены!»

Если б я не знал Толи Побеленко, я конечно же решил бы, что это «организованный» какой-нибудь редакцией материал.

А вот и нет. Письмо пришло не в газету по заказу зав. промышленным отделом, а ко мне, в конверте с маркой, из Петропавловска-на-Камчатке.

Толя Побеленко — колхозник. Член рыболовецкого колхоза имени Ленина — самого большого на Камчатке. Лет ему двадцать пять. Когда я с ним познакомился, он был простым матросом на аварийном катере «Ведущий». Сейчас, как видите, он уже студент.

С колхозом этим у меня произошел конфуз. Вернее, у колхоза со мной и моим приятелем Яном Вассерманом.

Поначалу все шло честь честью. Мы пришли к председателю колхоза товарищу Старицыну и не меньше часа просидели в его большом кабинете за столом в виде буквы «Т». О колхозе этом, выполняющем и перевыполняющем план, писали и пишут очень много, а о председателе его в обкоме мне было сказано: «Интереснейший человек! Хоть роман о нем пиши». Как там насчет романа — не знаю, может быть, кто-нибудь и напишет, даже наверное напишут, но то, что человек он толковый и дело у себя в колхозе поставил на широкую ногу,— это действительно так. Приведу один только пример: рядовой рыбак-колхозник зарабатывает в месяц в среднем четыреста рублей. Пожалуй, ни один из знакомых мне инженеров или архитекторов столько не зарабатывает.

К концу разговора мы с Яном попросили разрешения выйти с рыбаками в море. Старицын охотно согласился,

и решено было, что мы выйдем в море на РС — рыболовном сейнере, капитаном которого был Герой Социалистического Труда, фамилию которого я забыл по той простой причине, что познакомиться с ним мне так и не удалось. А не удалось потому, что на сейнер доставить нас должен был аварийный катер «Ведущий», а катер этот, отвалив от пирса и не дойдя даже до выхода из Авачинской губы, сел на мель.

Так и просидели мы на мели с шести утра до восьми вечера.

Не могу сказать, чтобы это был самый веселый день в моей жизни. Ян, развалившись на койке, углубился в какой-то толстенный роман без начала и конца, я же, как на грех, забыл в номере гостиницы очки, в шахматы играть не умею, поэтому вынужден был целый день маяться и предаваться болтовне, причем болтовне, увы, ничем не подкрепленной,— шлюпки на катере не было, а безрезультатно пытавшийся снять нас с мели буксир ушел в море. Так и проболтались мы на сухую четырнадцать часов, с тоской поглядывая на белевший у пирса рыбкооп.

Наевшись ухи, все завалились спать. Катер буквально сотрясало от храпа четырех здоровенных глоток. Мы же с Толей Побеленко предались элементарному «трепу».

Чем объясняется то, что с одними людьми интересно, а с другими нет? Несколько лет тому назад я ездил за границу с одним очень известным ученым. Его знают во всем мире, книги его переведены на множество языков. И вид у него очень вальяжный — бородка клинышком, галстук бабочкой, походка царственная. А вот начнет говорить — и сразу тоска нападает: так все плоско, неинтересно, банально, столько раз уже слышано. За всю

нашу поездку только один раз он нас развеселил. В Ватикане, когда наш переводчик Лева, глядя на вереницу лимузинов, из которых вылезали кардиналы и епископы, в шутку сказал: «А может быть, и нам сходить к папе Римскому благословения попросить?» — академик с явным осуждением посмотрел на нас и сказал: «Лев Михайлович, что вы говорите, ведь вы же коммунист...»

Толя Победенко особой ученостью не блещет, но мне с ним было интересно и весело. Бойкий, живой, всем интересующийся. И работает он весело — приятно смотреть. Раз-два — помыл палубу, почистил рыбу, сварил уху. И все это с шуткой, с улыбкой, с юмором. Ничего придуманного, напускного. И в письме его, с которого я начал, тоже все не придумано — его действительно радуют успехи БМРТ «Амгу». Он неплохо зарабатывает — сто шестьдесят пять рублей в месяц. Работу свою не презирает — нет, ничуть,— но хочется ему быть инженером. И будет им, хотя на первых порах после окончания института зарабатывать будет в два раза меньше.

— Вообще-то пацаном я был несерьезным,— говорил мне Толик.— Учиться особенно не хотел. Кончил десятилетку в Омске, потом техническое училище — и пошел работать. На завод наладчиком. Хватит, решил, с учебой, ну ее. В пятьдесят девятом призвали в армию, на Камчатку. Вот тут уж до меня дошло то, чего не мог уразуметь раньше. Притом понятие вошло не через голову, а через руки. Часть была отличной, в округе занимала вторые-третьи места. А вы знаете, в лучшей части больше и спрашивают. Одним словом, стал человеком, задвигал вдруг мозгами. Вначале все о доме думал. Отслужу — и домой. А как-то, помню, был в наряде —

был уже август шестьдесят второго года,— всю ночь не спал, засела мысль в голове: а что, если не поеду домой, останусь здесь? Подработаю малость и учиться пойду. Вот так, в одну ночь решил... После смены пошел к командиру роты и попросил увольнительную для трудоустройства. Дома решили, что пошутил. Поверили, лишь когда прислал письмо после демобилизации. Ну, потом пошел в колхоз Ленина. Сразу работал на судоремонте. Потом на сейнере «Пржевальск». Сходил на нем на зимнюю путину на западное побережье, летом в Олюторку на селедку. Съездил в отпуск, друзей повидал, родных. Сейчас знаю, что поступил правильно. Мама, конечно, тревожится, старенькая она уже, шестьдесят пять лет, пенсионерка. Убеждаю, как могу, чтоб не волновалась... А в общем поступил правильно, вижу, что правильно...

Рассказ его приведен почти дословно. Мне самому он невольно показался слишком правильным. Все как-то очень уж гладко, без сучка и задоринки. Но что поделаешь, если это действительно так. Да, Толик Побеленко — правильный парень. Очень даже правильный. Не болтун, не хвастун, а просто веселый, жизнерадостный и очень правильный парень. Дай бог ему всю жизнь быть таким.

## Благодарность министру

Посылаю на Камчатку яблоки. Большие, красивые, одно к одному, не очень спелые, чтоб по дороге не испортились. Дома нашелся большой, десятикилограммовый ящик с дырочками (в свое время посылал фрукты из

Крыма), и, взвалив его на плечо, иду в соседнее почтовое отделение.

Народу, слава богу, немного. Перекладываю яблоки скомканными газетами, чтоб не болтались, заполняю бланк и иду к старушке, которая упаковывает яблоки.

— Э-э, сынок, на Камчатку фрукты не принимаются.

— То есть как это не принимаются?

— Не принимаются. Не разрешено.

— Ничего не понимаю.

— Я тоже,— улыбается старушка.— Но не я придумала.

Я требую, чтобы мне объяснили, на каком основании. Старушка отсылает меня во-он к тому мужчине, заведующему.

Иду к тому мужчине.

— Не разрешается. На Камчатку, Сахалин, Магадан, Красноярский край посылки с фруктами не принимаются. Приказ министра.

— А в Ялту, в Сочи можно?

— В Ялту и Сочи можно,— без тени улыбки отвечает мужчина.

Возвращаюсь взбешенный к старушке. Хотелось порадовать друзей с Командоров, а тут тащи десять килограммов назад, домой. Идиотство!

Старушка загадочно наклоняется ко мне:

— А ты знаешь что, сынок, сделай? Переложи в ящик без дырочек — и все. Кто там узнает, что у тебя внутри?

Милая старушка. Только сейчас замечаю, какое у нее симпатичное, доброе лицо.

— А еще лучше положи туда хвостик хрену. Или головку чеснока. Микробы убивает.

Ну до чего же милая старушка!

Я перегружаю яблоки в ящик без дырочек, старушка очень старательно забивает крышку. У нее это очень красиво и ловко получается.

— Артистку Тевелеву знаешь, певицу? Два раза в месяц посылочку сыну посылает. Он там, на этих самых Командорах. И всегда доходят. За неделю доходят. А то и за четыре-три дня, как там с самолетами удается. Только следующий раз обязательно хрену положи. Теперь вон в то окошко...

Я пытаюсь ей что-то сунуть.

— Что ты, что ты, сынок, не надо...

— Это за то,— говорю,— что гвоздей не жалели.

— А чего их жалеть? Посылка-то далеко идет, кому-то радость доставить. Чего же их жалеть.

Весь день после этого у меня был какой-то веселый, светлый.

Спасибо министру. Не издай он того приказа, я бы через две минуты забыл о существовании старушки.

## Царицы Савские и Жан Марэ

«...И тут увидел девушку всю в рыжем — тонкий коричневый свитер, темно-каштановые брючки, и волосы рыжей волной, и притушенное потемками лицо...

...А вон та, с льняными волосами, без выдумок собранными копной на затылке,— свитер у нее черный, а брючки тоже черные, в тон льняным волосам желтенькие туфли на полукаблуке... есть в ней что-то змеиногибкое, что-то от женщин, привыкших повелевать и властвовать...

...Еще издали я увидел девушку в алой майке и синих рейтузах... Я прошел мимо девушки, этакой жгучей, как огонь, и колюче-гибкой, как рапира...»

О ком это идет речь? Кто эти змеино-колюче-гибкие девушки, привыкшие повелевать и властвовать? И где все это происходит? В Монте-Карло? Майами? Одна из них к тому же любит Альфреда де Мюссе, другая прекрасная, как царица Савская, как Клеопатра, Земфира... Кто они такие?

Не удивляйтесь — это работницы рыбозавода. И никакое это не Монте-Карло, а остров Шикотан, Южные Курилы... Вот так-то, Южные Курилы...

Спешу оговориться, сам я на острове Шикотан не был и с гибкими, как рапира, девушками познакомился в повести одного нашего писателя, напечатанной в журнале «Молодая гвардия» в конце шестьдесят третьего года. Прочитай я эту повесть до своей поездки на Камчатку — я обязательно сделал бы на обратном пути крюк и побывал бы на Южных Курилах: все-таки нечасто попадаются на рыбозаводе царицы Савские, увлекающиеся Альфредом Мюссе.

Те, которых я видел не на Курилах, правда, а на Камчатке, выглядели не слишком царственно. На них были грубые, топорщащиеся робы, резиновые фартуки, с ног до головы они были в рыбьей чешуе, руки красные, головы обмотаны платками. А кругом рыба, рыба... Отбирай ее, проталкивай по конвейеру, режь, опять отбирай, упаковывай в банки, заливай маслом, наклеивай на коробки этикетки...

Я смотрел на этих здоровых, крепких девушек с медными лицами, в своих робах и сапогах больше похожих

на парней, и постеснялся спросить их, как относятся они к своему нелегкому труду. Но ответ я получил. Получил от одной из шикотанских Клеопатр — укладчицы рыбы, по имени Муза. «Какое уж тут, с позволения сказать, творчество! — ответила она герою упомянутой выше повести, оказавшемуся менее стеснительным, чем я.— Но эта механическая работенка дает мне ту лишнюю копейку, за которую можно даже в четвертый раз сходить на «Девять дней одного года», посмотреть Смоктуновского».

Я не уверен, что Муза предпочитает Смоктуновского Жану Марэ (об этом дальше), как и в том, что она ходит в узеньких брючках, но то, что она больше любит ходить в кино, чем укладывать рыбу,— этому я верю. И не вижу ничего в этом зазорного.

И вот за эту-то прорвавшуюся вдруг в повести правду автору ее и досталось. «Работа для его героинь,— прочел я как-то в «Литгазете»,— остается еще механической, отупляющей, не вызывающей в них никаких творческих импульсов... А как сделать так, чтобы работа была не добыванием средств к жизни, а самой жизнью, полной, радостной?»

Укладывать рыбу в консервную банку — это не то же самое, что делать операцию человеку или даже морской свинке, строить дворец спорта или хотя бы железнодорожный пакгауз, варить сталь, вязать арматуру. Это — укладывание рыбы в консервную банку. Искать в этом занятии «творческих импульсов», считать «самой жизнью, полной, радостной», может только человек, никогда не укладывавший рыбу в консервную банку.

Не знаю, в какой уже раз я задаю себе вопрос: по-

чему мы стараемся изображать людей не такими, какие они есть? Становятся ли они от этого лучше? И действительно ли это лучше? В старое время писатель назывался сочинителем, но нужно ли именно так сочинять?

Иногда говорят так: «Да, это еще нечасто встретишь, но мы к этому стремимся, в этом есть тенденция развития». Так рождались «Кубанские казаки».

Неправда убивает искусство. Она бывает разная — в желании увидеть то, чего нет, или не видеть то, что есть. Я не знаю, что хуже.

Однажды на какой-то читательской конференции, где я рассказывал о кинофильме «Солдаты», один не очень уж молодой человек набросился на картину, особенно на ее начало — сцены отступления.

— Что это? — сказал он.— Солдаты растерзаны, разуты, расхристаны... Никакого порядка, никакой дисциплины. Не армия, а шайка бандитов...

Я поинтересовался, приходилось ли ему воевать и, в частности, отступать?

— Еще как! От Харькова до самого Сталинграда. И не такое было... Но я не хочу об этом вспоминать. Понимаете, не хочу! Не хочу, чтоб мой сын видел, как драпал его отец. Надо, чтоб он уважал своего отца, уважал свою армию.

На первый взгляд все эти примеры — шикотанские красавицы, воспевание труда укладчицы, последний случай с отцом и сыном,— на первый взгляд все они лежат в разных плоскостях. Нет — в одной! Все они рождают неправду. А неправда — недоверие и, что еще страшнее, неверие.

Но вернусь к царицам Савским. Одна из них — не в

штанишках и не в робе, а в нормальном универмаговском платье — делилась на автобусной остановке своими впечатлениями после «Парижских тайн».

— Завтра обязательно еще раз пойду... Нравится мне этот Жан Марэ. Такой он смелый, благородный. И так непохоже на все...

Я понял ее. Она вовсе не против «похожести» — понимай «правды»,— она за нее. Но если уж ее нет, так давай непохожее на всю железку: полумаски, шпаги, плащи, поединки...

## Баллада о сапогах

Я приехал на Камчатку в кедах. Ян Вассерман — в резиновых сапогах. Обоих нас подняли на смех. «Это все, что у вас есть?» Все...

В Корфе, промочив насквозь свои кеды, я зашел в промтоварный магазин и купил сапоги. Прекрасные кирзовые сапоги за одиннадцать рублей. Ян иронически на меня поглядывал. В своих резиновых чоботах он бесстрашно шел впереди, пробивал нам дорогу сквозь сугробы. Я завидовал ему.

Резиновые сапоги! Честь и слава тому, кто вас придумал! Что делали бы мы без вас среди болот и топей, в дождь и слякоть, как хороши вы на охоте, как нужны рыбакам в путину! Честь вам и слава!

Но потом мы попали в пыльные Ключи и в тайгу. Здесь уж я начал поглядывать иронически. Впрочем, не всегда. Когда мы устраивали в лесу привал, надо было укладываться от Яна не меньше чем на пятьдесят метров,

да и то не с подветренной стороны — у Яна была только одна пара носков, к тому же шерстяных, а температура воздуха колебалась где-то около двадцати градусов.

Две недели топал Ян в своих сапогах по дорогам Камчатки, по бревенчатым лежневкам, по листьям и хвое тайги. «Ну, как там, Ян, не жарко?» — «Да нет, ничего, жить можно...» Но какое блаженство было на его лице, когда мы куда-нибудь приходили,— он мгновенно разувался и босиком мчался в поисках крана, графина, ручья... Потом лежал, закинув ноги на спинку кровати или поваленное бурей дерево. Блаженствовал. Счастливейшей его минутой на Камчатке была, по-моему, минута, когда выяснилось, что мы летим в Петропавловск. Он надел мои кеды, а сапоги выбросил в окно: «Чтоб не видел я вас никогда!»

Я возмущался — сапоги в окно? Такие чудные, такие резиновые, такие еще совсем не стоптанные. Грех!

— Ну и бери их себе на память!

— Мне они не нужны,— спокойно сказал я,— но кому-нибудь они определенно пригодятся.

— Ну и делай с ними что хочешь...

Я предложил их дежурной по гостинице — милой старушке, укутанной в платок. Она отказалась. Я решил, что постеснялась, и поставил возле ее столика. Она вторично отказалась — не нужны они ей.

— Ну, сыну, внуку...

— Нет, нет,— засуетилась она.— Берите их с собой. Не нужны они мне.

— Так я ж даром.

— И даром не нужны... Не привыкла я.

Я предлагал их по очереди продавщице в продмаге, ее заведующему, двум покупателям в том же продмаге — здоровенному парню и старику, очень похожему на охотника, затем на почте, куда мы зашли за переводом,— никто не взял.

Я начал раздражаться.

— Превосходные же сапоги. Почти неношенные. Отдаю даром. Мне их деть некуда. Возьмите...

Никто не брал. Зачем они им?

Один рязанский парень говорил мне потом: «Появись ты у нас на Рязанщине с ними — с руками бы оторвали». А тут презрительная улыбка и пожимание плечами.

Последнюю попытку я сделал на Козыревском аэродроме.

Кажется, никогда в жизни у меня не было такой униженной, просительной интонации, как в этом кратком разговоре с шофером грузовика, который доставил нас на аэродром.

Лихой этот парень, со сдвинутой на одно ухо кепчонкой, с нескрываемым удивлением посмотрел на меня.

— А на ча они мне?

— Ну, просто так, в подарок. За то, что быстро довез.

— За это сто грамм полагается, а он мне сапоги. Шесть пар таких у меня дома валяется...

— Ну, на пол-литра обменяешь.

Тут уж он просто с презрением на меня посмотрел.

— Это что, у вас там на материке так делают? — Он нажал на стартер.— Вот и берите с собой, опохмелитесь там.

Когда он тронулся, я бросил сапоги в кузов и тут же дал ходу — авось не заметит.

Сколько бы меня ни убеждали, что шкаф, например, или стул — предметы неодушевленные, я этому никогда не поверю. У всех у них есть свой характер, привычки, повадки. Все они о чем-то думают, что-то знают, любят, ненавидят. Часто обижаются на нас, людей, мстят. Если теряется какая-нибудь вещь, будь то шапка, перчатки, любимый карандаш, книга,— это вовсе не значит, что она потерялась, она просто спряталась от вас. Обиделась на что-то и дразнит. Именно она, а не черт, к которому вы обращаетесь: «Черт, черт, поиграй и назад отдай».

Вот вам пример.

Когда мы подходили к острову Медному, все мы — фотографы — сразу ухватились за свои аппараты, чтоб запечатлеть суровые, покрытые тучами скалистые его берега. Но тут вдруг обнаружилось, что пленка в моем аппарате кончилась, надо заряжать другую. Я вынул из вещмешка свеженькую и только собрался зарядить ею аппарат, как меня позвали: у Леонида Тимофеевича заело что-то в кинокамере, и он просил помощи.

Когда через пять минут я вернулся, оказалось, что катушки с пленкой, которую — отлично помню — я положил на стол, рядом с фотоаппаратом, нет. Я начал искать. Перерыл все, что возможно, вывернул карманы, облазил всю каюту, перетряс простыни и одеяла на обеих койках — нет и нет...

Раздосадованный и злой, я бросился к Юре Муравину, выклянчил у него пленку и еле-еле поспел к моменту нашего подхода к острову. Я отснял полпленки и вернулся

в каюту. Моя катушка мирно лежала на столе, на том самом месте, куда я ее положил. Лежала и посмеивалась.

Нет, конечно же у неодушевленных предметов есть своя душа. Иногда очень тонкая, уязвимая — не надо их обижать,— и связь у них друг с другом есть, своя дружба, взаимопомощь, круговая порука.

Теперь я знаю, за что издевалась надо мной моя пленка, за что обиделась, за что мстила. И за кого мстила — тоже знаю.

В пятидесятом году мы переехали на новую квартиру. И тут же возникла обычная в таких случаях проблема — нужна новая мебель. В старой «коммунальной» квартире все было с бору по сосенке: разваливающийся шкаф, продавленный диван, покосившиеся этажерки, набитые книгами. Все это было хотя и не очень красиво, и не очень удобно, но в какой-то степени соответствовало нашей «вороньей слободке» с шестью лицевыми счетами и с таким же количеством лампочек и выключателей в уборной и на кухне. Новая квартира с отдельной ванной, кухней и двумя балконами всех нас потрясла. На фоне чистых стен и отциклеванного, начищенного паркета старые шкафы, этажерки и стулья с вставленными фанерными сиденьями производили удручающее впечатление. Нужно было обновление. Началось оно с тахты, широкой и большой, сделанной двумя веселыми обойщиками. Потом был куплен некий буфетно-гардеробный комбайн, именуемый «кавалеркой», и диван с двумя креслами. Завершилось все покупкой шести стульев.

Шесть этих стульев были найдены на Подоле в мебельном магазине и вызвали всеобщее одобрение. Они были золотисто-желтые, с удобными сиденьями и приятно изогнутыми спинками. К тому же не очень дороги. Нас

было трое, мы взяли каждый по два стула и благополучно доставили их домой.

С их появлением в квартире сразу стало веселее. Четыре из них расположились вокруг обеденного стола, два других стояли в сторонке, но когда приходили гости, тоже присосеживались к столу. Гостям стулья очень нравились, и все спрашивали, где мы их купили и есть ли они еще в этом магазине на Подоле.

Так и прожили мы с этими стульями сколько-то там лет. Привыкли друг к другу, сдружились. Один слегка раскачивался — его любила мама. У другого на сиденье разводы напоминали человеческий зад, на нем всегда сидела одна наша приятельница. Третий очень музыкально поскрипывал. Одним словом, каждый вел себя по-своему, а в целом мы жили очень мирно.

Сложности возникали только во время семейных торжеств. Народу приходило много, и стульев, как правило, не хватало. Приходилось тащить из кухни табуретки, класть доски, подвигать стол к дивану. Хлопотно и не очень удобно.

И вот тут-то один мой приятель, как раз когда мы соображали, как разместить гостей, сказал мне:

— Слушай, мы недавно сделали ремонт и купили новую мебель. Осталось четыре безработных стула. Возьми их. Ей-богу. Хорошие, плетеные... Все равно они у меня в коридоре друг на друге стоят, только мешают...

Ему не пришлось долго меня уговаривать — я принял подарок. На следующий же день четыре красавца переехали к нам.

Они были прекрасны, эти четыре стула. Черные, блестящие, со светлыми плетеными спинками и сиденьями,

они поставлены были с четырех сторон стола и сразу же придали торжественный вид комнате. И опять же все их хвалили. И товарища моего, который сделал такой чудесный подарок. Великолепные стулья — удобные, красивые, такие новенькие.

На следующий день, когда я с улицы вошел в комнату, меня невольно что-то резануло. Сначала я не уловил даже что. Потом понял. Самодовольство... Самодовольство новых стульев. Стоят себе вокруг стола — выхоленные, сияющие, такие спокойные, сытые, точно всю жизнь здесь стояли. А милые наши золотистые старички с мелодичным своим поскрипыванием и шатающимися ножками робко прижались к стенкам.

С тех пор, когда бы я ни заходил в комнату, мне становится всегда стыдно. Примостились к столу эти четыре самодовольных, наглых оккупанта и в ус не дуют, хозяева... Только иногда, по вечерам, разрешается старичкам придвинуться к столу, и то ненадолго, потом назад по местам, к стенкам... И если надо забить гвоздь в стенку или поправить оборвавшееся кольцо на шторе, то их, гадов, тоже не трогают, у них, мол, сиденья слишком нежные, а старички — ничего, вытерпят.

Кончился мир в этой комнате. И я ничего не могу поделать. Теряются карандаши, ложки, брошки, нужные номера газет. Иногда они находятся, иногда — нет. Но я-то знаю, что это неспроста. И трещина на желтом старичке, сосланном в коридор к телефону, тоже неспроста. Рвет брюки, щиплет за ногу, если сядешь на него в трусах. Мстят мне мои бывшие друзья. И фотопленка тоже мстила — не за себя, за других. И фотоаппарат тоже. Лента с берегами острова Медного оказалась совершенно прозрачной, ни одного кадра.

## Несостоявшаяся встреча

Второй день маемся у подножия Ключевской сопки.

Всю жизнь думал, что сопка — это нечто маленькое, не заслуживающее внимания, плюющееся грязью (сибиряки всякий даже холмик называют сопкой),— и вдруг оказалось, что сопка — это самый что ни на есть настоящий вулкан, изрыгающий по всем правилам огонь и лаву и по размерам не уступающий Казбеку.

Классических очертаний, точь-в-точь из учебника географии, Ключевская спокойно-торжественно высилась над покорно распластавшимися у ее ног Ключами. Слегка курился кратер — маленькое беленькое облачко на фоне бледного неба. Так простояла она целый день, потом ей вдруг надоело, и она закрылась тучами. Как раз когда мы решили подняться в воздух и посмотреть, как она выглядит в компании своих соратников. Вот и томимся второй день в ожидании, когда она смилостивится.

Живем у вулканологов в столовой. Спим в спальных мешках, днем бездельничаем. Новые наши друзья ушли на четыре дня в экспедицию. Роман от нечего делать ходит со своим магнитофоном, кого-то записывает. Единственная женщина нашей «экспедиции», жена Романа Лариса, как и положено женщине, занята стиркой и мытьем головы, мы же с Яном валяемся на траве.

Ян — чудесный парень. Он санитарный врач, альпинист, скалолаз и поэт. Кроме того, верный друг и редкой доброты человек. Какой он врач — я не знаю. Заведует чем-то по санитарной части в Ялте. Об альпинистских качествах его знаю от друзей — говорят, неплохие. А вот друг он отличный.

Сейчас, растянувшись на траве, он пишет стихи. Каждую свободную минуту он пишет стихи — в самолете, на привале, в столовой между первым и вторым, даже в приемной у секретаря райкома. Я читаю брошюру нашего хозяина, Александра Евгеньевича Святловского, директора вулканологической станции. Называется она «Вулканы и электростанции».

Век живи, век учись. Опять же всю жизнь думал, что вулканы — это что-то страшное, стихийное, засыпающее пеплом Помпею, а оказывается, и их приручить можно. Кое-где даже приручили. В Новой Зеландии, например, на вулканическом газе и паре вот уже сколько лет (с 1958 года) работает геотермическая электростанция мощностью 69 тысяч киловатт. Это примерно двадцать процентов всей вырабатываемой на островах электроэнергии. Сейчас в Новой Зеландии найдено месторождение вулканического пара, достаточное для постройки электростанции мощностью 250 тысяч киловатт. В будущем мощность ее предполагается довести до 400 тысяч киловатт (Днепрогэс — 650 тысяч киловатт), что полностью покроет потребность страны в электроэнергии.

Все-таки здорово! Стоит станция, никаких тебе труб, никакого дыма, никаких подъездных путей для подвозки топлива — все из-под земли, бесплатно.

Впервые, оказывается, подземные «паровые котлы» использованы были в Италии лет шестьдесят тому назад. Ни угля, ни нефти, ни полноводных рек в Италии нет, а вулканов много. Сейчас по использованию их энергии Италия на первом месте. Отапливается вулканами и маленькая Исландия. Рейкьявик — столица ее — полностью теплофицирован вот уже двадцать лет. В городе нет

печей и труб — тепло дают вулканы. Любой ребенок знает вкус отечественных бананов — их выращивают в теплицах. Бананы в преддверии Арктики — чудеса!

Ну, а Камчатка? Так же, как Италия и Новая Зеландия, она бедна энергетическими ресурсами. Зато вулканов не меньше, чем в Исландии. Там — тридцать, на Камчатке — двадцать восемь действующих. А на Курилах — тридцать девять. Почему бы и камчатскому пацану не пожевать бы собственных бананов, не сходить в баньку с подземной горячей водой? Пока, может, и рано об этом говорить, но на Южной Камчатке, в Паужетке, строится уже экспериментальная геотермическая станция, не очень большая — пять — десять тысяч киловатт,— но в конце концов важен первый шаг. А он уже сделан.

А давно ли в этих краях не менее экзотическим фруктом была картошка? Помню, как мы, когда я жил во Владивостоке (это было, правда, давно, двадцать пять лет тому назад), тосковали по картошке. Рис, рис, рис, иногда как высший деликатес — сушеная картошка. А теперь — пожалуйста, в любом продуктовом магазине Петропавловска сколько угодно картошки, с доставкой даже на дом. И не привозная, а своя, местная, камчатская. Даже на материк вывозят.

Тут, правда, вулканы ни при чем, все это дело рук человеческих, но до вулканов доберутся — такая дешевая энергия не может пропадать. Тем более что водную энергию на Камчатке использовать нельзя. В реках ее и озерах размножаются ценнейшие породы тихоокеанского лосося. Плотины и водохранилища нарушат режим рек, и рыба погибнет. Короче, без вулканов никак не обойтись...

...Меня клонит ко сну. Прикрыв лицо книгой, засыпаю. Хорошо. Ни ветра тебе, ни комаров, солнышко припекает. Век бы так валялся!..

Будит Ян. Он написал свои стихи, и ему хочется разговаривать.

— Слушай, а почему бы нам все-таки не заглянуть в кратер? А?

— Заглядывай.

— Нет, серьезно. За день управимся. Обидно все-таки добраться до вулканов и даже не заглянуть внутрь.

— А я с самолета загляну.

— «АН-2» выше четырех тысяч метров не подымается, а кратер...

— Так я в профиль на него погляжу.

Ян — альпинист, и ему хочется карабкаться в гору. Когда-то в юности я тоже этим увлекался, но сейчас я постарел, разленился и вполне разделяю Ромкину сентенцию: «Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет».

— И вообще, дорогой мой Ян, я видал фильм «Встречи с дьяволом» бельгийского ученого Тазиева, и с меня достаточно. До сих пор мурашки по коже пробегают...

Ян меня презирает, я это чувствую. Перед отъездом поклялись: подняться на вулкан и выкупаться в Тихом океане. Ни то, ни другое не выполнено. Мне стыдно, но, ей-богу же, чего это я за здорово живешь полезу в эти ледяные неуютные волны?

Наутро тучи рассеялись. С аэродрома позвонили: «Готовьтесь. Высылаем машину». Это все Николай Николаевич. Тот самый Николай Николаевич, что устроил нам поездку к дяде Ване. Удивительный человек!

Когда мы прибыли в Ключи, выяснилось, что гостиница (две комнаты и коридор, впритык уставленные крова-

тями) заполнена вдоль и поперек, а из местного начальства никого нет. Закутанная в платок девица из поссовета сказала:

— Позвоните на «Вулкан» Святловскому. А еще лучше — Николаю Николаевичу. Они вам помогут.

— А кто это Николай Николаевич?

— Большой здесь человек. Хозяин. Все может.

Роман снял трубку. Начал, как всегда, веско и убедительно, на низких нотах. Потом вдруг весело и несколько удивленно:

— Ну, спасибо, спасибо большое! Ждем, значит. — Он положил трубку и пожал плечами. — Странное все-таки начальство... Сказал, минут через двадцать придет в гостиницу. Видал такое? Большой человек называется...

Через полчаса мы уже сидели с «большим человеком» в пыльном дворике нашей гостиницы. Он действительно оказался большим, чуть-чуть начинающим полнеть, как это случается с перевалившими за сорок мужчинами, с приятной интеллигентной наружностью и удивительно веселыми, ироническими, совсем не начальническими глазами...

— Ну так что, ребята? Захотелось Камчатку посмотреть? Надоела цивилизация? МХАТы, Манежи, «Арагви» с люля-кебабами? Что ж, в добрый час. Чем могу служить?

Стараясь не очень зарываться, мы высказали свои пожелания, закончив их робкой просьбой о вертолете.

Николай Николаевич почесал затылок.

— Вот уж чего вам не советую, ну его... Давайте-ка лучше без него как-нибудь обойдемся.

Мы сразу же приуныли — очень уж хотелось на вулканы сверху поглядеть.

— Давайте лучше так. Завтра поезжайте к дяде Ване. Рыбка, уха, со стариком поговорите... А в понедельник с утра загляните ко мне, — тут он слегка подмигнул, — проверим вашу, так сказать, лояльность и, буде летная погода, отправим вас на добром, верном «АН-2». Всем спокойнее будет. Идет?

Ну что тут было сказать? Пригласить в ресторан? Постеснялись, да и вообще была суббота, и, судя по всему, Николай Николаевич собирался на охоту.

— Зверья здесь видимо-невидимо. Следующий раз приедете — без трофеев в Москву не отпущу...

Маленький четырехкрылый «АН-2», уютно стрекоча мотором, большими витками подымается вверх. Слегка потряхивает. Под нами Ключи. Они становятся все меньше и меньше, а река Камчатка — все больше и больше: сплетение рукавов, протоков, озер... Какая она большая, запутанная, ветвистая и какая красивая! Заливные луга и тайга — кое-где выжженная, сухая, в основном же темно- и светло-зеленая, густая, не везде и пройдешь. Вон там где-то, среди тихих озер, в зарослях цветущего жасмина живет наш дядя Ваня...

Еще выше. Приближаемся к Ключевской. Под низом уже не тайга, а сухая, безжизненная земля. Серая, бурая, с маленькими кратерами — нарывами. Их очень много, этих фурункулов, один раз прорвавшихся и засохших. Еще выше... Кругом облака — не сплошной массой, а рваные белые клочки ваты. Исчезает дымка первых полутора тысяч метров — очертания вулканов становятся четче, воздух прозрачнее.

Поднялись на четыре тысячи метров. Начинаем оги-

бать Ключевскую. Оставляем вправо ближайшую ее соседку сопку Плоскую. Впереди Камень, за ним Безымянная, еще дальше Зимина, Толбачик, Удина. К сожалению, Безымянную плохо видно — мешают облака, а это самый интересный из вулканов. Несколько лет тому назад он взорвался, и кратер его развалился. В музее вулканологической станции я видел множество цветных фотографий этого взрыва. Жутко и в то же время красиво... Клубы дыма, расплавленная лава, огненные, раскаленные бомбы, вырывающиеся из кратера. Светопреставление... Сейчас внизу тихо, спокойно. Застывшие реки лавовых потоков — бугристые, складчатые, мертвые... Вулканы спят. Только Ключевская чуть курится. Напоминает: «Не забывайте, люди, я тоже могу...»

А что знают люди о вулканах? Оказывается, вовсе не так уж много. До сих пор ученые спорят, откуда берется тепло. До центра земли так и не добрались. Что там? Расплавленная масса или ядро, состоящее из железа и силикатных пород, приобретших под влиянием большого давления свойства металлов? Так откуда же тепло? Когда-то думали — и я так всю жизнь думал, — что извержение вулканов — это вырвавшееся наружу через глубокие трещины в отвердевшей оболочке огненно-жидкое ядро земли. Теперь же ученые считают, что главной причиной образования внутреннего тепла замли является радиоактивный распад элементов урана, тория и калия-40. А земля по-прежнему вздыхает, трясется в конвульсиях, плюется огнем и раскаленными бомбами... Две из них, черные как уголь, пористые, похожие на окаменевшие губки, мирно лежат у меня сейчас на подоконнике рядом с дырявым, как решето, очень похожим на современную абстрактную скульптуру камнем, выброшенным волной

на остров Беринга, и еще одной жертвой вулкана — куском мозаичного пола из Помпеи...

Медленно проплывают мимо нас вулканы. Мрачные, угрюмые, сейчас безжизненные. Летчики делают крутые виражи, развороты, повороты, чтоб нам удобнее было снимать. Мы мечемся от борта к борту, залезаем в летчицкую кабину и все щелкаем, щелкаем своими «ФЭДами», «Зоркими», «Экзактами»...

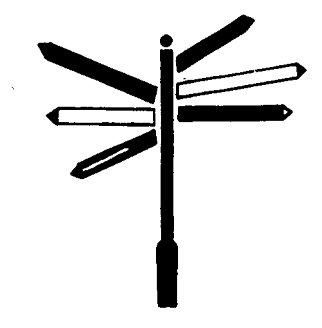
В кратер заглянуть так и не удалось — не под силу нашему самолетику. Ян на меня не смотрит. Обижен... С горя пишет стихи. О несостоявшейся встрече с дьяволом...

Ну и бог с ним, с дьяволом! — думаю я.

Через две недели прощаюсь с Камчаткой.

Последнее впечатление — после проводов, объятий, поцелуев, рукопожатий — густое, клубящееся море облаков и, точно одинокие острова на нем, черные конусы вулканов. Это уже другие, это стражи Петропавловска — Вилюй, Авача, Корякский...

Незаметно, чтоб в самолете никто не увидел, машу им рукой. До следующего раза!



# СЛУЧАЙ НА МАМАЕВОМ КУРГАНЕ

Что сулят встречи с прошлым, с молодостью? Нужны ли они? Что ощущаешь ты, например, когда на улице тебя окликает некто с брюшком, лысиной, одышкой, и оказывается, что это не кто иной, как Венька Шустрый, в свое время появлявшийся в классе преимущественно через окно, по водосточной трубе? Что ощущаешь ты?

С грустью вспоминаю я случай, когда один мой приятель, ныне ленинградец, приехав в Киев, решил устроить встречу одноклассников.

Что ж, все говорили потом, что получилось все очень мило, что приятно все же через столько-то там лет повидать друг друга, вспомнить прошлое, учителей, всякие там проказы, что в общем-то мы все мало изменились, во всяком случае внутренне, душевно. Действительно, все было очень мило — вспоминали, разглядывали фотографии, погоревали об ушедших, а потом, когда сели за стол, выяснилось, что водки-то можно было и не покупать. Зато минеральная вода была нарасхват.

Часов около одиннадцати, похлопывая друг друга по

спинам, расстались, условившись завтра обязательно встретиться на Владимирской горке и всем вместе сфотографироваться. Я знал, что «старики» на меня обидятся, но не пошел — не смог.

Нет, не поддавайтесь искушению, не возвращайтесь на места, где вы провели детство, не бродите в одиночку по аллеям, где когда-то ходили в обнимку, не восстанавливайте искусственно былых отношений, не встречайтесь с давно ушедшим. Даже единственное в таких случаях спасение — юмор и тот не спасает.

Все это я знал, когда брал билет на турбоэлектроход «Россия», шедший рейсом Москва — Ростов-на-Дону с остановками в крупных портах, в том числе в Горьком, Куйбышеве, Саратове, Сталинграде.

Сталинград... Вот что меня ожидало и чего я несколько опасался. Однажды я уже с ним встречался после войны, и радости эта встреча мне не принесла. Сейчас я подсознательно боялся этой второй встречи, а может быть, просто предчувствовал, что со мной в этот приезд и должна произойти та удивительная история, о которой пойдет речь впереди. Так или иначе, но я долго колебался, прежде чем взял билет. Но уж больно соблазнительна была неожиданно подвернувшаяся поездка по Волге: ну как откажешься от такой счастливой возможности — сочетать отдых с работой? Все лето я проторчал в городе, в суете и в жаре, не имея возможности сесть за работу, а сроки ее неумолимо надвигались. Короче, я плюнул на все и взял билет.

Жалею я сейчас об этом или нет? Трудно ответить. И да и нет. Скорее все же нет. По натуре своей я не люблю неожиданностей, предпочитаю покой и тихую, размеренную жизнь. Но именно поэтому, очевидно, и нужны

иногда встряски, может быть, не такие энергичные и труднообъяснимые, как та, что со мной произошла, но все же нужны.

Одним словом, билет я взял и в назначенное время явился на теплоход, стараясь не думать об ожидавшей меня встрече с далеким прошлым.

Та, предыдущая встреча, о которой я упоминал, произошла летом 1950 года, ровно через семь лет после окончания войны в Сталинграде. Приехал я туда в командировку, но, как и всякий другой на моем месте, с аэродрома ринулся прямо на Мамаев курган.

За годы разлуки он не изменился. И вокруг почти ничто не изменилось. Стройка шла в городе, на заводах, здесь же все было по-прежнему. Сухой, некрасивый, заросший кустарником курган походил на самого себя, каким он был в июле сорок второго года, когда я впервые его увидел, попав в Сталинград, после всем памятного нам отступления из-под Харькова. Даже крохотный восстановленный поселочек у его подножия выглядел точно так же, как в то жаркое, удушливое лето.

Не торопясь, то и дело останавливаясь, я подымался по знакомому мне оврагу, кратчайшему и наименее опасному пути на передовую, вышел на нейтральную полосу — жалкие шестьдесят метров, отделявшие нас от немцев,— и огляделся по сторонам.

Война не ушла еще отсюда. Окопы обвалились, обмелели, заросли травой, но они были. И ржавые патроны, гильзы, каски, котелки, штыки, затворы, пулеметные ленты, истлевшие портянки из вафельных полотенец... И кости... То тут, то там белели в траве черепа — теперь уж не поймешь, где русские, где немцы. Уходя в марте сорок третьего отсюда, мы похоронили всех павших, но

грунт был мерзлый, закапывали неглубоко — за семь лет размыло дождями, развеяло ветром...

С кургана я возвращался подавленный и разбитый. Внизу, в городе, рычали бульдозеры, двигались краны, с красных полотнищ и в репродукторы призывали сталинградцев досрочно восстановить родной город-герой, а здесь, на забытой передовой, до сих пор царила смерть. В обкоме я встретил смущение и растерянность — что поделаешь, до всего руки не дотягиваются, за всем не углядишь.

Всю эту печальную историю я рассказал вовсе не для того, чтобы разбередить старые, зажившие уже раны, а чтобы объяснить, почему я колебался при покупке билета и почему в последнюю перед Сталинградом ночь — а «Россия» должна была прийти туда в пять часов утра — я промаялся на палубе, не находя себе места.

Весь путь от Москвы до Сталинграда я провел в одиночестве. У меня была прекрасная отдельная каюта, в которой можно было отгородиться от всего света, радио на пароходе почему-то не работало, персонал был обходительный, приветливый, пассажиров не много и тоже какие-то не шумные, преимущественно преклонного возраста, дремавшие на палубах в шезлонгах или разглядывающие в бинокль берега. По утрам, до завтрака, я работал, потом тоже устраивался в шезлонге, читал «Семью Тибо», на стоянках в одиночестве бродил по улицам незнакомых городов или валялся в трусах на прибрежных пляжах, любуясь Волгой,— стоял конец сентября, но жарко было по-летнему. Чувствовал я себя безмятежно, как может чувствовать себя человек, которому некуда торопиться и который знает, что до него никто не доберется.

После Саратова я почувствовал вдруг беспокойство.

Работа застопорилась. «Тибо» показались скучными и растянутыми, пассажиры стали раздражать — как им не надоедает круглосуточно спать, стучать в «козла» и бегать на каждой остановке на пристань покупать жратву.

После ужина я попытался сесть за письма, но они получались какими-то вымученными, с плоскими сентенциями и жалкими потугами на остроумие. Я их порвал и пошел в буфет. Там было пусто. Буфетчица что-то подсчитывала за своей стойкой. Попытка заговорить с ней — толстой, вялой, с ярко накрашенными губами — успехом не увенчалась. С пожилым, бухгалтерского типа человеком, пришедшим за минеральной водой, самому общаться не захотелось, зато, когда перед закрытием буфета появились два молоденьких солдата, я насторожился. Они долго подсчитывали деньги, о чем-то шептались, искоса поглядывая на меня, наконец взяли бутылку портвейна. Этим они решили свою участь.

Через полчаса, взяв в буфете подкрепление, мы удалились в мою каюту.

Ребята оказались очень славные. Оба волжане, белобрысые, коротко стриженные, подтянутые, в белых подворотничках — оба демобилизовались и ехали домой,— они поминутно поправляли складки своих гимнастерок и очень стеснялись. Зато я говорил. И конечно же о войне, о Сталинграде.

Я до сих пор краснею при воспоминании об этом вечере. Я говорил без умолку. Вспоминал различные эпизоды, товарищей, разъяснял обстановку, рисовал какие-то схемы, а главное, рассуждал. Ребята деликатно жевали колбасу, очень внимательно, не перебивая, слушали меня, но больше всего, по-моему, хотели спать. А я все говорил, говорил, в чем-то их убеждал, что-то доказывал, время

от времени задумываясь и произнося многозначительное «м-да»...

Когда ребята ушли — а сделали они это как-то разом, поднявшись и сказав: «Нам пора, спасибо большое»,— я почувствовал вдруг стыд, особенно оттого, что настойчиво и неоднократно предлагал им пойти со мной на Мамаев курган. «Я там полковым инженером был, я там все знаю»,— а они переглядывались, благодарили, а потом вот встали и сказали, что им пора.

Всю ночь я не мог заснуть. Бродил по палубе, пытался вздремнуть в шезлонге, смотрел на берега. Прошли Дубовку, Пичугу. Осенью сорок первого года мы сюда пришли — запасный стрелковый батальон — и простояли всю зиму. Копали мерзлую землю, кололи чучела, разбирали и собирали винтовку, потом солдат отправили в Крым, а нас, командиров, разбросали по частям, готовившимся на фронт. Это было перед весенним наступлением на Харьков...

Все сейчас было неузнаваемо — ГЭС все изменила.

В Сталинград мы пришли точно по расписанию, ровно в пять. Торопливо, боясь встретить своих солдат, я спустился на берег.

В Сталинграде я был и до, и во время, и после боев. Я хорошо помню его во всех стадиях, во всех видах. Помню унылым, заснеженным, глубоко тыловым, с толкучкой, где я покупал своим бойцам рукавицы, с офицерской столовой возле универмага, казавшейся лучше всех ресторанов; помню июльским, прифронтовым, с зенитками в скверах, подбитым «юнкерсом» на площади Павших борцов, с вереницами раненых из-под Калача и Абганерова; помню памятный всем день 24 августа, день первого массированного налета, когда кругом все рушилось и

пылало; помню последний день, когда мы уходили из города,— руины, снег, греющихся у костров пленных и трупы, трупы, тысячи, десятки тысяч трупов — не было сил их убрать...

Сейчас передо мной был громадный, незнакомый и совершенно чужой город. От старого не осталось ни следа, разве что универмаг, затерявшийся среди новой планировки.

Что ж... Так оно и должно быть. Прошло почти четверть века. На месте руин, мертвого города вырос новый, живой, с не очень красивыми, но большими домами, новыми улицами, новыми названиями, новыми людьми.

Я поднялся по широкой, парадной лестнице, украшенной колоннадой, и вышел на площадь Павших борцов. Посреди — разросшийся сквер, вдали силуэт вокзала с башней и шпилем. Все очень торжественно, в стиле сороковых годов. Пусто. Еще очень рано, к тому же, кажется, воскресенье — народу почти нет. Не жарко. И ветра нет,— значит, и пыли.

До Мамаева кургана иду пешком, трамваи еще не ходят. Впрочем, я все равно пошел бы пешком.

Иду по проспекту Ленина. Когда-то он был проспектом Сталина. До войны его вообще не было. Он очень широкий, длинный и тянется вдоль Волги до самого Тракторного завода. Направо и налево дома, дома, дома... «Гастроном». «Ткани». «Обувь». «Культтовары». Опять «Гастроном». Кое-где на бетонных постаментах орудийные башни «тридцатьчетверок» — линия фронта...

Дом Павлова... Очень обыкновенный, выкрашенный в розовую краску, такие строили в тридцатые годы. На нем мемориальная доска, перед ним все та же башня с «тридцатьчетверки». Кругом новые дома — площадь Сол-

датской славы. Надписей на доме никаких, а когда-то было очень много, снизу доверху,— сейчас все замазано розовым.

Постоял и пошел дальше.

Скоро будет завод Метиз — левый край нашей обороны. За ним большой пустырь и мясокомбинат. В мясокомбинате был КП первого батальона. Направо, к Волге, сожженный поселок, нефтебаза — она очень долго горела, заслоняя солнце черным сплошным облаком. Налево железная дорога и Мамаев курган. Участок между сожженным поселком и железной дорогой можно было преодолеть только ночью — он простреливался вдоль и поперек. Чуть левее и ближе к Метизу стояли трамвайные вагоны... Все это было очень давно — двадцать три года тому назад...

Дойдя до мясокомбината, решил вдруг — а почему не зайти? Авось сохранилось кое-что из прошлого? В подвалах, например, где был КП...

У проходной обычная история — кто, да что, да по какому делу. Вахтер полон подозрения, но все-таки кому-то звонит.

В прошлый мой приезд нечто подобное произошло у меня на ТЭЦ Тракторного завода. Требовался отдельный пропуск, долго куда-то звонили, я тряс документами, и только после не менее чем полуторачасовой процедуры меня туда пустили. Самое смешное во всей этой истории было то, что в сорок втором году, когда немцы рвались к Тракторному, судьба ТЭЦ была буквально в моих руках — рубильник от проводов, которые шли к взрывчатке, разложенной под всеми агрегатами ТЭЦ, находился у моего изголовья,— от одного моего движения зависела жизнь и смерть электростанции.

После очень основательного выписывания пропуска — крупным каллиграфическим почерком переписывается буквально весь текст моего паспорта — я попадаю к замдиректора, обходительному немолодому человеку, который, против ожидания, сразу понял, какими чувствами я обуреваем. Вызвав кого-то из своих помощников, он так ему и сказал:

— Ознакомь товарища с процессом, не очень утомляя его, а потом покажи, как пройти в подвальное помещение — у товарища с ним связаны личные героические воспоминания.— Он понимающе улыбнулся мне.

Помощник — молодой парень в спецовке — выполнил указание в точности: процессом не утомил, из вежливости поинтересовался, как мы здесь воевали, и на прощанье предложил фонарик.

— Там у нас, мягко выражаясь, захламлено малость. Если хотите, могу проводить...

— Что вы, зачем? — воспротивился я.— В те годы там паркет тоже не каждый день начищали...

Он улыбнулся. Мы распрощались, и, вооружившись фонариком, я стал спускаться по темной лестнице. Тогда эта лестница тоже существовала, но ею не пользовались, в КП куда проще было попасть через подвальное окно и люк в полу.

Люк этот я не сразу обнаружил. Помещение, в котором он находился, действительно было малость захламлено, и мне пришлось порядком-таки повозиться, пока я не расчистил вход в подвал. Крышка тоже не сразу открылась, но с помощью железной рейки я ее победил. По скрипучей, по-моему сохранившейся еще с того времени, деревянной лестнице я осторожно спустился вниз.

Теперь надо было пройти нечто вроде длинного кори-

дора, вдоль которого тянулись трубы, и в конце его должна была быть железная дверь, а за ней тот самый подвал, где был КП первого батальона.

КП находился здесь довольно долго — с августа сорок второго, когда немцы захватили водонапорные баки на вершине кургана, до конца ноября: с переходом в наступление нашу дивизию передислоцировали правее, к высотке Безымянной. В свое время я сюда довольно часто наведывался — батальоном командовал отчаянно смелый, лихой капитан Беньяш. Это был удивительно красивый, кудрявый, веселый парень, гроза немцев и окрестных санинструкторш. Это у него на КП, в этом самом подвале, устраивались концерты, и мы, штабные поверяющие, под любым предлогом приходили «поверять» именно этот батальон. В конце октября или начале ноября Беньяш погиб. Погиб по-глупому, от случайной мины, во дворе мясокомбината, где он назначил свидание одной из своих поклонниц. Мы долго оплакивали его. Похоронили на высоком волжском берегу, а когда в Сталинграде кончилась война, на могиле поставили памятник. Сделали его наши полковые саперы по моему эскизу. Это был первый памятник в Сталинграде. Он хорошо был виден с Волги. Сейчас его нет: он был деревянный.

Итак, я спустился по лестнице и двинулся по длинному коридору с трубами. Как ни странно, но здесь был сравнительно больший порядок, чем там, наверху, вернее, меньший беспорядок. В одном месте у стены стояло десятка два ящиков, очень похожих на патронные. В свое время они назывались цинками. Я раскрыл один из них и, к великому своему изумлению, обнаружил, что он полон патронов. Поразительнее всего было то, что у них был совершенно свежий вид, точно их только что при-

несли. Даже масло не просохло. Подумать только, за все эти годы никто не удосужился сюда спуститься. Я мысленно представил себе, как торопились хозяева этого подвала, покидая насиженное место, и практичный старшина, взглянув на ящики, махнул рукой: «А ну их, таскаться еще... На новом месте дадут новые». Так и пролежали они здесь двадцать три года...

Подходя к железной двери — она тоже сохранилась такой, какой была,— я почувствовал легкое волнение, будто был я здесь совсем недавно, только вчера, и что сейчас, как и вчера, мы с Беньяшем или его начальником штаба отправимся на передовую проверять огневые точки, а может, никуда и не пойдем, а будем пить чай и крутить патефон — у Беньяша полно было пластинок.

Я толкнул дверь...

В жизни каждого человека есть периоды, в памяти не задерживающиеся, есть периоды провалов, но бывают дни, которые запоминаешь с первой до последней минуты, запоминаешь каждую деталь, каждую мелочь, каждое произнесенное слово, каждую мелькнувшую у тебя мысль. К этим дням я сейчас и подошел. Всю мою жизнь, до последнего дня, они будут стоять перед моими глазами ясные и четкие, как на экране, хотя я никогда так и не узнаю, когда же это произошло — вчера или двадцать три года назад...

В тот самый момент, когда я толкнул дверь, над головой у меня грохнуло что-то очень тяжелое, и с потолка посыпалась штукатурка. Похоже было, что где-то вверху разорвался снаряд порядка 152 миллиметров. От непривычки я вздрогнул, очевидно, или попятился.

— Э-э, капитан, да ты у нас, видать, нервенный...

Сказано это было без всякого желания обидеть, с юморком, и я сразу узнал голос. Полулежа и подперев одной рукой голову — любимая его поза,— на меня с нар глядел из-под упавших на лоб черных завитков кудрей веселыми, живыми глазами капитан Беньяш.

— Давай-давай заходи, не стесняйся. Мы сегодня тебя по-царски встретим. Кое-чем разживились.

Вверху опять что-то разорвалось, но, кроме меня, никто не обратил на это внимания...

Первое невольное ощущение у меня было, что я присутствую на киносъемке фильма об Отечественной войне. Но ни операторов, ни режиссеров, ни «юпитеров» не было. Подвал освещен был большой керосиновой лампой, очень уютной, с зеленым абажуром. Свет от нее падал на шахматную доску, стоявшую на нарах между комбатом и его замполитом, статным, всегда подтянутым грузином, фамилию которого я никак не мог припомнить. В углу при свете коптящей артиллерийской гильзы сидел и что-то читал молоденький, очень рябой связист с подвешенной к голове трубкой. В другом возился старшина — перебирал белье. Двое или трое бойцов, укрывшись шинелями, спали на полу, подстелив под себя войлок. Лампа с абажуром стояла на столике возле комбата. Столик этот я хорошо помнил — изящный, легкий, на гнутых ножках в виде львиных лап. Над ним висело большое зеркало в золотой раме с амурчиками и венками. В зеркало была воткнута фотография какой-то девицы в кудряшках. Вряд ли это была жена Беньяша,— по-моему, он был холост.

Я мог бы со всеми подробностями описать сейчас всю обстановку подвала, вплоть до даты — 5 октября — на табель-календаре, висевшем между зеркалом и вырезан-

ным из журнала портретом Сталина в маршальском мундире. Но я не хочу отвлекаться от основного. Скажу только, что именно портрет Сталина привлек мое внимание, и Беньяш, заметив это, мимоходом уронил, вставая со своих нар:

— Ничего, ничего, не осудит... Выпьем?

Беньяш никого на свете не боялся, даже своего замполита. Уверен, что он и перед самим Сталиным стоял бы, как позволял себе стоять перед командиром полка или дивизии, — не вытянувшись в струнку, а свободно, расслабив одну ногу, с высоко поднятой головой и чуть-чуть согнутыми в локтях и сжатыми в кулаки руками. Ни разу ни от кого он не получил за это замечания, даже от Чуйкова, а тот не отличался любовью к вольностям.

Враскачку, как моряк на берегу, Беньяш прошел через весь подвал, порылся в углу и вернулся с бутылкой коньяка. Коньяк был французский, «мартель», с множеством медалей и гербов на этикетке.

— Для знатоков держу.— Он срезал ножом колпачок и одним ударом выбил пробку. — И лимончик дам. Нарежь-ка, Сидоренко. И сахару натолки. Мы с тобой сейчас, инженер, по всем правилам все сделаем. Вилочки, ножички, скатерть постелим... — Он иронически взглянул на замполита. — А ты чего лыбишься? Вам, брат, нельзя, не положено, примером для бойцов должны быть... — И подмигнул мне: — Садись, инженер. Что ты сегодня как в воду опущенный? Не узнаю. Нагорело, что ли?

Вид у меня был, очевидно, очень растерянный. Я подсел к столику и только сейчас увидел в зеркале, что на мне гимнастерка, расстегнутая телогрейка, а лицом я похож на свою фотокарточку из офицерского удостоверения — ни усов, ни морщин, ни мешков под глазами. По-

том я несколько раз ловил себя на том, что поглядываю все время в зеркало, — в последнее время, особенно в парикмахерских, это не доставляло мне удовольствия, сейчас же было даже приятно. Я как-то даже осмелел.

Что ощущал я в эти первые минуты? К концу дня я как-то привык к своему противоестественному положению (именно «как-то», другого слова не нахожу), но в первую минуту у меня было желание рвануться назад, вскарабкаться по скрипучей лестнице и найти того парня в спецовке — кстати, фонарик я его до сих пор сжимал в руках.

— А ну покажи, покажи.— Беньяш протянул руку за фонариком. — Где достал? Ты смотри, китайский...

— Китайский... — сказал я, и это было первое, что я произнес.

— Мелитон, смотри, китайский фонарик. Своих, фрицевских, не хватает!

Замполит подошел, взял его в руки, и оба они долго возились с ним, пуская луч в разные стороны и восторгаясь его силой. Потом его рассматривали старшина и связист. Я невольно пожалел, что оставил в каюте свой маленький транзистор «Сокол».

— Ну ладно,— сказал Беньяш.— Хватит баловаться. Пора за работу. Это все разведчики мои.— Беньяш кивнул в сторону спавших в углу бойцов.— Сделали ночью небольшую вылазку и раскулачили офицерский блиндажик. Небось никогда не пил такого, а?

Такой или приблизительно такой я пил в Италии, но это было пять лет тому назад или, наоборот, лет пятнадцать спустя.

— Коньяк приличный,— сказал я, и мы выпили еще по одной.

Беньяш сжалился над замполитом и дал ему тоже попробовать. Затем старшине и связисту. Все хвалили коньяк, закусывали лимоном, и некоторое время мы говорили о различных напитках, сравнивая их качество и силу воздействия.

Черт его знает, о чем же говорить. Треплюсь о ерунде, а хочется о другом. Ведь я так много знаю. И чем все это кончится, и как долго продлится, и что будет потом. Но как заговоришь? И главное, как уберечь Беньяша от того, что его ждет? Как его предупредить, как удержать?

Позвонили из штаба. Спросили про обстановку.

— Да ничего, тихо,— сказал в трубку Беньяш.— Пока не лезут. Ночью собираюсь... Кстати, у меня тут инженер. Погоди, не бросай трубку.— Он повернулся ко мне.— Слушай, у тебя мины есть какие-нибудь там? Мне в одном месте надо было бы поставить, разрыв получился.

Я растерялся — есть у меня мины или нет?

— Ладно! — крикнул в трубку Беньяш.— Разыщи сапера, выясни насчет картошки, и пускай он сюда позвонит.

Так началась моя вторичная служба в армии.

Хуже всего было то, что я все перезабыл. Забыл названия и характеристики мин, забыл, как составляются отчетные карточки на минные поля, как обращаются со взрывателями — одним словом, все забыл. В конце концов это было не очень важно: мой командир взвода — а он к вечеру пришел с двумя саперами и мешком противопехотных мин — во всем отлично разбирался, и на него можно было положиться. Но в общем-то чувствовал я себя идиотом. Мучительно пытался вспомнить все касавшееся октября сорок второго года. Весь сентябрь я пробыл на Тракторном заводе, готовя его к взрыву,

потом нас с этого дела сняли, сколько-то там дней я провел на левом берегу и где-то в конце сентября попал в эту дивизию, в этот полк. Значит, я здесь совсем недавно, дней десять, не больше. На календаре у Беньяша крестиками зачеркнуто все до 5 октября. Сколько же у меня было тогда саперов? Еще порядочно. Сейчас, по-моему, они должны были рыть в крутом волжском берегу землянки для командира полка и штаба. Из дальнейшего разговора с Лисогором, моим командиром взвода, выяснилось, что это так и есть,— одну почти совсем закончили и обшивают досками, ко второй только приступили. Кроме того, он мне сказал, что вечером ожидается партия лопат и киркомотыг — приходил связной от дивинженера — и что надо их не прозевать, чтоб не расхватали соседние полки. Я знал, к чему он клонит,— свалить минные поля на меня, а самому вернуться на берег: он не очень-то любил передовую. Я на это пошел и отпустил его — в конце концов он привел двух лучших минеров, Шушурина и Сагайдака, а сам он был незаменим в хозяйственных делах, и, если мы хотим иметь побольше лопат, на берег должен идти он, а не я.

Перед самым своим уходом он обнаружил коньячную бутылку и стал делать круги вокруг Беньяша. Но тот сразу дал понять, что из этого ничего не выйдет.

— Есть еще одна. Но откроем мы ее только после того, как будет поставлено минное поле. Ясно?

Лисогор покрутился-покрутился и ушел. Это было вечером, часов около восьми.

До этого я прилично выспался. Всю ночь на теплоходе я почти не спал, поэтому, когда беньяшевский старшина — пожилой, обстоятельный усач — предложил мне тюфячок и одеяло, я с готовностью ими воспользовался.

Говорят, днем была небольшая бомбежка, но я ничего не слышал, спал как убитый.

Проснулся оттого, что кто-то деликатно, но настойчиво тряс меня за плечо. С трудом раскрыл глаза — передо мной Валега, мой связной.

— Обед принес, товарищ инженер. Кушать пора.

Я с аппетитом уничтожил полкотелка перлового супа и котлеты из офицерской столовой и, только отдавая Валеге котелок, понял, что все еще больше осложняется. Валеги-то у меня в Сталинграде не было. Был Титков, а Валега появился только летом сорок третьего года, когда я из госпиталя попал в саперный батальон. В Сталинград же, вернее «в окопы Сталинграда», я его перевел уже после войны, пользуясь своим писательским всемогуществом,— об этом я даже написал потом небольшой очерк в «Новом мире» — «Три встречи». И вот, пожалуйста, стоит сейчас передо мной маленький, головастый, как всегда угрюмый и недовольный моим поведением — почему ушел в первый батальон без него, непорядок...

Я растерялся, но все же мимоходом спросил о Титкове: где он, чем сейчас занимается.

— Как где? — удивился Валега.— Вы ж его сами в медсанбат отправили. У него ж желтуха...

Так, желтуха... В Сталинграде многие тогда болели желтухой. Желтухой и куриной слепотой — от отсутствия каких-то там витаминов,— но я что-то не припомню, чтоб Титков когда-нибудь чем-нибудь болел — здоровенный сибиряк, никакая хвороба его не брала.

Сложный ход моих мыслей нарушило появление разведчиков. Не батальонных, а полковых. Явилось их четверо — три бойца и их командир Фищенко. Все четверо были в тельняшках, выглядывавших из-под гимнастерок,

а командир к тому же и в бескозырке. Вид у всех был лихой, особенно у Фищенко. Кургузая, на три пальца ниже пупка, гимнастерка, черный моряцкий ремень, хромовые сапожки, собранные в гармошку, и фрицевская финка с пупыристой костяной ручкой на боку. На другом боку, вернее на заду,— «вальтер» в изящной кобуре, но без немецкой цепочки-шомпола: к тому времени она слишком вошла в моду, и знатоки высшего фронтового шика «сняли ее с вооружения». Все четверо были великолепны. «Великолепная четверка»...

Сняв автоматы, молча расселись на нарах.

С Ванькой Фищенко в те дни мы из-за какой-то ерунды поцапались. Я как старший по званию и возрасту — ему было тогда девятнадцать лет — отчитал его, повернул «кругом, шагом марш!», и он долго мне этого не прощал. Год спустя мы оба были ранены под Голой Долиной на Донце, попали в один госпиталь в Баку, и там он признался мне, что собирался со своими разведчиками сделать мне темную, «чтоб не был таким разумным, интеллигента кусок».

Сейчас он сидел на нарах, расставив колени, и на меня не глядел, насупился. Мне стало смешно. Ведь мы с тобой, гад этакий, в госпитале потом четыре месяца провалялись и никакой водой, никаким брандспойтом разлить нас нельзя было, а после войны три года ты прожил как миленький у меня на диване, когда учился в техникуме, и в этом году прислал мне к 9 мая поздравительную телеграмму великолепного содержания: «Пью победу твое здоровье ты же понимаешь Ванька». А сейчас, кривоносая твоя морда, сидишь и глаз в мою сторону не подымаешь.

Сложность ситуации усугубил Беньяш. Оказывается,

разведчики были вызваны им, чтоб обеспечить мне установку минного поля, проверить участок разрыва между второй и третьей ротой. Я невольно подумал, а не в этот ли самый раз мы с Ванькой и поцапались — может, во второй раз удастся этого избежать? Но потом вспомнил, что ссора наша произошла не на передовой, а на берегу. Так или иначе, но часам к двенадцати вся наша восьмерка — четверо разведчиков, я с саперами и обязательный во всех случаях Валега — отправилась на передовую.

До этого ничего особенного не произошло — немцы вели себя тихо, устроили себе, по-видимому, выходной. Раза два звонили из штаба. Звонил и Лисогор — хвастался, что объегорил соседние полки, взял больше инструментов, чем положено, и успел уже три лопаты обменять на ножницы для резки проволоки, которые у нас сперли, и немецкий автомат.

Когда мы уходили, Беньяш похлопал меня по плечу:

— Вернетесь с победой — ставлю угощение. Учти, участок этот между ротами — паршивый участок, ракет там фрицы не жалеют.

Что и говорить, я волновался. Все-таки последний раз ставил мины двадцать три года тому назад, и, хотя перед отходом заставил Шушурина и Сагайдака в порядке, так сказать, тренажа снарядить и разрядить несколько мин, противное чувство страха не покидало меня. Я понимал, что это глупо, что убить меня не убьет, дожил же я до конца войны, и даже не ранит — ожидает меня это не скоро, в июне будущего года,— и все же, что поделаешь, волновался, как необстрелянный новичок.

Подымаясь из подвала по скрипучей лестнице, я невольно поймал себя на том, что втайне надеюсь застать там, наверху, в мясокомбинате, все таким, каким оно

было утром — тихим, мирным, с въезжающими и выезжающими машинами, с ругающимся, занудным вахтером. Увы, ничего этого не было — только посеченные осколками стены и воронки от мин...

Весь путь до передовой мы прошли довольно быстро. У длиннющего разбомбленного железнодорожного состава с солью по всем правилам устроили небольшой перекур. Пять месяцев спустя, когда мы будем покидать Сталинград, бойцы моего взвода под руководством Титкова набьют свои сидора прозимовавшей всю зиму солью и потом, на Украине, будут бойко ее обменивать на молоко, сметану, творог... А потом, в пятидесятом году, нет, позже, когда мы снимали здесь фильм «Солдаты», мы с ребятами из группы где-то у этой насыпи тоже перекуривали, и конечно же я рассказывал про этот путь от мясокомбината на передовую, а потом наверху, у водонапорных баков, сфотографировались на память.

Вот так-то... А теперь опять иди на передовую, растыкивай эти чертовы мины. Тьфу!

Собственно говоря, я мог и не ходить устанавливать мины — это не входит в обязанность инженера,— но то ли хотел себя проверить, то ли просто растерялся и не знал, как поступить, чтобы не уронить свое достоинство,— так или иначе, но пошел. Думаю, что я скорее мешал саперам, чем помогал, но в общем все сошло благополучно и без потерь: мины мы расставили и даже нашлось к чему их «привязать» (самое сложное дело на передовой, где нет ориентиров), потом разведчики, как всегда, отправились к артиллеристам, саперов я отослал домой, а сам завернул в третью роту — растянул связки на правой ноге, хотелось потуже обмотать щиколотку.

Молоденькая санинструкторша — очень хорошенькая,

лет восемнадцати, не больше, почему-то я ее совсем не помнил,— быстро и ловко обмотала мне ногу.

— А где командир роты? — спросил я. Фамилию я назвать не решился — забыл, кто в это время командовал ротой.

— Сейчас придет, с минуты на минуту,— ответила санинструкторша и вопросительно посмотрела на меня.— Чайку вам дать? Крепенького?

Я не отказался. Пока она заваривала чай, позвонил Беньяшу и сказал ему, что картошка посажена.

— Приветствую и поздравляю. Заслуженная награда ждет. Не задерживайся.

Но воспользоваться ею, увы, мне так и не пришлось. И Беньяша я тоже уже больше не увидел. Меня до сих пор грызет совесть: битых два часа просидели мы с ним, говорили о всякой дребедени, а о самом главном, о том, что его ждет через месяц и как от этого уберечься, об этом толком-то мы и не поговорили. А как об этом скажешь? И что скажешь? Не назначай свидания санинструкторшам? Или назначай их в защищенном месте? Береги себя? Переходи в другой батальон? Перенеси КП? Это последнее — единственное, что я мог ему посоветовать, но достаточно мне было тогда об этом заикнуться, как Беньяш тут же поднял меня на смех:

— Да таких хором во всем Сталинграде нет. Ты что, спятил? У самого Чуйкова и то нет. Ютится где-то там на берегу, в трубе, а у нас хоть ансамбль песни и пляски приглашай. И перекрытие, дай бог, бетонное... И вообще я, как кошка, привыкаю к месту...

Что я мог ответить?

Итак, чай был приготовлен, разлит по алюминиевым кружкам, и в этот момент явился командир роты.

За те несколько часов, что прошли до его прихода, меня мучило главным образом неполное совпадение прошлого с тем, что происходило сейчас. С самим фактом возвращения в прошлое я как-то примирился (после кибернетики меня ничем уже не удивишь), но какая-то неточность в происходящем, какие-то сдвиги (одновременность существования Титкова и Валеги, например) то и дело сбивали меня с толку. Появление командира роты еще больше спутало карты.

В землянку, тут же за что-то зацепившись шинелью, неловко, как-то бочком втиснулся высокий узкоплечий лейтенант в очках, в каждом движении которого видно было, что это человек сугубо гражданский. Я его сразу узнал. Узнал и обомлел. Это был Фарбер.

Здесь я вынужден несколько отвлечься. Я упоминал уже о написанном несколько лет тому назад очерке «Три встречи». В нем шла речь о моем связном Валеге, вернее о трех Валегах — о действительно существовавшем, о его литературном двойнике из повести «В окопах Сталинграда» и о воплощенном на экране артистом Соловьевым в фильме «Солдаты». Каждый из них существовал сам по себе и в какой-то степени заслонял и подменял собой другого. В очерке я пытался разобраться в их взаимоотношениях, но, кажется, запутал все дело еще больше. Вряд ли в этом вообще можно разобраться. Более того, встреться мы трое — я, живой Валега и Юра Соловьев,— боюсь, что даже тогда мы не распутали бы этого сложного клубка, вероятнее всего, еще больше запутали бы. Но не в этом дело.

Дело в том, что такая встреча могла бы состояться. Могла, хотя о судьбе живого Валеги (а я все еще надеюсь, что он жив) я до сих пор ничего не знаю. Но так

или иначе встреча эта теоретически вполне реальна. И тут я возвращаюсь к Фарберу. С ним такая встреча исключена. Исключена по той простой причине, что он слеплен из нескольких людей, виденных мною в разное время и в разных местах. И вот он передо мной. Втиснулся в землянку, протер очки и сел со мной за один стол, вернее за снарядный ящик, покрытый клеенкой.

— Вы долго меня ждали? — спросил он.

— Да нет. Минут пять, не больше.

— А я пулеметы ходил проверять. Один опять из строя вышел. Придется в артмастерскую тащить. Третий раз уже. Все заедает там что-то...

Я почувствовал, как мурашки забегали у меня по спине. Я узнал этот голос, эту манеру говорить, эти длинные пальцы, эти глаза — умные и грустные, этот взгляд — иногда растерянный, иногда уходящий куда-то внутрь, в себя. Все это принадлежало Фарберу, Фарберу, каким я его себе представлял. И в то же время все это принадлежало еще одному человеку — Смоктуновскому. Да, передо мной сидел Смоктуновский, Иннокентий Смоктуновский, Фарбер из «Солдат»... Сидел и меланхолически помешивал ложечкой чай.

Первые несколько минут я был настолько растерян, что не мог вымолвить ни слова. Фарбер, человек неразговорчивый и малообщительный, молча пил чай, глядя куда-то в одну точку. Санинструкторша, примостившись в углу, перематывала бинты. Где-то тикали ходики. Вошел и вышел боец. Взял лопату и вышел, не произнося ни слова. Все почему-то молчали. Это начинало тяготить. Правда, при Фарбере я, а точнее Керженцев, всегда чувствовал себя неловко и скованно. Но ведь это не

Фарбер, это Смоктуновский — человек веселый, остроумный, насмешливый. Вот отодвинет сейчас кружку, хитро взглянет на меня, подмигнет и скажет: «Ну ладно, хватит дурака валять. Поигрались и будя, сходим-ка в буфет». Но он не посмотрел на меня хитро, не подмигнул, а все так же, глядя в одну точку, пил чай, изредка барабаня пальцами по столу.

Я встал.

— Пора идти...

Я чувствовал, что настало наконец время собраться с мыслями. Спущусь к Беньяшу, лягу, укроюсь с головой шинелью и постараюсь во всем разобраться. А отчетные карточки и формуляры сделаю утром — не умрет дивинженер...

— Пора идти,— сказал я.

— А нога? Как же нога? — Санинструкторша встрепенулась.

— Вы что, ранены? — спросил Фарбер.

— Ерунда. Малость растянул связки. Это у меня бывает.

Фарбер поднялся из-за стола.

— Тогда я вас провожу.

— Не стоит.

— Стоит. Заодно покажете мне, где вы картошку натыкали.

Мы вышли. Было темно. Звезд не видно. Кое-где только мутные, расплывчатые пятна. Кругом тихо. Где-то очень далеко стрекочет пулемет.

Пройдя по мелким траншеям — в полный рост так до конца войны мы их и не сделали,— вышли к оврагу и медленно стали спускаться вниз. Оба молчали. Только где-то у выхода из оврага Фарбер сказал:

— Здесь много мелких воронок, осторожно.

У разрушенного моста — перекур. Такова традиция: по дороге туда — под вагонами, обратно — у мостика.

— Сейчас концерт будет,— сказал Фарбер, осветив огоньком цигарки часы.— На той стороне громкоговоритель установили. Последние известия передают. А потом концерт. Вчера в это время передавали.

— Из Москвы?

— Должно быть, из Москвы.

Мимо прошли бойцы. Человек десять, один за другим, цепочкой. Несут мины и боеприпасы. Слышно, как сыплется щебенка у них из-под ног, как поругиваются они, спотыкаясь. Минут через двадцать они вернутся. Еще через полчаса опять будут идти, спотыкаясь и ругая темноту, разбросанное железо, Гитлера и старшину, заставляющего зараз нести по четыре батальонных мины. За ночь они сделают шесть или восемь ходок. Днем все будет израсходовано. А как только зайдет солнце — опять на берег, с берега — на передовую, с передовой — на берег.

— Как дела в роте? — спрашиваю.

— Ничего,— равнодушно отвечает Фарбер.— Без особых перемен.

— Сколько человек у вас теперь?

— Да все столько же. Больше восемнадцати — двадцати никак не получается. Из стариков, что высаживались, почти никого не осталось.

— А пополнение?

— Да что пополнение!

— Юнцы?

— Винтовку в первый раз видят. Одного убило вчера. Разорвалась граната в руках.

— М-да...— говорю я.— Паршивая штуковина.

Фарбер ничего не отвечает. Вынимает из кармана коробку с табаком, скручивает вторую цигарку, прикуривает от собственного бычка. На миг озаряется худое, с впалыми щеками лицо, костистый нос, складка у рта.

— А вам никогда не казалось, что жизнь — нелепая штука? — спрашивает он.

— Жизнь или война?

— Именно жизнь.

— Сложный вопрос... Нелепого, конечно, порядочно. А в связи с чем, собственно, вы...

— Да без всякой связи... Философствую. Некое подведение итогов.

— Не рано ли?

— Конечно, рановато, но кое-что уже можно подытожить... Вы никогда не задумывались, например, о своей прошлой жизни?..

Стоп! Не повторяться! Все это уже было... И в книге было, и в фильме «Солдаты». В фильме диалог этот между Фарбером и Керженцевым, правда, был несколько сокращен и передвинут в другое место — перед самой атакой, но Смоктуновский и Сафонов сыграли эту сцену прекрасно, выражаясь по-актерски, «концертно». Сейчас мы с Фарбером повторили не экранный, а книжный вариант. Слово в слово. И хотя все слова, все фразы были придуманы и написаны очень давно, лет двадцать тому назад, мы повторили, точнее воссоздали, их так, как будто рождались они именно сейчас, у этого разбитого мостика, в эту темную, необъяснимо тихую ночь... Потом до нас долетело Andante cantabile из Пятой симфонии Чайковского и монотонно прогудел тяжелый ночной трехмоторный бомбардировщик, прозванный «ту-

беркулезом», и Фарбер сказал: «Смешно, правда?» — «Что смешно?» — «Все это... Чайковский, шинель, «туберкулез»...»

Потом концерт кончился. Мы посидели еще немного молча и пошли назад, к Фарберу. Мне не хотелось с ним расставаться.

Не знаю, как для других, но для меня человек, который относится к себе критически и даже в том хорошем, что у него есть, видит скорее плохое,— для меня такой человек всегда притягателен. Нет хуже людей самоуверенных, пусть даже это называется более мягко — уверенных в себе. Война, где многое становится особенно очевидным, еще раз убедила меня, что я прав. Первые воевали лучше вторых. Лучше, потому что требовательны были в первую очередь к себе, а потом уж к подчиненным. Фарбер был именно таким. И Смоктуновский очень тонко это понял и не менее тонко сыграл.

Хорошо, но с кем же я сейчас иду? С кем подымаюсь вверх по оврагу к передовой?

А не все ли равно? Просто мне не хочется расставаться с этим человеком, именно с этим, с которым только что сидел у разбитого мостика и исповедь которого выслушал. Более того, мне захотелось самому говорить — до сих пор я больше слушал,— захотелось рассказать о том, что я знаю, рассказать именно ему, им, сидящим на Мамаевом кургане, придуманным и непридуманным, живым и мертвым друзьям самых, может быть, значительных лет моей жизни... Имею я на это право?

Мы молча, не торопясь подымались в гору. Где-то справа опять застрекотал пулемет. Взметнулось несколько ракет — немецких, конечно,— они медленно опустились, роняя искры, и после них стало еще темнее.

Бог ты мой, где и как собраться с мыслями? Хотя бы каких-нибудь десять минут. Лечь, закрыть глаза и подумать. У Беньяша лег, закрыл и заснул...

А сколько таких минут, сколько часов было у меня на пароходе! Шезлонг, свежий ветер, чайки, проплывающие мимо берега... О чем я думал? О сценарии, который должен закончить, о том, что писать его надо, но не получается, о неведомом режиссере, который по этому сценарию будет делать фильм, о будущих редакторах, главке, министерстве, которые будут убеждать меня делать так, а не так, хотя я знаю, что надо делать именно так... А вообще-то я просто сидел в шезлонге, читал, смотрел по сторонам и старался ни о чем не думать. Потом учил солдат уму-разуму: вот, мол, как воевали ваши отцы, в книгах обо всем этом не прочтешь, а отцов становится все меньше, все меньше...

Нет, собраться с мыслями мне не удалось. Прогулка наша кончилась. Мы вернулись в землянку...

И вот тут-то...

Я подошел наконец вплотную к самому сложному моменту всей этой удивительной истории. Возможно, все обернулось бы иначе и бог его знает, как закончилось бы, если бы Фарбер, забравшись в землянку, не спросил бы у связиста, звонили ли ему из штаба.

— Да нет,— вяло, очевидно спросонок, ответил связист.— Из штаба не звонили. Отдыхают все, не только фрицы...— Потом, вспомнив, добавил: — Да, лейтенант Керженцев звонили, спрашивали, надолго ли вы ушли...

Лейтенант Керженцев? Что ж это такое, в конце концов? Не может быть, чепуха какая-то. Пусть что-то там дофантазировано, изменено, придумано, добавлено, передвинуто, но Керженцев и я в общем-то одно и то

же лицо... Правда, мне до сих пор неизвестно, за кого именно меня здесь принимают — ни по имени, ни по фамилии меня не называют, говорят «инженер», «товарищ инженер», «лейтенант», и в общем-то я не очень удивился бы, если б меня назвали Юрием, но то, что сколько-то там времени тому назад этот самый Юрий звонил сюда и в любой момент может опять позвонить, а то и зайти и протянуть руку,— согласитесь, тут есть отчего окончательно стать в тупик.

Я в лоб спросил Фарбера:

— Кто это Керженцев?

— Как кто? — удивился Фарбер.— Комбат-два.

— Его зовут Юрием?

— Юрием.

— Он из Киева?

Фарбер недоуменно смотрел на меня.

— Я не понимаю ваших вопросов. Что они значат?

— Они значат то, что значат... Можно мне поговорить с вами серьезно?

Фарбер все так же недоуменно смотрел на меня.

— Пожалуйста...

Весь последующий разговор в основной, существенной его части я привожу текстуально, хотя ни тогда, ни потом не записал ни одного слова из него — просто я до сих пор слышу глуховатый, негромкий голос Фарбера, слышу каждую его интонацию, вижу его плохо выбритое лицо, освещенное неярким светом коптящей гильзы, его глаза, руки, его растрепанные, падающие на глаза, давно не стриженные волосы. Помню хорошо, как будто он сидит сейчас передо мной, маленького связиста, сначала дремавшего, положив голову на руки, потом начавшего к нам прислушиваться и даже вступив-

шего в разговор. У него очень забавно торчали уши на совершенно круглой, коротко остриженной голове, и фамилия у него тоже была забавная — Ландрин. Помню, как в середине разговора в углу вдруг что-то зашевелилось, и это оказался фарберовский старшина. Приподнялся, посмотрел на нас заспанными, ничего не соображающими глазами, сказал: «И чего она от меня хочет? Чего? Что она мне — жена?» — и опять завалился спать. Одним словом, помню все, от первой до последней минуты, от первого до последнего слова.

Итак, Фарбер сказал: «Пожалуйста». Я собрал в себе все, что во мне было трезвого и разумного, и начал так:

— Я прошу отнестись к нашему разговору самым серьезным образом. Многое из того, что я вам сейчас скажу,— нет, не многое, по-видимому, даже все,— покажется вам странным, неправдоподобным, даже диким. Я не удивлюсь, если вы посчитаете меня ненормальным. Но это не так. Я нормален, как никогда, ненормальна ситуация, в которую я попал. Разобраться один в ней я не могу. Поэтому я обращаюсь к вам. Вам я верю.

Всю эту вступительную тираду я произнес очень медленно, подбирая и взвешивая каждое слово. Фарбер молча слушал. Под конец кивнул головой — слушаю, мол. Я продолжал:

— Как бы вы отнеслись, например, и что подумали бы обо мне, если б услышали от меня, что сегодня утром я стоял на палубе великолепного белоснежного турбоэлектрохода «Россия» и, опершись о перила, смотрел, как он пришвартовывается к пристани, на которой громадными буквами написано «Волгоград».

— Что ж,— Фарбер улыбнулся,— сначала удивился бы, потом спросил бы, а что такое Волгоград?

— Волгоград — это Сталинград. Его переименовали в тысяча девятьсот шестьдесят первом году после Двадцать второго съезда...

Зажмурив глаза, я выстрелил этой фразой и ожидал после нее определенной реакции — недоумения, возмущения недоверчивой улыбки, совета обратиться в санчасть. Но Фарбер даже не улыбнулся, а просто сказал:

— А вот то, что сейчас здесь происходит, как называется: может быть, Волгоградская битва?

— Представьте себе, одно время некоторые говорили именно так.

Несколько секунд мы молчали, потом, зажмурившись опять, я сделал второй выстрел:

— Из сказанного мною единственное, что вас поразило, это переименование Сталинграда? Больше ничего?

— Простите, но, кроме этого, вы пока ничего не сказали.

— Нет, я сказал о Двадцать втором съезде.— Опять молчание.— А до него были Двадцать первый и Двадцатый, было развенчание культа личности. А до этого еще масса событий, в том числе победа над Германией и разгром немцев вот здесь, под Сталинградом.

Фарбер оживился.

— Разгром? Победа? Ни минуты в этом не сомневался. Верите, ни минуты... А когда? Когда?

— Здесь — второго февраля сорок третьего года. А над Германией в сорок пятом году, девятого мая...

Фарбер посчитал на пальцах.

— Октябрь, ноябрь, декабрь, январь... Четыре месяца все-таки. Порядочно...

— За четыре месяца знаете сколько тут народу пере-

мелет? Подумать страшно.— Это сказал связист Ландрин. Потом добавил: — Особенно если пацанов и стариков будут присылать. Винтовка из рук валится.

Я не выдержал:

— Слушайте, Фарбер, вы что думаете, я в игру с вами играю?

— Если в игру, то занятную. Но я вовсе этого не думаю.

— Что же вы думаете?

— Пока ничего. Жду.

— Чего?

— Ваших объяснений.

В этом месте проснулся старшина, потом пришел боец и сказал, что командир взвода интересуется, почему до сих пор не принесли с берега ужин. Связист позвонил на берег и узнал, что ужин уже в пути. Когда боец ушел, Фарбер посмотрел на меня, как мне показалось, с улыбкой, а может быть, это мне действительно показалось, и тихо заговорил, коснувшись моего плеча:

— Я сказал, что жду ваших объяснений. Нет, я не жду их. Я готов признать, что есть на свете явления, которые трудно объяснить. Что такое, например, шаровая молния, явление Фединга, Тунгусский метеорит, телепатия... Я, например, верю в телепатию, верю в передачу мыслей на расстояние. Я знал человека, который утверждал, что живет второй жизнью, что первый раз дожил до шестидесяти с чем-то лет и умерщвлен был опричниками. Все считали его сумасшедшим, а мне очень интересно было с ним разговаривать, особенно когда он начинал рассказывать о князе Курбском, которого, по его словам, будучи московским боярином, хорошо знал. Может быть, он действительно его знал...

— Уж не считаете ли вы и меня...— начал было я, но Фарбер тут же перебил:

— Упаси бог. Я ничего не считаю. Просто мне хочется облегчить ваше положение. Облегчить, дав понять, что верю в ваш утренний — как он называется — турбоэлектроход? — не меньше, чем в то, что параллельные линии пересекаются. Пусть в бесконечности, но пересекаются. Утверждают же, что пересекаются, и мы верим — что остается делать? И в бесконечность верим, хотя понять и объяснить ее не можем.

— Спасибо,— сказал я.

— Не стоит благодарности,— в тон мне ответил Фарбер.— Благодарить надо немцев, дают нам сегодня спокойно поговорить...

(К слову сказать, весь день и ночь я удивлялся неестественной тишине на передовой. Потом уже, после всех этих событий, я обнаружил в своей книге, которую после многолетнего перерыва, конечно, сразу же перечитал, что в начале октября немцы дали нам два дня отдыха: материальную часть, должно быть, чистили. Кроме «мессеров», самолетов не было.)

— Так что,— продолжал Фарбер,— не будем тратить время попусту, скоро и ночь пройдет. Вот вы упомянули о культе личности. Это что? Неужели речь идет о...— Он запнулся.

— Да.

— Невероятно...

Фарбер повернулся к Ландрину:

— Шел бы ты спать. Я тут сам у аппарата подежурю.

— Я что, мешаю?

— Говорят тебе, иди спать, и все.

Впервые я услыхал в голосе Фарбера повелительные интонации.

Ландрин неохотно вышел.

— Все это слишком сложно, пусть лучше поспит. К тому же треплив невероятно. Бог его ведает, чего на весь полк наболтает.— Помолчав, он добавил: — А что, были еще какие-нибудь перемены? Вернее, будут?

— Да... и довольно существенные.

Я пытался собраться с мыслями. А они расползались. В землянке никого не было. Только я и Фарбер. Пора... Больше тянуть нельзя. Расскажу обо всем, что знаю, чему мы, оставшиеся в живых, были свидетелями. Но Фарбер мне не дал.

— Погодите. Не торопитесь. Для одной ночи, пожалуй, многовато. И вообще сочтите меня страусом, кем угодно, но я еще не уверен, что должен все это знать. Узнавать надо все самому, из жизни. А сейчас мы воюем, вот и все, правда? Даже здесь еще четыре месяца провоюем. До февраля, вы сказали?

— Да, до второго февраля. А потом будете приводить себя в порядок, пополняться. На Украине, в районе Купянска. До самого июля.

Фарбер вынул и поставил на стол рыжую круглую, как у всех нас в то время, коробку с табаком.

— У вас есть газетка?

Я стал рыться в карманах и, к своему удивлению, обнаружил в левом кармане гимнастерки кожаный бумажник с изображением оленя, купленный в прошлом году в Таллине. В нем лежал аккредитив и несколько почтовых марок. Я их купил несколько месяцев назад, 9 мая, в Москве на Центральном телеграфе, серию марок, посвященных двадцатилетию окончания войны.

— Вот вам маленькое доказательство того, что утром действительно был турбоэлектроход «Россия».

Фарбер взял протянутые марки. Они были большие, квадратные, с золотым тиснением, датой 1945—1965 и копиями известных картин периода войны. На одной, в шестнадцать копеек, изображена была картина Юона «Салют Победы» — Кремль, Красная площадь, небо в огнях...

Фарбер долго рассматривал ее, потом сказал:

— Хотелось бы дожить... Представьте себе, хотелось бы...

Я вспомнил, что Смоктуновский воевал под Сталинградом, и как-то само собой у меня вырвалось:

— Доживешь, Кеша, доживешь.

— Как вы сказали?

— Доживете, говорю. Я это знаю.

Фарбер поднял на меня глаза.

— Мы что?.. После войны мы с вами встретимся?

— Встретимся. Даже здесь, в Сталинграде...

Фарбер снял очки и несколько секунд молча смотрел куда-то в угол.

— М-да... Все это очень странно. Очень...

Он опять надел очки и внимательно стал разглядывать другую марку, репродукцию известной картины Ф. Богородского «Слава павшим героям». Мертвый моряк, лежащий, очевидно, на носилках, укрыт шинелью. Над ним склонилась мать. На переднем плане коленопреклоненный офицер в живописной плащ-палатке и с множеством орденов. Сзади два суровых солдата с автоматами, тоже в плащ-палатках и в касках. Все это на фоне громадного знамени. Откуда-то падают кленовые листья. Я так подробно описываю эту случайно под-

вернувшуюся марку не потому, что я был когда-то заядлым филателистом, а потому, что именно она, эта марка, отвлекла нас с Фарбером от разговора, которого оба мы до смерти хотели, но оба опасались, а потому и оттягивали.

— Вы знаете, о чем я сейчас подумал, взглянув на эту роскошную марку? — сказал Фарбер после недолгого молчания.— О том, что будут о нас рассказывать, когда кончится война? И как?

Я мог на этот вопрос ответить, но промолчал. Мне интересно было, что дальше скажет Фарбер.

— Вот пройдет сколько-то там лет — десять, двадцать, тридцать, сто — и придут сюда, на это место, где мы сейчас с вами сидим, люди. Школьники, пионеры, экскурсанты. А с ними экскурсовод. Что он им расскажет? Что они увидят? Что поймут?

— Что увидят, пока трудно сказать.— Я вспомнил свое первое посещение Мамаева кургана.— А расскажут, очевидно, о боях, о героизме, о стойкости сталинградцев...

— Слова, слова, слова... Все это не то... Я знаю, как надо рассказать. Оставить все, как есть,— окопы, блиндажи, землянки. Чтоб пришли люди и увидели — вот как они воевали. Сидели в этих норках, отбивались в этих окопах неполного профиля с трехлинейкой в руках, ворчали, ругались, курили одну цигарку на троих, ползали в грязи на брюхе, спали под любой бомбежкой, а в результате, если верить вам, победили.— Он старательно и очень аккуратно разорвал надвое листок отрывного календаря, на котором лежал сахар, и протянул одну половину мне.— А в общем-то, друг Горацио, рано еще об этом говорить. Давайте закурим...

— Вы поклонник Шекспира,— сказал я.

Фарбер улыбнулся, второй раз за все это время.

— Скажу по секрету: в свое время я держал экзамен в театральную студию и с треском провалился. А Шекспира действительно люблю...— Он посмотрел на часы.— Ого! Скоро уже и подъем. Не вздремнуть ли нам? Боюсь, что фрицы завтра попытаются возместить свое сегодняшнее молчание.

Я тоже посмотрел на часы. Было без четверти семь. Разумнее всего было бы, конечно, пользуясь последним темным часом, отправиться к себе на берег или хотя бы к Беньяшу, но я почувствовал вдруг такую усталость — после всего дня, минного поля, ночного разговора,— что о столь долгом путешествии и думать не хотелось.

— Я останусь у вас,— сказал я Фарберу.— Не прогоните?

— Конечно же прогоню.— Он огляделся по сторонам.— Место старшины вас устроит? Небось шестой сон уже видит.

Старшина, покашливая, поднялся и вышел на двор. Я последовал за ним.

Уже светало. Левый берег Волги рисовался совсем четко. Где-то там, за горизонтом, находятся наши аэродромы. С первыми лучами солнца, неистово гудя, пронесутся над головой «илюши» — штурмовики, и почти сразу же вернутся продырявленные, бесхвостые, чуть не задевая нас своими шасси. Вернется половина, а то и меньше. «Мессеры» долго еще будет кружиться над Волгой, а где-то далеко за Ахтубой печально подымется к небу черный гриб горящего самолета... А потом появятся «певуны», или «музыканты»,— «Ю-87», по-не-

мецки «штукас»,— красноносые, лапчатые, точно готовящиеся схватить что-то птицы. И целый день будут они на нас пикировать, сбрасывая бомбы, психологически распределяя дозы, гудя своими мерзкими сиренами от темна до темна... Так продлится весь октябрь. И начало ноября. 13 ноября будет последняя бомбежка. «Хейнкели» и «Юнкерсы-88». Сделают три захода, сбросят вразнобой бомбы, не пикируя, и улетят. Навсегда... 19-го начнется наше наступление.

Почему я все-таки не рассказал обо всем Фарберу? Побоялся? Чего? Ответственности? За что? Ведь если знаешь, что победишь, легче воевать. Я ему сказал об этом.

Конечно, о всех сложностях нашей довоенной жизни Фарбер знал и без меня. Но мы никогда об этом не говорили. Ни о сверстниках, ни о друзьях, ни об отцах, которые не могли, как мы, защищать родину с оружием в руках. Мы избегали об этом говорить... Ну, а теперь? Я ведь мог рассказать о многом, чего Фарбер не знал. О возвращении из лагерей, о восстановлении чести и достоинства тех, кому, увы, не пришлось вернуться, о многом, что изменилось в нашей жизни после пятьдесят третьего года... Но как обо всем этом скажешь? За один час, за тот единственный час, который остался до рассвета, до того момента, когда, может быть, надо будет подымать солдат в атаку?

Нет, очевидно, Фарбер прав — узнавать надо все самому, из жизни...

Где-то внизу, у подножия кургана, раздался гудок. Низкий, чуть хрипловатый гудок... Я вздрогнул. Потом послышался отдаленный, все приближающийся стук колес на стыках, и хрип паровоза еще долго стоял в моих

ушах. Наконец затих. И тут прокричал петух. Господи — и три раза...

Если я сейчас же не лягу спать, я сойду с ума...

Но в эту ночь мне не суждено было спать. Фарберовской землянки, той самой, из которой я только что вышел, в которой перевязывал ногу, пил чай, разговаривал с Фарбером, маленькой, неказистой землянки с коптящей гильзой, храпящим старшиной и лопоухим Ландриным — ничего этого не было... Вот так — не было. Ни следа. Ни признака...

Зато прямо передо мной, чуть левее водонапорных баков, высилось нечто громадное, непонятное, напоминающее издали не то утес, не то руину какого-то здания... Подойдя ближе, я увидел, что это гигантских размеров изображение полуголого человека с автоматом в руке. Мне стало страшно...

Вечером того же дня, выйдя из своей каюты, я нос к носу столкнулся со своими ребятами-солдатами. Они, вежливо поздоровавшись, прошли мимо, потом один из них, тот, что постарше, подошел ко мне.

— Вы нас простите, но мы очень хотели бы... Может, не откажете...

В ресторане мы свободного столика не нашли, поэтому вынуждены были подсесть к пожилому человеку, печально сидевшему над куском осетрины и полупустым графинчиком чего-то напоминающего портвейн.

— Мы вам не помешаем? — спросил старший из солдат.

— Чего там... Садитесь, коль пришли.

После первой рюмки — она была поднята за город-

герой, который мы недавно покинули,— младший из солдат, чтоб завязать никак не начинающийся разговор, спросил меня:

— А где это вы руки так поцарапали?

Я посмотрел на свои руки — они действительно были все в царапинах.

— На Мамаевом кургане,— сказал я.

— А вы там были?

— Был.

— А шахиншаха видели?

— Нет, шахиншаха не видел.

— А мы видели.

— Ну и как?

— Ничего. Представительный мужчина. Седой, в темных очках. С девятнадцатого года, говорят. И шахиня с ним. Черноглазенькая такая...

— Она архитектор по образованию,— мрачно сказал наш сосед.

— Да, архитектор,— с готовностью согласился младший из солдат.— В Париже, говорят, училась.

Некоторое время разговор крутился вокруг шахиншаха, его супруги, его свиты, автомобилей, венков почетного караула, потом стал увядать. Солдаты чувствовали себя неловко, я молчал, зато унылый наш сосед, заказав себе второй графинчик, вдруг оживился:

— Вот смотрю я на вас, молодых людей, защитников родины, и знаете, о чем думаю? Были вы на месте великих боев, великого кровопролития, где люди жизнь отдавали, чтоб вам жилось хорошо. Не им, а вам. А вы, кроме шаха и шахини, ничего там не увидели. Ну, приехал шах, ну, возложил венки, все возлагают венки, а вы рты поразевали.

— Так мы ж в первый раз, интересно все же...— робко сказали солдаты.

— Что интересно? На царей смотреть? Я вот на этом кургане тоже воевал. Пришлось. Ну не на самом кургане, но бывать приходилось. Не узнаешь его теперь. Не курган, а символ. Это про отцов ваших, про героизм ихний.

Ребята вдруг обиделись.

— Не учите нас,— сказал старший.— О том, что здесь происходило, мы понимаем не хуже других.— Он замолчал и, видимо смутившись резкости своих слов, протянул соседу пачку «Казбека».

— Нет, батенька, не курим. Давно не курим, второй год уже не курим. И что ж, утром проснусь, хоть бы раз кашлянул. Не верите? — Он посмотрел на меня.— Попробуйте. Вы, я вижу, одну за другой, изо рта не выпускаете. Напрасно. В высшей степени напрасно. Человек вы немолодой, книги и газеты читаете, о губительных последствиях никотина, очевидно, знаете...

— И водки тоже.— Я посмотрел на своих ребят, они еле сдерживались от смеха.— Может, повторим вчерашнее, пойдем в мою каюту, а?

И мы пошли в мою каюту. Но о войне я больше не говорил. Выпили только положенную на троих норму и разошлись. Из остатков водки я сделал себе компресс — щиколотка моя все-таки распухла и стала багрового цвета.

На этом можно было бы и кончить эту в высшей степени странную, так идиллически закончившуюся историю. Но еще об одном эпизоде, имеющем к ней косвенное отношение, я не м[illegible]е рассказать.

Месяца через полтора-два в Москве я повстречался с Смоктуновским. Он был не один, с ним шел человек, назвавшийся при знакомстве Василием Григорьевичем Шуйским.

Он был немолод, лет шестидесяти, очень бледен, с высоким лбом и умным, немного ироническим взглядом. Одет был просто, я сказал бы даже — неряшливо, как одеваются среднего достатка, много уже повидавшие актеры. Но что сразу приковало мое внимание — это огромный сердоликовый перстень-печатка на указательном пальце правой руки. Разговаривая, он машинально все время его вертел. Мне очень хотелось рассмотреть его повнимательнее, но я постеснялся.

Когда Василий Григорьевич ушел, Смоктуновский сказал мне:

— Очень интересный тип. Когда-то был актером, и, говорят, неплохим. Сейчас суфлер. Одинокий. Очень милый. Много читал. Это чувствуется, правда? Но есть у него один псих. Ты видал этот перстень? Так вот, он утверждает, что подарен он ему ни более ни менее как князем Курбским. А? Неплохо? Встретишься с ним — не пожалеешь и наслушаешься таких рассказов, что граф Алексей Константинович Толстой позавидовал бы...

Но Василия Григорьевича я больше не видел. Авось встретимся еще когда-нибудь. Интересно все-таки. Впрочем, интересными встречами меня теперь не удивишь.

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Некрасов Виктор Платонович

ПУТЕШЕСТВИЯ В РАЗНЫХ ИЗМЕРЕНИЯХ

М., «Советский писатель», 1967, 440 стр.
Тем. план вып. 1967 г. № 56

Редактор В. М. Вилкова
Худож. редактор Е. И. Балашева
Техн. редактор Ф. Г. Шапиро
Корректор Ф. Л. Эльштейн

Сдано в набор 24/VIII 1966 г.
Подписано к печати 21/III 1967 г.
А 02522. Бумага $70 \times 108^1/_{32}$ № 1
Печ. л. $13^3/_4$(19,25). Уч.-изд. л. 17,51
Тираж 30 000 экз. Заказ № 307
Цена 71 коп.

Издательство «Советский писатель»
Москва К-9, Б. Гнездниковский пер., 10

Тульская типография Главполиграфпрома
Комитета по печати
при Совете Министров СССР
г. Тула, проспект им. В. И. Ленина, 109

